

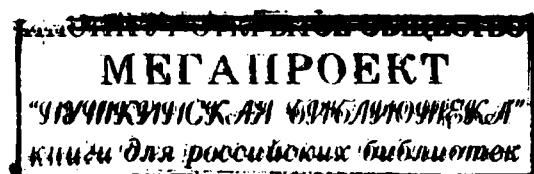
84(418)
Т 58

Сакариас Топелиус

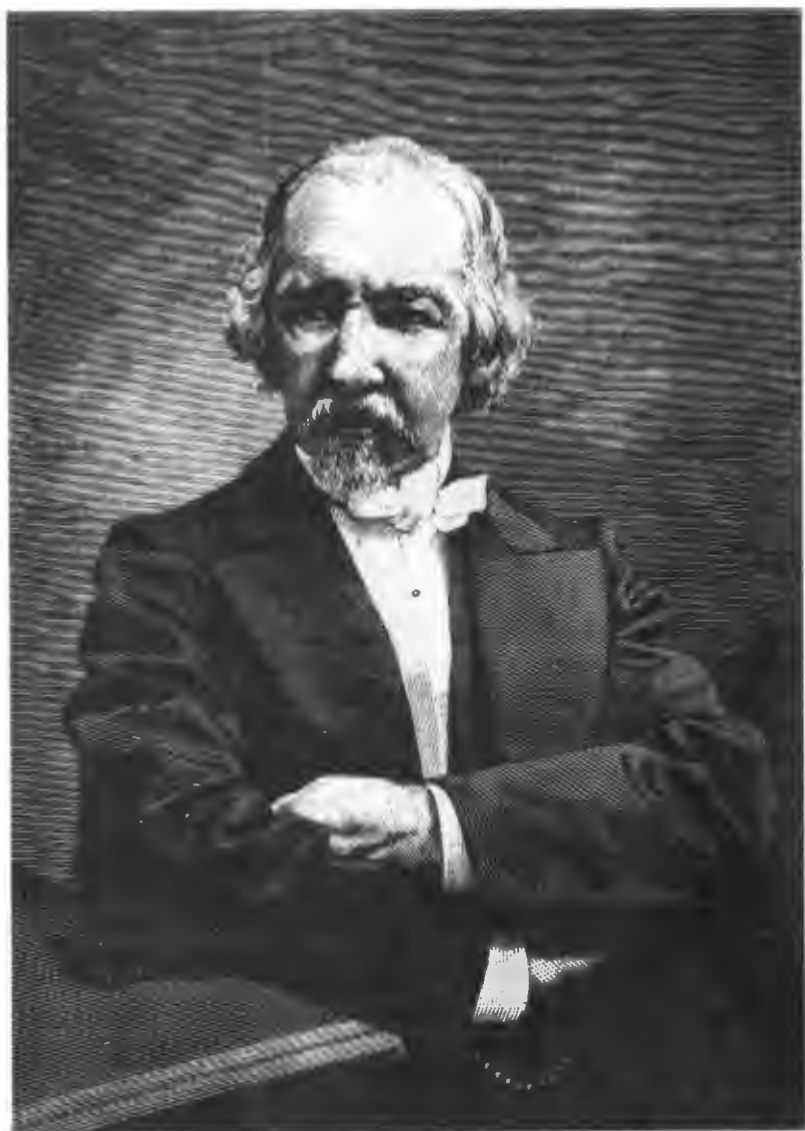


КОРОЛЕВСКИЙ
ПЕРСТЕНЬ

Серия зарубежной детской и юношеской литературы



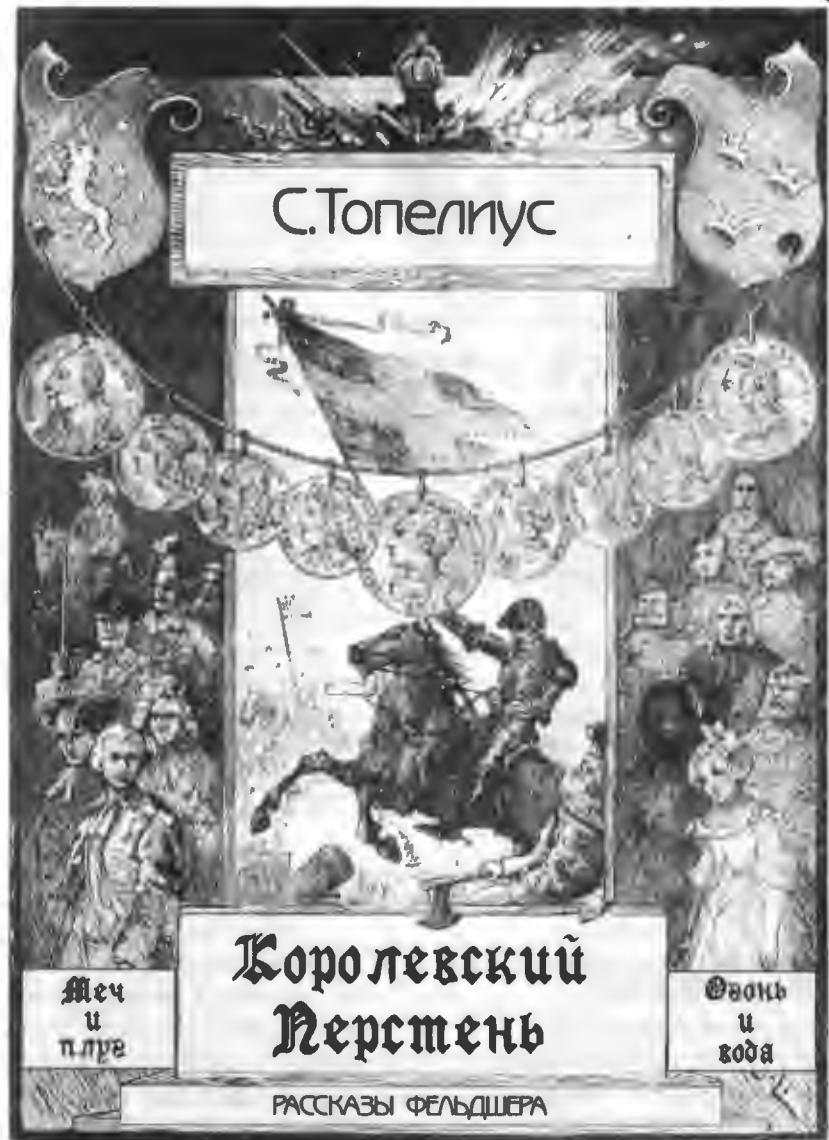
Русско-Балтийский
информационный центр
«БЛИЦ»



L. Höpferius.

(17)

Т 58



С.Топелиус

Королевский
Мерстень

Меч
и
плуг

Орден
и
года

РАССКАЗЫ ФЕЛЬДШЕРА

10 4 1 9 1 / 1
Санкт-Петербург

Муниципальное объединение
библиотек
620077 г. Екатеринбург
ул. Антона Валека, 12

84(49 ин)

to

**Издание осуществлено при поддержке
Института Финляндии в Санкт-Петербурге**

ИНСТИТУТ ФИНЛЯНДИИ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
SUOMEN PIETARIN
INSTITUUTTI

**Издательство выражает благодарность
обществу «Шведская литература в Финляндии»
и лично Агнете Рахикайнен
за помощь в оформлении этой книги**

**Перевод с шведского
Людмилы Брауде и Нины Беляковой**

**В книге использованы
иллюстрации Карла Улофа Ларссона
(Стокгольм, изд-во «Albert Bonnier», 1883)
и шмуцтитутлы неизвестного графика XIX века
(Гельсингфорс, изд-во «Holgerschildt», 1918)**

ISBN 5-86789-016-3

- © Л.Брауде, перевод с швед., вступит. статья, 1999
- © Н.Белякова, перевод с швед., примечание, 1999
- © Составление серии. Издательство «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 1999
- © Издательство «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 1999

Волшебное перо Княгини лебедей

Высоко-высоко, под самыми облаками летит лебединая стая. А впереди, расправив могучие крылья, — легендарная Княгиня лебедей, прекрасная Радигундис. Тихо летит стая, и только порой, редко-редко, из крыла Радигундис выпадает белоснежное перо.

Кто найдет это перо, станет писателем, поэтом-скальдом! — говорится в старинной скандинавской легенде. — И польются из-под лебединого пера стихи, романы и сказки, прекрасные, как день!

Если верить этой легенде, однажды, почти двести лет тому назад, стая лебедей пролетала над Финляндией. Из крыла прекрасной Радигундис выпало белоснежное перо, и его подобрал мальчик, живший в усадьбе Куднэс, близ городка Ньюкарлебю. И полились тогда из-под его пера стихи, романы и сказки. Но никто этому не удивился. Потому что еще 14 января 1818 года, когда этот мальчик родился, ему предсказали, что имя его прославит родину.

Несколько лет спустя, когда юным отроком он шел за гробом своего знаменитого отца, листок из лаврового венка упал к его ногам. И все зашептались:

— Сын будет подобен отцу в искусствах и благородстве деяний. И будет столь же любим и почитаем, как и отец!

Много легенд существует в стране Суоми о рождении и жизни замечательного ученого, поэта, романиста и сказочника Сакарнаса Топелиуса-младшего (1818–1898), унаследовавшего и приумножившего талант и славу своего отца — врача и собирателя финских рун Сакарнаса Топелиуса-старшего.

Топелиусы происходили из старинного крестьянского рода, жившего в усадьбе Топила близ реки Улео. Отец поэта, Топелиус-старший, посвятил

себя медицине: он врачевал крестьян, распространяя среди них вакцинацию, и одновременно изучал местные обычаи, язык и религиозные представления. Позднее, уже тяжело больной, он издал пять выпусков книги «Древние руны финского народа и новейшие песни» (1822–1836). Эта книга проложила дорогу великому народному эпосу «Калевала» (1849). Сакариас Топелиус-младший рос, окруженный любовью и заботой отца, матери и всех домочадцев. С детства слышал он чудесные руны, которые пели его отцу коробейники. А старая нянька Брита рассказывала мальчику чудесные сказки о ведьмах и колдунах, о волшебной горе Растекайс, об олене с позолоченными рогами, о храбром мальчике Сампо и о страшном горном короле Хииси.

Став старше, Сакариас полюбил чтение. «Илиада», «Одиссея», произведения Жана Лафонтена, стихотворения финляндского поэта Юхана Людвига Рунеберга и шведского Франса Микаэля Франсена, исторические романы, в особенности Вальтера Скотта, захватили его воображение; расширился и заиграл чудесными красками его мир. В нем человеческие судьбы сплетались в причудливую цепь, а человеческие характеры раскрывались в своем героическом величии или ужасающей низости.

Хотя в студенческие годы Топелиус изучал медицину, собирался быть врачом, как отец, но все же любовь к гуманитарным наукам одержала верх: он получил степень доктора философии, а в 1852 году стал профессором истории в гимназии, закончив свой научный путь профессором истории Финляндии, России и Северных стран в Гельсингфорском Университете, где был ректором.

Еще в отрочестве Топелиус пристрастился к литературному творчеству. Будущий писатель вел дневник, писал романтические стихи. Им выпущено несколько сборников лирических стихотворений: «Цветы вереска» (1845), «Новые страницы» (1870), «Вереск» (1889) и др.

С детства в сознании Топелиуса жили и сказочные образы. Однако они лишь отчасти находили выражение в раннем творчестве писателя. В рассказах того времени он уходил в мир туманной мечты, рисовал фантастическую «Страну Викторию».

Непосредственным толчком к созданию собственных сказок послужило знакомство Топелиуса с произведениями Ханса Кристиана Андерсена. С 1847 по 1852 год выходят в свет четыре выпуска его сказок. В роли сказочника финляндский писатель, по словам одного из его биографов, «не достиг такой мировой славы, как Андерсен, но его сказки переведены на двадцать языков, а некоторые из них: “Принцесса Линдагуль”, “Жемчужина Адалмины”, “Березка и Звезда”, “Сампо-Лопаренок” — вошли в мировую литературу». Можно назвать еще многие сказочные произведе-

ния Топелиуса, ставшие известными во многих странах (цикл об Унде Марине, сказка «Домовой Абоского замка» и т.д.).

Наиболее плодотворным, наряду с любовью к фольклору, оказался интерес писателя к проблеме исторического развития родной страны. В конце 1840 — начале 1850-х годов он выступил с произведениями, которые представляют собой смесь фольклорных элементов, истории, романтики и мистики. Наиболее значительны среди них «Старый барон из Раутакуле» (1849) и «Герцогиня Финляндская» (1850). Самое популярное и крупное среди историко-фольклорных произведений Топелиуса — книга «Рассказы фельдшера», первый исторический роман в финляндской литературе, состоящий из пяти циклов, в котором писатель дал романтическое описание истории Швеции и Финляндии, частично Германии и т.д.

— То был 1871 год, когда «Рассказы фельдшера» впервые попали к нам в дом, — рассказывала знаменитая шведская писательница Сельма Лагерлёф. — Мне было тогда тринадцать лет, и об истории Швеции я знала немногим более того, что почерпнула в очень тощем учебнике истории. И вот я впервые услышала об истории своего народа так, что поняла: это великая и славная история, отмеченная деяниями даровитых мужей, тяжкими лишениями и блистательными подвигами. Только тогда я поняла, что шведы были народом отважных искателей приключений и великих деятелей...

Как появились на свет «Рассказы фельдшера»?

В декабре 1841 г. Топелиус стал редактором журнала «Гельсингфорс Тиднингар», который с небольшими перерывами возглавлял до 1860 года. 29 октября 1851 года в журнале появилась первая глава эпопеи «Рассказы фельдшера», повествовавшей о двух родах — Бертельшёльдов и Ларсонов, а также о битве при Брейтенфельде во времена Густава II Адольфа. С короткими перерывами произведение печаталось в журнале до 1866 года. В книжной форме все циклы «Рассказов фельдшера» были впервые опубликованы в 1853–1867 гг. Материалы для своего гигантского произведения Топелиус почерпнул и у шведского писателя-историка Андерса Фрюкселя, автора «Рассказов из шведской истории», и у Нордберга в его сочинении «История Карла XII», а также из книги Вольтера с таким же названием. Использовал писатель и работы отечественных авторов, и устную традицию. В дневниках Топелиуса имеется множество заметок, которые помогли ему написать роман. Здесь и Дубинная война — восстание крестьян в Эстерботтене в XVI веке, вожаком и героем которого был «крестьянский король» Арон Бертила, и Тридцатилетняя война с одним из героев — королем Густавом II Адольфом, и битва при Лютцене, при Брей-

тенфельде и т. д., и жизнь отдаленнейших уголков Финляндии и Германии, куда вступили шведско-финские войска, и борьба католиков с протестантами.

Поколения жителей Финляндии и Швеции черпали из книги знания об общем прошлом их стран, причем не только в плане политических, но и в плане культурно-исторических реалий. Однако и сейчас произведение Топелиуса — один из лучших исторических романов шведскоязычного региона для всех возрастов. С одной стороны, писатель дарит напряженный интерес и развлечение, таинственность и интригу, с другой, благодаря ожившим картинам прошлого, усиливает чувство единства с ушедшими поколениями.

Само заглавие — «Рассказы фельдшера» — говорит о форме произведения, состоящего из пяти самостоятельных циклов, включающих восемнадцать романов. В настоящем издании публикуется первый цикл из трех романов — «Королевский перстень», «Меч и плуг», «Огонь и вода». Построен этот цикл, как и все остальные, традиционно. Каждому роману предшествует новелла, герой которой — бывалый фельдшер Андреас Бекк, участник военных походов — рассказывает об исторических событиях, почерпнутых им из старых хроник и воспоминаний очевидцев, а простые люди, далекие от войн, — родственники, соседи, знакомые фельдшера с удовольствием слушают его рассказы. В уютной мансарде Андреаса Бекка собирается компания ревностных слушателей: старая бабушка, суровый почтмейстер, капитан Сванхольм, восемнадцатилетняя красавица Анне Софи, магистр Свенониус и несколько непослушных детишек. Многие из старших наделены чертами земляков писателя. Начиная новый роман, автор напоминает читателям, чем кончается предыдущая новелла, и тем самым связывает воедино нити повествования.

Связывает все романы и предание-сказка о волшебном перстне. Тому, кто носит этот перстень, не страшны ни огонь, ни вода, ни стальной клинок — никакие опасности. Счастье, победа, любовь сопутствуют тому, кто носит его. Волшебную силу перстня уничтожает лишь клятвопреступление. Мотив магического талисмана, приносящего власть и золото владельцу, но придающего ему высокомерие и безграничный эгоизм, утолял жажду Топелиуса и его современников ко всему сверхъестественному и мистическому.

В первом романе «Королевский перстень» действие происходит во времена короля Густава II Адольфа. Там рассказывается об основных событиях Тридцатилетней войны и даются туманные намеки на происхождение внука Бертилы, сына его дочери Мери — Густава Бертельшёльда.

Во втором — «Меч и плуг» — освещена непримиримая борьба между дворянским и крестьянским сословиями в лице получившего дворянское звание Густава Бертельшёльда и его деда Арона Бертилы, которого считают отцом Густава. В третьем романе «Огонь и вода» воспеваются союз и взаимодействие дворянского и крестьянского сословий.

Красной нитью проходит через все романы борьба между королем и народом, с одной стороны, и с аристократией — с другой. Топелиус противопоставляет «крестьянского короля» Бертилу сыну его дочери — Густаву Бертельшёльду, которому во время Тридцатилетней войны присваивают дворянское звание. Бертила лишает внука, принявшего это звание, благословения, а впоследствии объявляет своим наследником молодого Ларссона, сына помощника Бертилы. Конфликты, однако, счастливо завершаются в последнем цикле романа свадьбой потомков Бертилы (Карла Бертельшёльда) и Ларссона (Эстер Ларссон), унаследовавшего некогда усадьбу Бертилы.

Наряду с фигурами подлинно историческими, такими как король Густав II Адольф, выступают и лица, скорее всего вымышленные автором. Но выписаны они колоритно и реалистично, в особенности внебрачный сын Густава и финской крестьянки Мери Бертилы, прекрасная Регина фон Эммериц, острая на язык старуха Дорте, мудрая хозяйка Корсхольма, отец и сын Ларссоны, служанка Кэтхен и многие другие.

14 января 1998 года исполнилось 180 лет со дня рождения Сакарнаса Топелиуса, а 21 марта — сто лет со дня его смерти.

И хотя его портреты не печатались на денежных купюрах, на которых можно встретить изображение философа и публициста XIX века Юхана Вильгельма Снельмана, а бюстам писателя не отдают честь в его дни рождения, как это происходит при праздновании дня рождения поэта Юхана Людвиг Рунеберга, чье имя носит Шведское литературное общество Финляндии, однако в юбилей Топелиуса многие газеты и журналы опубликовали статьи и заметки под заголовком «Сакарнас Топелиус — жив!»

Памятник Топелиусу, воздвигнутый на Эспланаде в Хельсинки, как нельзя лучше говорит об отношении финнов и шведов к любимому писателю. Две женщины, стоящие на постаменте, аллегорически изображают «Сказку» и «Действительность». Их можно считать символами творчества писателя-романтика, сочетавшего в одном лице поэта и журналиста, сказочника, романиста и ученого-историка, скрупулезно и поэтично воссоздавшего славные страницы истории Финляндии, Швеции, России и Германии.

Публикуемые в настоящем издании все три романа первого цикла «Рассказов фельдшера» впервые в наиболее полном виде предстанут пе-

ред российским читателем. Мы надеемся, что всякий, познакомившись с ними, согласится со словами замечательной шведской писательницы Сельмы Лагерлёф: «Многие из тех шведов, которые родились в минувшем веке и в какой-то мере участвовали в его жизни, наверняка помнят, что Топелиус в те времена занимал в нашей стране положение великой державы от литературы. Его имя знали и богачи, и бедняки, и стар, и млад. Причем знали не просто как человека, совершившего некое полезное деяние, его имя рисовалось в ореоле самых любимых и приятных воспоминаний».

Людмила Брауде



ПРЕДИСЛОВИЕ, РАССКАЗЫВАЮЩЕЕ О ЛИЧНОСТИ И ЖИЗНИ ФЕЛЬДШЕРА

Он родился в небольшом городке Эстерботтена¹ пятнадцатого августа 1769 года, в один день с Наполеоном. Мне так хорошо запомнился этот день потому, что фельдшер имел обыкновение отмечать его небольшой пирушкой. Праздник заключался в том, что две или три его кузины (он называл всех старых тетюшек кузинами) и двое или трое его братьев (всех, кто звал его дядюшкой, он называл братьями) собирались у него в мансарде и пили кофе с кренделями. К счастью, мансарда была просторная, с высокими окнами, и это было весьма кстати, ведь помимо двух-трех кузин и двух или трех братьев сюда приходила дюжина ребятнишек — озорные мальчишки и говорливые девчушки, которые поднимали страшный шум и переворачивали все вверх дном. Дело в том, что фельдшер питал необъяснимую слабость к детям и позволял нам хозяйничать у него, отчего у старых умных людей болели уши.

Итак, фельдшер родился в один день с Наполеоном; это обстоятельство было гордостью всей его жизни и предопределило его судьбу. Он неизменно видел в этом некое замечательное предзнаменование: великим человеком, о чем, возможно, мечтал в юности, он, правда, не стал, однако сие предзнаменование заставляло его искать славы и счастья в превратностях его богатой событиями жизни. Его гордость, равно как и жажда славы, смягчалась добродушием, втайне он подсмеивался над собой, зная, что и мухи не обидит; это была лишь невинная иллюзия, заставлявшая его видеть в случайности счастливое предзнаменование, и на протяжении всей жизни он не переставал прида-

вать ему важное значение, не поддаваясь чувству разочарования, даже когда действительность тысячу раз доказывала, что это всего лишь мечта.

Будь фельдшер в тот знаменательный день рожден мадам Летицией Бонапарте² в Аяччо³, он, верно, стал бы не фельдшером, а кем-нибудь другим, но блистать от этого вряд ли стал бы. Всем известны слова знаменитого повара Наполеона, с чувством сознания собственного величия заявившего, что «иной может и стать поваром, но рожден лишь для того, чтобы переворачивать жаркое». И все же этот гений забыл о предопределении гения; рожденному переворачивать жаркое вряд ли суждено стать кем-то еще, будь у него даже золотой галун на воротнике и диплом в кармане. Фельдшер не был рожден, чтобы стать Наполеоном. И вовсе не оттого, что носил гражданское имя Андреас Бекк (он изучал латынь и подписывался «Андреас», а не «Андерс»), и не оттого, что его отец был простым сержантом и потерял руку на войне в Померании. А оттого, что при таком неистощимом запасе добродушия и нерешительности человек даже с более светлой головой, чем у фельдшера, мог бы стать чьим-либо приверженцем, но никак не великим полководцем на полях жизненных сражений.

Как говаривал фельдшер, он в детстве был большим шалуном, но пареньком способным, и дядюшка по материнской линии, богатый торговец, определил его в школу города Васа⁴. К восемнадцати годам он настолько преуспел в учении, что с бочонком масла и семнадцатью монетами в кармане отправился в Або сдавать экзамен. Это удалось ему без труда, и новоиспеченный студент по желанию своего дяди-благодетеля должен был теперь трудиться изо всех сил, чтобы выучиться на пастора. Тайно вздыхая, корпел он над древнееврейским сводом законов; мысли же его были далеко: носились по всему свету, а глаза слишком часто отрывались от «*Bereschit bara elohim...*»*, чтобы полюбоваться военным парадом на площади, где войскам устраивался смотр перед отправкой на войну. «Ах, — думал будущий пастор, — какое счастье стоять навытяжку в строю, быть солдатом, готовым, как мой отец, сражаться за короля и отечество!»

* «Вначале сотворил Всевышний. » (др.-евр.) — первые слова Торы.

Однако его останавливало лишь одно: священная клятва, данная матери, — никогда не ходить в солдаты. Она никак не могла примириться с тем, что отец его потерял руку на войне. Юный Бекк был добрым сыном и потому отрывал глаза от парадов и возвращался к Торе⁵. Но не успел он осилить и половину книги Бытия, как в голове у него буквально взорвалась бомба. Этой бомбой было объявление в городской газете «Або Тиднингарн»⁶: «от имени медицинского факультета» сообщалось, что студенты, желающие во время войны служить в качестве фельдшеров при лазаретах либо полках, должны не мешкая явиться для частного обучения медицине, после чего, разумеется, довольно скоро, поскольку война разгоралась ярким пламенем, они будут отправлены на службу в армию с жалованьем для начала в шесть спесиериксдалеров⁷ ежемесячно. Теперь нашему юноше ничто не могло мешать. Он написал домой, что фельдшеры отнимают чужие руки, а не теряют свои, и с немалым трудом добился желанного позволения. В мгновение ока Тора была водворена на полку. Хирургию Бекк не изучал, а просто глотал и через несколько месяцев стал заправским фельдшером. Ведь в ту пору требования были не слишком строги. Кто не помнит великолепную песню Франсена⁸ «Прежде и теперь»?

Врач прежде палец отрезал,
Когда больному тот мешал.
А нынче лекарь-тугодум
Больного режет наобум.

При этом Франсен, возможно, имел в виду Бекка. Но нашего фельдшера это нимало не смущало. Он принимал участие в сухопутных кампаниях 1788–1789 годов и в морской кампании 1790 года⁹, побывал в жестоких переделках, изрядно выпивал (как он сам утверждал) и лихо отпиливал руки и ноги. В ту пору он еще не знал, что Наполеон его ровесник, и не подозревал о своем высоком предназначении, но впоследствии частенько рассказывал, как сам в тот знаменательный день третьего июля ходил со Стединком на «Стюрбьёрне»¹⁰ во главе шхерной флотилии по Выборгскому заливу мимо вражеской батареи, расположенной на мысе Кроссеспорт, и как щепка разбитой ядром реи поранила ему щеку, оставив шрам на всю жизнь. Это же ядро нанесло кораблю немалые

повреждения, просвистело мимо головы командующего и на мгновение совершенно оглушило его. Бекк, расторопный малый, через три минуты с помощью скальпеля и трюмной воды вернул Стединку слух. Это случилось в тот самый момент, когда опасность была наиболее велика и пушечные ядра сыпались градом. Со страшным треском «Стюрбьерн» сел на мель.

— Братцы, мы пропали! — крикнул кто-то.

— Ничуть не бывало! — послышалось в ответ. — Дайте команду всем перейти на нос, мы кормой сели на мель!

— Всем перейти на нос! — скомандовал Стединк.

«Стюрбьерн» снова был на плаву, и вся шхерная флотилия последовала за ним в кильватере. Впоследствии Бекк так говорил об этом событии:

— Как, черт возьми, корабль снялся бы с мели, если бы Стединк так и остался глухим?

И все понимали, что он хотел сказать: мол, ясное дело, это он спас весь шведский флот.

После войны Бекк заскучал в лазаретах, и так как он (по его словам) был в большой милости у Стединка, то распростился с флотом и последовал за своим благодетелем в Стокгольм в качестве его домашнего лекаря. Однако кое-кто, кажется, утверждал, что он состоял при доме Стединка кем-то вроде писца. Человек расторопный, сметливый и надежный, он понимал хозяина с полуслова и пользовался его доверием, которое (как утверждал сам фельдшер) он полностью оправдал. В ту пору он был в курсе сплетен о высокопоставленных персонах и осведомлен о важных тайных делах как своего времени, так и минувших дней.

Фельдшер был истым густавианцем¹¹, как и большинство представителей среднего сословия Стокгольма в те времена, стоявших на более низкой ступеньке, но близких ко двору, ослепленных его блеском и восхищенных королем, который умел снисходить до народа, чтобы в нужный момент заслужить его симпатию. Одним словом, фельдшер был безгранично предан Густаву III, и когда ему случалось участвовать в интригах, выполняя чьи-то поручения, он, бедняга, считал, что оказывает услугу королю.

Однажды в начале мая 1792 года фельдшер, тогда красивый малый, получил от знакомой камеристки смутный намек о гото-

вившемся покушении на жизнь короля¹². Фельдшер решил сыграть роль providения в судьбе Швеции и поведать королю все, что знал, а быть может, и добавить еще кое-что от себя. Он попросил у его величества аудиенцию под предлогом необходимости передать ходатайство, но получил от камергера де Беша резкий отказ. Фельдшер повторил свою просьбу, и на этот раз был выгнан вон. В третий раз он встал перед королевской каретой у дворцовых ворот, подняв петицию над головой.

— Чего хочет этот человек? — спросил Густав III, выходя из кареты в сопровождении дежурного камергера, которым на беду опять оказался де Беш.

— Это уволенный фельдшер, — презрительно отвечал придворный кавалер. — Он просит ваше величество милостиво соизволить начать новую войну, чтобы ему было чем заняться.

Король улыбнулся, а ошеломленный фельдшер остался стоять у ворот.

Несколько дней спустя короля застрелили.

— Моей вины в том нет, — говаривал фельдшер, описывая, какую он тогда проявил отвагу. — Если б не этот чертов де Беш... Да хватит об этом...

И мы понимали его. Ведь он однажды спас шведский флот под Выборгом. Мог бы спасти и жизнь Густава III, если бы ему не воспрепятствовал зловредный камергер. И все это благодаря тому, что он родился пятнадцатого августа; по крайней мере он сам так думал.

Регентское правительство и Рейтерхольм¹³ вовсе не пришли фельдшеру по душе. Он ушел со службы у Стединка и открыл собственную практику в Стокгольме. Но теперь он оказался в самой гуще событий, потому что был живой хроникой, и рассказы его переходили из уст в уста, от одного пациента к другому. Партия старого двора¹⁴ воспользовалась этим и стала помогать распространению кое-каких слухов. Мол, он раньше других чувствует надвигающуюся опасность.

Вместе с городским хирургом Фрёбергом он присутствовал в качестве врача при казни фрёкен Руденшёльд¹⁵. Эта жестокая экзекуция глубоко тронула честное сердце фельдшера. Его острый язык не привык молчать, и вопреки голосу разума он громко, так, чтобы слышали все, спросил:

— Отчего фрёкен не позволили сидеть, ведь дядюшка его превосходительства барона Рейтерхольма сидел на эшафоте?

Сие высказывание вскоре достигло ушей барона, и фельдшера, надобно полагать, ожидала участь, немногим лучшая, чем судьба несчастной фрёкен. Однако фельдшер, имевший ухо в каждом переулке и глаз в окне каждой горницы, почуял нависшую опасность и решил вовремя уклониться от надвигавшейся грозы. С ланцетом в кармане и свертком марли под мышкой он отчалил на борту померанской яхты и через несколько дней прибыл в Штральзунд¹⁶.

Через некоторое время он пешком отправился в Париж бродячим лекарем. Здесь к власти только что пришла Директория¹⁷; набирали одну армию за другой, и буквально каждый студент хватался либо за шпагу, либо за ланцет. Фельдшер пришел сюда в подходящий момент; он был принят в итальянскую армию на незначительную должность и сопровождал Наполеона, покуда солнце удачи сияло по эту сторону Альп. Только теперь он понял значение своего дня рождения, и в груди его начала просыпаться неумная жажда славы. Не могу понять, каким образом, но, по утверждению фельдшера, ему все же удалось получить аудиенцию у Бонапарта и заявить о своем желании служить у него фельдшером.

— Да только, — вздыхал фельдшер каждый раз, описывая этот знаменательный день своей жизни, — у Бонапарта было полно дел, он не понял меня и спросил у адъютанта, что мне от него нужно. «Гражданин генерал, — отвечал адъютант, — это хирург, он просит оказать ему честь и отпилить вам ногу». Но тут, — добавлял фельдшер, — загремели пушки, австрийцы ринулись в атаку, и генерал Бонапарт велел мне катиться ко всем чертям.

Таким образом фельдшеру, который спас не одного из великих мира сего, не представился случай спасти Наполеона. Он отправился по следам французской армии в Австрию, бежал в Швейцарию и застрял на время в Цюрихе. Здесь он открыл аптеку, влюбился в маленькую розовощекую швейцарку и собирался было уже жениться, но тут вначале Корсаков¹⁸, потом Массена¹⁹ и, наконец, Суворов наводнили мирный город толпами своих солдат. В этой сумятице невеста фельдшера сбежала и не вер-

нулась. Однажды он сидел опечаленный у окна своей аптеки. Вдруг подъехали два казака, схватили его и, несмотря на сопротивление, помчали во весь опор. Фельдшер не мог ничего понять и решил, что пришел его смертный час. Но казаки привезли его, целого и невредимого, в простую хижину, где вокруг чаши с пуншем сидело несколько офицеров и среди них один сурового вида в огромных сапогах.

— Доставай свои щипцы, — резко приказал он, — зуб болит — мочи нет!

Делать было нечего, пришлось фельдшеру браться за щипцы. Он осмелился спросить, какой именно зуб болит.

— Да ты еще рассуждать смеешь? — нетерпеливо воскликнул грозный человек.

— Никак нет, не смею! — отвечал фельдшер и тут же вырвал первый попавшийся зуб.

— Прекрасно, сын мой! Можешь идти!

И фельдшер, получив десять дукатов за визит, удалился. Список его заслуг увеличился: он вырвал зуб самому герою Суворову.

Ободренный этим обстоятельством, фельдшер решил попытать счастья в России. Он отправился в Петербург к шведскому министру генералу Стединку²⁰, брату его благодетеля адмирала. У него он получил место врача в лазарете и лет за пять сколотил небольшое состояние. И вот пришло известие о том, что Наполеон взшел на императорский трон. В сердце фельдшера вновь проснулась жажда славы; он уволился и в 1804 году воротился на родину. Он полагал, что с такими заслугами получит блестящую должность, но ученые мужи на медицинских факультетах вздумали потребовать у него диплом. Огорченный, он махнул рукой на медиков и со своим свидетельством, полученным в Цюрихе, купил в Стокгольме аптеку.

В 1808 году разразилась война²¹. Фельдшер продал свою аптеку и снова отправился воевать, но получил лишь должность младшего лекаря в одном из финских полков. В армии было немало седуосых лейтенантов, отчего же фельдшеру с двадцатилетним стажем не послужить младшим лекарем? Он служил в этой должности в кампании 1808 и 1809 годов, и все это время его место было рядом с полем боя в каком-нибудь придорожном доме. Там

он и противостоял, как мог, напастям, болезням и смерти, пилил руки и ноги, перевязывал раны, ставил пластыри, делился с ранеными выпивкой, хлебом, содержимым своего кошелька, а главное, своим вечно веселым настроением, тысячами невероятных историй о приключениях в других странах.

Описаний военных приключений фельдшера хватило бы на целый рождественский календарь. На этот раз я о них умолчу. По окончании войны он уволился, разумеется, без пенсии. После мирного договора 1809 года многие финны переселились в Швецию, но фельдшер считал, что честнее разделить судьбу отечества, и остался. По характеру, как и прежде, непоседа, он не мог жить на одном месте и первые годы ездил по стране со своей маленькой дорожной аптекой, прописывал лекарства, лечил все болезни при помощи скальпеля, хлороформа и сладкой микстуры. Он ездил с ящиком медикаментов из прихода в приход, из деревни в деревню на старой лошаденке. Повсюду его встречали с распростертыми объятиями. Фельдшер был свободен, как птица небесная; веселый и бойкий на язык, он сдобривал горькие пилюли забавными рассказами, и в каждой лачуге его ожидал накрытый стол и гостеприимная словоохотливая хозяйка. Это было счастливое время; я уверен, что фельдшер сделал тогда людям немало добра, но никогда об этом не говорил.

Однако недолго довелось фельдшеру разъезжать по стране и врачевать крестьян. С 1788 года медицина в наших университетах пошла вперед семимильными шагами. Совет медиков строжайше запретил практиковать всякого рода шарлатанам, которые, по правде говоря, в начале этого столетия наводнили страну, позоря лекарское искусство. Хотя польза от них тоже была: настоящие врачи были наперечет, а аптек и того меньше. А ведь фельдшер и прежде был не в ладу с учеными мужами медицинских факультетов в Упсале и Або. И потому достаточно было одному из ретивых коллег фельдшера сообщить о его «королевских объездах страны», как фельдшера тут же вызвали в Або на экзамен. Однако он не изволил подчиниться, что было весьма недипломатично. Но фельдшер был слишком упрям и свободолюбив. Стало быть, он не поехал, и в результате ему строжайше запретили медицинскую практику.

Тут фельдшер в третий раз распростился с медициной, осел в своем родном городе и занялся рыболовством. Это был довольно занятный способ зарабатывать на кусок хлеба, но заработок был слишком мал для человека, желавшего каждый день выпивать чашку кофе и рюмку своей любимой настойки «Пять синих братьев». В лучшую пору своей жизни фельдшер мог бы скопить немалое состояние, но для этого он был человеком слишком мягким и непоседливым. Поэтому его уговорили выхлопотать себе с помощью старых военных друзей аттестат вакцинатора. Эта маленькая должность позволила старому вояке несколько раз в год бродить по деревням и хуторам, болтать со старухами, словом, жить сегодняшним днем, как прежде.

Но вот старость незаметно убелила снегом голову фельдшера. Он принадлежал к числу прошедших сквозь жизненные шторма и не потерявших веру в людей счастливых, всегда беспечных и веселых, которые не позволяют своему сердцу черстветь в невзгодах и ослепляться высокомерием в минуты удачи. Он подсмеивался над легкомыслием своей юности, однако оставался легкомысленным и на закате жизни. Император Наполеон, его кровный брат, как фельдшер шутливо называл его, намекая на пятнадцатое августа, стремительно взшел на вершину человеческого величия и еще стремительнее был низвергнут, в то время как жизнь фельдшера мерно и плавно переходила, подобно колебаниям маятника, от нехитрого счастья, которому он никогда не удивлялся, к так и не сумевшим сломить его неудачам. Он остался на всю жизнь холостяком, счастливо избежав в Швейцарии сетей любви, но был лишен предрассудков и не испытывал, подобно некоторым, пренебрежения к самым сокровенным сердечным чувствам. Его богатый жизненный опыт не пропал даром, и меня поражало его понимание человеческой природы.

Часто в детстве и в ранней юности мы усаживались в старой мансарде вокруг его кресла возле камина с потрескивающими дровами и слушали его волшебные сказки и рассказы из жизни. У него была неистощимо богатая память и запас рассказов о современных ему событиях, но более всего о временах давно прошедших. Глубоких исторических знаний у него не было. Рассказы фельдшера были скорее характерными мазками, нежели последовательными и связными описаниями. Но в этих рассказах были

искренность, теплота и прежде всего живая наблюдательность, воспроизводить которую по памяти я даже не берусь.

Он редко записывал свои истории. Почти всегда это были устные рассказы. С тех пор прошло много лет, кое-что я позабыл, кое-что сверил с преданиями и книгами. Если читателю эта книга доставит некоторое удовольствие, стало быть, фельдшер не зря рассказывал нам сказки зимними вечерами.





ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ФЕЛЬДШЕРА



Читатель! Вот ты сидишь в своем уютном современном жилище в мире и покое... Обуревают ли тебя те же самые то великие и радостные, то мелкие и скорбные воспоминания, которые живут еще спустя столетия? Живут то солнечные и сверкающие, то едва заметные, подобно неистребимым следам крови, которыми пестрят страницы летописей. Способен ли ты, привыкший к отдыху и покою, перенестись

мыслями назад к ужасам и радостям былого; перенестись, не равнодушно блуждая от одного вызывающего любопытство события к другому, а с живым, нескрываемым и горячим интересом? Таким, словно ты сам сражался во всех этих давно уже отгремевших битвах, сам истекал кровью, побеждал либо умирал смертью храбрых. И по мере того, как тебе улыбалось или изменяло счастье, сердце твое билось то надеждой, то сомнением.

Так вот, если ты способен сострадать или ликовать вместе с людьми минувших веков, ненавидеть вместе с ними, увлекаться, боготворить, презирать, проклинать, как это делали они, одним словом, мысленно сопереживать им всем сердцем, а не только

холодным созерцающим разумом, что ж, тогда следуй за мной! Я пове-
ду тебя вниз, в долины былого; рука моя слаба, а картины, что я рисую, не
очень значительны, но сердце твое поведет тебя лучше, чем я, на это
уповаю и надеюсь!

Итак, начинаю!



1. БИТВА ПРИ БРЕЙТЕНФЕЛЬДЕ



Во всей истории Германии и Швеции даже через столетия выделяется название города, при упоминании которого швед еще выше поднимает голову, а свободолюбивый немец обнажает свою в знак почтения и восторга. Это Лейпциг! Это битва при Брейтенфельде²² седьмого сентября 1631 года.

Король Густав Адольф²³ сражался вместе со своими шведами и финнами на германской земле, дабы защитить самое святое и прекрасное в жизни: свободу и веру. Тилли²⁴, этот ужасный старый капрал, вторгся в Саксонию, и король следовал за ним по пятам. Они встречались уже дважды, тигр вызвал льва на поединок, но лев не тронулся с места. А ныне они стояли лицом к лицу уже в третий раз; решающая битва была неизбежна, и Германия трепетала, предчувствуя свою участь.

Ранним утром объединенные шведские и саксонские войска переправились через реку Лобербеккен* к селению Брейтенфельд

* Топелнус дает здесь шведское название вместо немецкого Лобербах. (Здесь и далее подстрочные примеч. пер.)

и выстроились там в новом боевом порядке, введенном королем. Пехота строилась бригадами в два ряда, конница — небольшими эскадронами тоже в два ряда, а между ними стояли мушкетеры. Однако саксонцы держались отдельно. Король, проезжавший верхом вдоль войск, выравнивал шеренги одним лишь взглядом проницательных глаз, и слово его вселяло бодрость в сердца солдат. Королевский взор благосклонно остановился на храбрых воинах: на левом фланге стоял Густав Хурн²⁵ с отрядами всадников; в центре — храбрый Тойфель²⁶, а перед ним — Турстенсон²⁷ со своими легкими, однако грозными обтянутыми кожей пушками; Банер²⁸ же с лифляндцами и Хепбёрн²⁹ с шотландцами стояли вон там, на других позициях.

Под конец король подъехал к правому флангу, которым он сам командовал. Здесь стояло пять полков конницы: полк Тотта³⁰, Сооп³¹ со своими вестийцами, Стенбокк³² со смоландцами, а с самого края — Стольхандске³³ с финнами. По мере того, как король медленно объезжал ряды солдат, отдававших ему честь, взгляд его все светлел и светлел.

— Стольхандске, — сказал он, осаживая гигантского гнедого скакуна у последнего ряда финских войск, — вы, верно, понимаете, почему я поставил вас с самого края. Прямо против нас стоит Паппенхейм³⁴ со своими валлонцами, он страстно мечтает познакомиться со мной, — слегка улыбнулся король, — и полагаю, бой будет жарким, если он обрушит на нас свои полчища. Надеюсь, вы и ваши финны достойно встретите его. — Повысив голос, так, чтобы все всадники услышали его, он добавил: — Не тупите, ребята, шпаги о железные доспехи воинов, бейте лучше лошадей. Когда они падут, легче будет справиться с рыцарями.

Финские конники очень хорошо понимали как опасность своего положения, так и оказанную им честь, и гордились этим. Доверие короля вселило в воинов мужество и веру в победу. При первом взгляде на эти в большинстве своем невысокие, коренастые фигурки верхом на низкорослых невзрачных лошаденках казалось совершенно невероятным, что они смогут нанести удар рослым валлонцам на их горячих, крепко сбитых, огромных скакунах. Сам Тилли в речи, произнесенной незадолго до битвы перед войском, с презрением говорил о своих голодных, плохо экипиро-

* Черт. — Нем.

** Каменный козел. — Шв.

*** Стальная перчатка. — Шв.

ванных врагах и об их лошадях: они, мол, куда хуже самых дохлых обозных немецких лошадей.

Но то, чего недоставало финским конникам в осанке и внешнем виде, с избытком восполняли их твердые, как железо, мускулы, их удивительное спокойствие, непоколебимость и мужество перед лицом смерти. А их низкорослые лошаденки обладали выносливостью, немало способствовавшей победам финнов в их долгих, утомительных многочасовых сражениях.

Под радостные крики «ура!» король галопом ускакал. Стольхандске, повернувшись к своим людям, повторил слова короля по-фински. Лица всадников сияли гордостью и радостью.

— Ну как, Бертила, — добавил Стольхандске, обращаясь к молодому всаднику в первом ряду (юноша этот на красивом вороном коне выделялся своим высоким ростом и благородной осанкой), — есть у тебя желание сегодня заслужить рыцарские шпоры?

Тот был застигнут врасплох. Он отдал честь шпагой, и лицо его залилось краской.

— Я никогда и помышлять не смел о столь высокой награде, — ответил он, но его пылающие щеки выдавали, что именно это и было вожделенным предметом его самых сокровенных мечтаний. — Я... крестьянский сын! — чуть помешкав, добавил он.

Стольхандске улынулся.

— Гром и молния! Мальчишка краснеет, словно девица под венцом! Крестьянский сын! Какого дьявола... а кем были мы, все остальные?! Разве ты не вывел на поле битвы четверых конников в полном вооружении? Разве Господь Бог не вложил сердце тебе в грудь, а король — шпагу в руку? Это с успехом заменяет герб на твоём щите; об остальном позаботься сам.

Тысяча мыслей в молниеносной быстротой пронеслась в голове всадника. Он подумал о своем детстве на окраине Финляндии, в отдаленном Эстерботтене. Он вспомнил, как его отец, старый Бертила, который во времена Дубинной войны³⁵ был одним из самых ярых приверженцев короля Карла, будущего короля Карла IX³⁶, получил от него в дар четыре больших имения, каждое из которых поставляло на войну и коней, и всадников. Благодаря этому старый Бертила стал одним из самых богатых крестьян в своей стране. Он вспомнил свои первые годы в Стокгольме, куда послал его честолюбивый отец в надежде, что сын добьется воинских почестей и милости короля. И тот, такой же честолюбец, как и отец, вместо того, чтобы постигать мирные науки, втайне учился

фехтовать и ездить верхом. До тех пор, пока строгий отец не сдался наконец и не позволил ему искать место в финской королевской коннице. Все это в один миг пронеслось в голове молодого воина, ибо именно теперь настал час, когда он, юноша из народа, завоюет себе звание, равное званию этих гордых дворян, которые с презрением, сверху вниз смотрели на таких, как он.

Его юношеское сердце забилося сильнее при мысли о том, как он на глазах у короля-героя бросится в жестокую решающую битву за веру, за честь своей страны, за все самое дорогое и святое в жизни. Но прежде чем всадник успел ответить повелителю, где-то вдали послышался голос короля, призывавший к молитве. Наш благородный герой снял шлем и опустил шпагу острием к земле. Все окружавшие его сделали то же самое. И король звучным голосом воззвал к Богу:

— Господь Всемогущий, предержащий в руках Своих победу и поражение, обрати милосердный лик Твой к рабам Твоим! Из дальних стран и мирных жилищ своих пришли мы сюда бороться за свободу, за истину, за Твое Евангелие. Даруй нам победу во славу Твоего святого имени! Аминь!

Отрадное чувство надежды наполнило при этих словах грудь каждого воина.

Шведский трубач поскакал вперед, вызывая на бой имперские войска, и Тилли гордо ответил, что король, верно, знает, где его найти.

В полдень войско оказалось уже на расстоянии выстрела от имперской артиллерии. Раздался выстрел, и началась битва. Солнце светило нападающим прямо в глаза; зюйд-вест нагнал тучи пыли и клубы густого порохового дыма. Король отдал приказ войску повернуть направо, чтобы не мешали ветер и солнце. С быстротой молнии Паппенхейм поспешил вперед, развернулся и атаковал справа шведский фланг. Чтобы преградить Паппенхейму путь, король мгновенно бросил ему наперерез рейнграфские полки и конников Банера. Удар был ужасен; кони и всадники смешались в кучу и повалились друг на друга.

Паппенхейм отступил, но только для того, чтобы тут же броситься на финнов. Длинной темной шеренгой в слепой ярости ринулись валлонцы вперед; напрасно — они натолкнулись на железную стену, их передние ряды были сокрушены, а задние повернули назад; вторая атака была отражена. Паппенхейм неистовствовал; в третий раз ринулся он в атаку; теперь уже рядом с финнами сражались лифляндцы и курляндцы. Стольхандске встре-

тил врага так же хладнокровно и таким же точно натиском; пробить эту живую стену было невозможно.

Финны защищались до сих пор с непоколебимым хладнокровием. Но мало-помалу распались в пылу битвы и они; бешенство врага передалось и им, так что теперь их нельзя было удерживать. Могучий голос Стольхандске гремел над хаосом битвы; еще раз сомкнулись ряды финской конницы, недруг еще раз был отброшен назад. Однако Паппенхейм, весь израненный, повел своих валлонцев в атаку. И вот тут-то ряды финских войск сами собой расступились, но только для того, чтобы заключить в свои железные объятия атакующих. Схватка была такой ожесточенной, что лошади немцев начали уставать. В пятый раз отброшенные назад, немцы снова кинулись на врага. В седьмой раз за Паппенхеймом последовали лишь самые преданные воины, а когда и этот отчаянный натиск кончился тем, что поле битвы оказалось усеянным трупами атаковавших, оставшаяся в живых кучка валлонцев рассеялась в беспорядочном бегстве по дороге на Брейтенфельд.

Окровавленные, запыленные финны перевели дух. Но лишь только дым сражения на миг развеялся, как они обнаружили остатки отрезанного от своих неприятельского войска. То был пехотный полк герцога Голштинского. Вместе с эстйётами финны окружили голштинцев и уничтожили их; голштинцы храбро защищались до последнего человека и погибли. Пока все это происходило на правом фланге, левый подвергся величайшей опасности. Фюрстенберг³⁷ со своими хорватами напал на саксонцев, вызвав замешательство в их рядах. Тилли, увидев, что оба фланга сражаются, ринулся наконец вперед во главе шестнадцати крупных боевых колонн — главных сил его армии. Подобно черной грозовой туче его войско усеяло всю равнину. Турстенсон принял его в свои горячие объятия. Ядра так и косили ряды имперских войск. Тилли, бросив на произвол судьбы Паппенхейма, оттянул часть войска в сторону и тоже кинулся на саксонцев. Несущаяся с гор лавина не могла бы нанести столь страшного, сокрушительного урона: рассеянные при первом же ударе саксонцы во главе с курфюрстом разбежались в разные стороны. Тилли мог теперь бросить свои войска против Хурна и левого крыла шведов. Поспешив, король воззвал к Калленбаху, чтобы тот ради всего святого вмешался в битву и бросил туда свои резервы. Калленбах так и сделал, но пал в первом же сражении. Та же участь постигла и Тойфеля. На помощь Хурну ринулся Хепбёрн со своими шот-

ландцами и смоландцы Соопа. Хорваты сплоченными боевыми колоннами рванулись к Хепбёрну. Тут ряды шотландцев разомкнулись, загремели надежно укрытые кожаные пушки; вскоре поле битвы было усеяно трупами. Оставшиеся в живых враги теснились, пробиваясь вперед. Шотландцы встретили их сокрушающей силы залпом из мушкетов, воины попадали на землю. Ветер разносил пороховой дым по всей равнине. В этом смертоносном хаосе неясно было, кто друг и кто враг. Дрались шпагами и прикладами. Чаши весов то и дело колебались то в одну, то в другую сторону.

И тут снова совершенно неожиданно с высоты холма раздался грохот канонады. Король во главе своей конницы захватил имперскую артиллерию и повернул против неприятеля его собственные пушки. Это окончательно решило исход битвы. Напрасно пытался Паппенгейм отвоевать высоту; в восьмой раз ему пришлось отступить. Король напал на неприятеля с правого фланга; началась страшная суматоха. Тилли заплакал от гнева; Паппенгейм, собственной рукой сразивший четырнадцать шведов и финнов, был вне себя от бешенства. Напрасны были его мольбы и угрозы: имперские войска в безумной растерянности разбежались в разные стороны. Под Тилли убили его знаменитого серого жеребца, а сам полководец с огромным трудом избежал плена... Король одержал полную победу.

Однако оставалось еще последнее кровавое действо. Четыре пехотных полка — основное ядро самых несокрушимых войск Тилли — в безукоризненном порядке вышли из боя и встали грудью, защищаясь от преследовавших их шведов. Король напал на них справа. Сражение было жарким; ветераны Тилли отчаянно бились. Никто не просил пощады и никто никого не щадил. Наступившая темнота спасла остаток этого храброго войска, которое стало отходить к Лейпцигу. Битва прекратилась. Густав Адольф, боясь из-за малейшей неосторожности утратить завоеванное, еще в семь часов вечера второй раз выстроил войско в боевой порядок и приказал солдатам провести всю ночь в строю. Но прежде король объехал верхом весь строй шеренг, чтобы поблагодарить своих храбрецов.

— Стольхандске, — произнес король, приблизившись к рядам финнов, — вы и ваши люди все до единого храбро сражались, как я того и ожидал. Благодарю вас, молодцы! Я горжусь вами!

Ликующее «ура!» было ему ответом.

— Но, — добавил король, — среди вас был один, кто спешился

и самым первым взобрался на высоту, чтобы захватить имперские пушки. Кто это?

Из строя выехал молодой всадник.

— Прошу милости, ваше королевское величество! — запинаясь, произнес он. — Я сделал это самовольно, без приказа, и потому заслуживаю смерти.

Король улыбнулся.

— Имя?

Бертила.

— Из Эстерботтена?

— Да, ваше величество!

— Хорошо. Завтра в семь утра явишься ко мне выслушать приговор!

Король поскакал дальше, а всадник вернулся в строй.

Ночь простерлась над залитым кровью полем боя, покрытым девятью тысячами изувеченных трупов. Финская конница устроила бивуак на той высоте, где были захвачены пушки Тилли. Поспешно убрали осколки ядер, унесли трупы, и костер, сложенный из разбитых лафетов и ружейных прикладов, ярким пламенем осветил мягкую сентябрьскую ночь.

Первым делом конники задали лошадям овса и напоили их у покрытого мраком берега Лобербеккена, после чего расположились возле костров в полном вооружении, готовые по первому мановению начальственной руки ринуться в бой. Земля была скользкой от крови и росы, а усталость так велика, что многие бросались на землю и тут же засыпали. Другие же держались на ногах благодаря тому, что ели и пили. Пива было предостаточно, и чаша переходила из рук в руки до тех пор, пока в ней оставалась хоть капля хмельного. А пили они в шутку «за здоровье имперских воинов!»

— Чтобы ночью они сдохли от жажды!

— Либо пили на собственных поминках!

— *Eläköön kuningas!**

В этот миг совсем близко на поле битвы, чуть освещенном кострами, послышались стелания и голос, жалобно моливший о помощи. Привычные ко всему солдаты поняли, судя по иноземному произношению, что стоивший был из неприятельского войска, и поэтому не стали затруднять себя. Но жалобные стоны, тоскливые и душераздирающие, продолжались без перерыва.

* Да здравствует король! Фин.

— Пекка, пойд и добей эту австрийскую собаку! — закричали некоторые.

Пекка, один из четверых, приведенных Бертилой, приземистый коротышка, сильный, как медведь, встал и нехотя пошел, чтобы заставить раненого замолчать. Суеверному, как и все его товарищи, Пекке было не очень-то по себе во мраке ночи среди мертвецов. Бертила, погруженный в думы о завтрашнем дне, ничего не слышал.

Через несколько минут Пекка вернулся, волоча за собой человека в темном одеянии. Ко всеобщему удивлению, стонавший оказался монахом с тонзурой. Грубая ряса была подпоясана конопляной веревкой, на которой висели ножны длинной шпаги.

— Монах! Иезуит! — зашумели всадники.

— Да, а что, по-вашему, я должен был делать? — смущенно произнес Пекка. — Когда я размахнулся, чтобы прикончить его, он отразил мой удар распятием.

— Добей его! Он из той самой дьявольской шайки, которая бродит в овечьем обличье, убивая королей и сжигая на костре правоверных христиан!

— Добей его! Когда мы штурмовали высоту, этот парень болтался со своим распятием среди имперских солдат и даже стрелял из пушки.

— Посмотрим, не из серебра ли это распятие?! — воскликнул один из конников, сунув руку под плащ монаха и вытащив, несмотря на сопротивление, серебряное богато позолоченное распятие.

— Так я и думал! У дьявола золота хоть пруд пруди!

— Позволь мне взглянуть на распятие, — сказал один старый солдат. — Я кое-что смыслю в монашеских хитростях.

Осмотрев со всех сторон позолоченное изображение Христа, он вдруг нажал маленькую пружинку на его груди... и оттуда выскочил остро отточенный кинжал.

Словно ужаленный, старый солдат отшвырнул распятие. Ужас и отвращение овладели всеми стоящими вокруг.

— Повесь этого гада на его собственной веревке! — кричали конники.

— Gnade!* Gratia!** Pardon!*** — стонал монах. Оглушенный

* Милость! Нем.

** Милость! — Лат.

*** Прощение! — Фр.

ударом, он было впал в беспамятство, но теперь к нему снова вернулись силы и дар речи.

— Здесь нет ни единого дерева, — возразил один из конников, — а покидать строй никому не дозволяется!

— Так утопи его!

— Здесь нет воды!

— Бей его дубинкой!

Но из отвращения к иезуиту никто не желал даже дотронуться до него.

— Что нам с ним делать?

— Misericordia!* Gnade! — повторял пленник.

— Дать ему пинка, и пусть убегает прочь, — сказал кто-то.

— Мы воины-христиане и не боимся никаких дьявольских козней.

— По крайней мере сначала я отмечу тебя клеймом, высокочтимый патер**, чтобы узнать, коли доведется снова встретиться, — вставил один из конников, тавастландец³⁸ Витикка, известный своей силой и диким нравом. Его длинная шпага, просвистев над головой иезуита, отсекла ему оба уха, прежде чем кто-либо успел помешать этому, да так ловко, что не задела и волоска на голове патера.

— У святого Петра не вышло бы лучше! — захохотал Витикка.

Стоявшие поблизости отвернулись. Даже эти грубые, привычные к жестокостям войны всадники сочли эту шутку слишком беспощадной.

Истекая кровью, иезуит на четвереньках отполз. Но еще долго из темноты слышался его голос: «Maledicti Fennones! Maledicti! Maledicti! Vos comburat ignis sempiternus!»***

— Отче наш, иже еси на небесах! — начал молиться какой-то солдат.

2. ДВОРЯНИН БЕЗ ИМЕНИ

На рассвете 8 сентября весь шведский лагерь охватило веселое возбуждение. Победа была явной, со всех сторон поступали вести о том, что имперские войска полностью изгнаны. Король приказал отдельным эскадронам конницы преследовать врага, а остальное

* Милосердие! — *Лат.*

** Святой отец. — *Лат.*

*** Проклятые финны! Проклятые! Проклятые! Да испепелит вас вечный огонь! — *Лат.*

войско получило весьма отрадное задание — разграбить лагерь Тилли.

Войскам досталась богатая добыча, и многие разбогатели там до конца своих дней. Мертвых поспешно предали земле, живые забыли о своих ранах и страданиях. Ясным сентябрьским утром вся равнина так и кишела толпами пеших и конных, и здесь, как нигде, подходит выражение Бескова³⁹: «В воздухе ощущалась прохлада от реявших победных знамен».

Король провел ночь в карете. Прочитав молитву и отдав важнейшие приказания на весь этот день, он велел позвать к себе наиболее отличившихся в сражении. Их отметили наградами, и они получили за храбрость повышения в чине. Но выше всех других наград было для них глубокое внутреннее удовлетворение и одобрение короля-героя, почитать которого училась теперь вся Европа. Среди особо приглашенных был и молодой человек, который в этом повествовании играет выдающуюся роль. Густаву Бертиле исполнилось всего лишь двадцать лет; его сердце билось в этот миг сильнее, чем в самом кровопролитном бою. Он, конечно, подозревал, что благородный король не сочтет его поступок за преступление или же неповиновение приказу, отданному в пылу битвы. Однако Бертила то краснел, то бледнел, томясь в неизвестности: что может быть на уме у короля, назначившего ему эту аудиенцию, которая уже сама по себе означала большое отличие?!

Король велел разбить палатку под одним из больших вязов, так как все строения поблизости были либо сожжены, либо изрешечены ядрами. После получасового ожидания Бертилу провели в палатку. Густав Адольф сидел на складном стуле, облокотившись о стол, заваленный картами и бумагами. Он был, как известно, высокого роста и очень дородный; плотно облежавший фигуру короля колет придавал его формам еще большую полноту и пышность. Когда Бертила вошел в палатку, король поднял голову от только что подписанного указа и мягким внимательным взглядом выразительных глаз окинул юного всадника. Густав Адольф был несколько близорук; известное усилие, необходимое для того, чтобы узнать кого-либо с первого взгляда при встречах с малоизвестными ему лицами, придавало обычно его взору остроту, которая тут же снова исчезала.

— Тебя зовут Бертила? — спросил король, словно желая удостовериться в том, что вчера он не ослышался.

— Да, ваше величество!

— Ты сын старого Арона Бертилы из прихода Стурчюро?

- Да, ваше величество!
- Возраст?
- Двадцать лет.

Король с сомнением окинул его пристальным взглядом.

- Его сын, говоришь?

Молодой рыцарь, залившись краской, поклонился.

- Странно!

Король как бы бессознательно вымолвил эти слова и, казалось, на мгновение задумался. Затем живо продолжал:

— Почему ты прежде не просил доложить о себе? Твой отец оказал большие услуги моему отцу и всему шведскому государству. Он еще жив?

- Он жив благодаря доброте вашего величества.
- В самом деле?

Эти слова походили скорее на высказанную вслух тайную мысль, чем на вопрос. Юный Бертила чувствовал, что кровь все сильнее и сильнее приливает к щекам, и король заметил это.

— Мы с твоим отцом когда-то были не в ладах, — добавил король, и губы его при этих словах улыбались, меж тем как легкое облачко омрачало его чело. — Однако, — продолжал он, — все это давным-давно забыто, и меня радует, что у такого достойнейшего человека такой храбрый сын. Ты был среди тех семидесяти финнов при Деммине⁴⁰?

- Да, ваше величество!
- И тебя не представили к повышению?
- Мой полковник обещал иметь меня в виду.

— Твой король никогда не забывает верной службы. Густав Бертила, я только что подписал указ о присвоении тебе чина фенрика⁴¹. Прими его и продолжай служить с честью!

- Ваше величество! — запинаясь, произнес молодой всадник.

— Я должен сказать тебе еще кое-что! Твой поступок вчера был нарушением приказа.

- Да, ваше величество!

— Я хочу, чтобы мои солдаты беспрекословно подчинялись приказам. Мне сказали также, что ты спешил к у подножья самого крутого холма, чтобы быстрее подняться на его вершину.

- Это правда, ваше величество!

— И что ты поэтому, пока остальные конники добирались в обход, успел первым взобраться на вершину холма, зарубить двух австрийцев и захватить первую пушку?

- Да, ваше величество!

— Это хорошо. Фенрик Бертила, я прощаю твою провинность — неподчинение приказу и назначаю тебя лейтенантом моей финской конницы.

У молодого человека не хватало слов, чтобы выразить свой восторг.

Король и сам был растроган.

— Подойди ближе, юноша, — сказал он. — Знай же, что в дни моей молодости я причинил большое зло твоему отцу, совершил страшную несправедливость. Небо, которому ведомо мое раскаяние, предоставило мне наконец случай искупить перед сыном обиду, нанесенную его отцу. Лейтенант Бертила, ты храбр и благороден, ты обучен военным наукам; ты привел ко мне на службу четырех полностью экипированных всадников. В чине офицера королевского войска ты уже достоин звания дворянина. Но ради того, чтобы ни один из моих офицеров, какого бы знатного рода он ни был, не счел тебя, крестьянского сына, ниже себя по сословию, я жалую тебе имя, герб и рыцарские шпоры. Ступай, юноша... ступай, сын мой, — повторил с непонятным волнением король, — и покажи себя достойным благоволения короля.

— До самой смерти!

И, не в силах совладать со своими чувствами, молодой воин преклонил колена перед победителем старого капрала Тилли.

Король встал. Растроганность, на миг отразившаяся на его прекрасном мужественном лице, быстро уступила место величю, присущему монарху, и повелительному взгляду полководца. Молодой Бертила понял, что аудиенция окончена.

Однако он не спешил встать и, коленопреклоненный, протянул королю письмо, которое до этого самого дня было зашито у него в камзоле.

— Удостоите чести прочитать это письмо, ваше величество! Когда я уходил на войну и прощался с отцом, он вручил мне это письмо и сказал: «Сын мой, ступай и попытайся заслужить милость своего короля верностью и отвагой. А если удостоишься когда-либо чести завоевать его благоволение своими собственными заслугами, а не только именем своего отца, дай ему это письмо и скажи, что это — мое завещание. Его великодушное сердце поймет, что я хочу сказать».

Король взял письмо, сломал печать и прочитал послание. Его черты живо выдавали скрываемое волнение; густой румянец, который довольно часто в последние годы был единственным свидетельством жестокой борьбы в его душе, легкой тенью выступил на

лице короля, окрасил его на мгновение и снова исчез без следа. Когда король прочел письмо, его задумчивый взор остановился на красивом белокуроем юноше, который все еще стоял, преклонив колено, у его ног.

— Встань! — наконец произнес он.

Бертила встал.

— Знакомо ли тебе содержание этого письма?

— Нет, ваше величество!

Король проницательным взглядом посмотрел на него и, казалось, остался доволен честным выражением лица юноши.

— Твой отец, юноша, — после короткого молчания продолжал король, — твой отец — человек странный. Он ненавидит знать со времен Дубинной войны, когда ему пришлось сражаться во многих жестоких битвах во главе крестьян и когда конники Флеминга бесчинствовали у него в усадьбе. Он запрещает тебе принимать дворянское имя и герб на щите, если ты не желаешь навлечь на себя его отеческое проклятие.

Бертила не ответил ни слова. Молния, ударившая с ясного неба, разбила его счастье; все юношеские мечты о гербе на щите и рыцарских шпорах были разом уничтожены.

— С волей отца надо считаться, — серьезно продолжал король. — Дворянское имя, которое я хотел дать тебе, ты носить не сможешь. Но успокойся, мой юный друг, ты сохранишь свою шпагу и права лейтенанта: с ними и с твоей крепкой рукой тебе всегда будет открыт путь к чести и достоинству.

И по мановению руки короля юный воин, обуреваемый противоречивыми чувствами, удалился.

3. ФРЁКЕН* РЕГИНА

Однажды пасмурным осенним днем в начале октября 1631 года, спустя три недели после битвы при Брейтенфельде, в одном из покоев башни замка в Вюрцбурге⁴² сидела прекрасная Регина фон Эммериц, племянница епископа. Вместе с тремя или четырьмя девицами она вышивала лик Девы Марии на полотнище белого шелка, собираясь принести его как стяг победы в дар гарнизону замка. Молодые девушки оживленно беседовали, ибо гроза замка, скарденный старый епископ, недавно отправился, по его словам, на

* Девушка, барышня. — *Шв.*

ревизию своей епархии. На самом же деле он уехал, чтобы избежать встречи с приближавшимися полчищами короля Густава Адольфа. Опасаясь за свои сокровища, он заблаговременно доверил защиту города и замка смелому ротмистру Келлеру с его гарнизоном из полутора тысяч воинов. И Келлер, надеясь, что замок укреплен и удачно расположен близ берега Майна, заверил его высокопреосвященство, что скорее король еретиков разобьет себе голову о стены замка, чем кто-нибудь из его сброда проникнет сюда. Прекрасной Регине едва исполнилось шестнадцать лет. Ее локоны были темны, как ночь, щеки свежи, как утренние розы, а черные глаза сверкали, словно две звезды, отражающиеся полночной порой в одиноком озере. Старый епископ берег Регину как свою зеницу ока и оставил ее здесь так же неохотно, как и свои сокровища в глубине черной пещеры. Но Келлер заверил его, что крепкие стены замка, охраняемые пушками, в такое смутное время — самая надежная защита ее красоты.

Фрёкен Регина подняла темные глаза от вышивания и бросила взгляд из маленького оконца башни на реку, где как раз переезжала по мосту из города в замок коляска, сопровождаемая эскортом из нескольких всадников.

— Кто бы это мог быть? — воскликнула она, мечтательно глядя вниз.

— Ах! — воскликнула Кэтхен, самая юная и самая болтливая из девушек. — Пресвятая Дева, как все-таки весело жить во время войны! Каждый день видишь новые лица, статных рыцарей, расторопных слуг, а время от времени развлекаешься на пирушках в городе! Это не то что сидеть в монастыре взаперти да слушать, как монахи с утра до вечера распевают «De profundis»*. Да, — игриво продолжала она, — только бы его милость господин епископ подольше не приезжал!

— Кэтхен, — пожурила ее Регина, — остерегайся нехорошо говорить о монашеских службах! Помни, что наш духовный отец и исповедник патер Иероним — член святой инквизиции, а подземная тюрьма замка и темна, и глубока.

Кэтхен на миг онемела. Но тут же дерзко продолжила:

— Будь я на вашем месте, фрёкен, я бы лучше думала о красавце графе фон Лихтенштейне, чем о противном патере Иерониме. Какой это доблестный рыцарь! Да поможет ему Бог вернуться победителем с войны против еретиков!

* «Из глубин...» — *Лат.* — начальные слова заупокойной католической молитвы.

— И чтобы их всех искоренили огнем и мечом! — благочестиво вставила одна из девиц.

— Бедные еретики! — улыбаясь, воскликнула Кэтхен.

— Остерегись! — с наивной серьезностью сказала фрёкен Регина. — Еретики не заслуживают ни малейшего сожаления. Тому, кто убьет еретика, простятся семь грехов, это частенько говорил мне патер Иероним. Ненавидеть еретика — восьмое таинство, а любить хотя бы одного из них — значит продать свою душу дьяволу!

Черные глаза Регины засверкали. Видно было, что поучения достопочтенного патера пустили глубокие корни в ее душе.

Однако Кэтхен не утратила храбрости.

— Говорят, их король добр и благороден, он опекает беззащитных и запрещает своим солдатам насилие.

— Сатана частенько рядится в обличье ангела.

— Говорят еще, что его воины смелы и великодушны. Я сама слышала, как один старый итальянский кавалерист рассказывал солдатам, что после битвы еретики перевязали раненых врагов наравне со своими.

Фрёкен Регина встала и только было собралась резко возразить девушке, как в дверях показался слуга и доложил, что граф фон Лихтенштейн, весь израненный, прибыл в замок и просит оказать ему гостеприимство. Юная фрёкен, которую как епископскую племянницу надлежало в его отсутствие считать владелицей замка, тотчас поспешила принять прибывшего гостя. Девушки обменялись взглядами. Видно, случилось что-то очень важное. Они уже давно шептались между собой о том, что старый епископ прочит-де графа в супруги юной фрёкен. Но тщетно пытались они подметить следы румянца на ее щеках при известии о его приезде. Даже если фрёкен Регина и питала к графу какие-то нежные чувства, она хорошо умела их скрывать.

— Это правда, — спросила одна из девиц, — что король еретиков одержал великую победу над правоверными и приближается сюда со своим безбожным войском?

— Так говорят, — ответила другая. — Но сюда ему не добаться. Наши воздвигли на его пути в Тюрингском лесу святыню шведов, изображение святой Биргитты⁴³. А она уж, верно, сумеет остановить его на пути в Вюрцбург.

Тем временем фрёкен Регина велела приготовить для гостя один из личных покоев епископа и позаботилась о том, чтобы графу оказали всяческую помощь. Молодой граф Фриц фон Лих-

тенштейн был гордый рослый юноша, смуглый, как испанец, с глазами, сверкающими почти так же, как у Регины. Шатаясь, приблизился он к прекрасной владелице замка. Взор его был таким пламенным, что Регина опустила глаза.

— Как возблагодарить небо за эти раны, подарившие мне счастье обрести столь прекрасную сестру милосердия!

Раны графа были не опасны. Взятого в плен под Брейтенфельдом, его, еще слабого от потери крови, вскоре обменяли на другого пленного, и он поспешил сюда, чтобы рядом с владычицей своего сердца вновь обрести силы и здоровье.

— Но, — добавил граф, — я обеспокоен вестью о том, что жаждущий добычи неприятель устремляет сюда, в эти богатые долины франков, полчища врагов. Тем быстрее поспешил я сюда, прекрасная Регина, чтобы разделить с вами судьбу и опасности. Будьте спокойны! Кёнигсхофен окажет сопротивление врагу, а патер Иероним, раненый, как и я, и чудом спасшийся после битвы при Брейтенфельде, занят теперь тем, что на всем пути врага подстрекает селян к сопротивлению.

— И вы думаете, — с беспокойством спросила Регина, — что эти безбожные еретики сумеют все-таки прийти сюда?

— Покровительство святых будет охранять вашу красоту, — учтиво ответил граф. — А вообще, мы вскоре услышим более достоверные вести.

Регина поглядела в окошко и увидела отряд всадников; пришпоривая лошадей, они во весь опор мчались к замку.

— Если я не ошибаюсь, — воскликнула она, — это возвращается сам патер Иероним!

— Дурной знак! — пробормотал граф.

Фрёкен Регина не ошиблась: патер Иероним как раз в эту минуту проезжал по подъемному мосту. С виду это был маленький, невзрачный человечек, бледный и худой, с резкими чертами лица и глубоко запавшими бегающими глазами. На конце веревки, подпоясывающей черную рясу, висела длинная шпага. Но на темени патера уже не сияла тонзура; раненный в голову, он носил кожаный черный капюшон или капор, ужасающе контрастирующий со смертельно бледным лицом. Казалось, будто сама смерть, само несчастье въехали в ворота Вюрцбургского замка.

Окинув быстрым взглядом выстроившийся во дворе замка гарнизон, он поздоровался с фрёкен Региной. Его улыбка была предназначена смягчить отталкивающее впечатление от его внешнос-

ти, но на самом деле она показалась всем еще более грозной и отвратительной.

— Да защитит вас святой Патрик⁴⁴ и все святые, милостивая фрёкен. Времена теперь очень дурные, очень дурные! Пресвятая Дева дозволила еретикам прорваться к самым нашим воротам. За наши грехи! — добавил он, благочестиво осенив себя крестным знамением.

— А замок Кёнигсхофен? — спросил граф Фриц, уже предчувствуя ответ.

— Вероломный комендант сдался!

— Ну а крестьяне, которые сопротивлялись походу неприятеля через лес?

— Рассеялись, как плевелы на ветру, за наши грехи!

— А изображение святой Биргитты?

— Безбожные еретики поставили его вместо вороньего пугала в поле. Однако, — продолжал патер, и в голосе его зазвучали резкие повелительные ноты, — что я вижу, дочь моя? Вы сами все еще здесь, а замок полон женщин и детей, меж тем как можно в любой момент ожидать неприятеля у наших ворот!

— У фрёкен Регины никогда не будет недостатка в защитниках, пока эта рука в силах держать меч, — вмешался в разговор граф Фриц.

— Провизии в замке хватит на целый год, — уклончиво возразила патеру Регина. — Но, достопочтенный отец, вы устали, вы ранены и нуждаетесь в отдыхе. Позвольте мне заняться вами; вы ранены в голову?

— Это пустяки, дочь моя, ранение легкое. Теперь ли думать обо мне? Вам необходимо выбраться отсюда сию же минуту... в укрепленный Ашаффенбург⁴⁵.

— Боюсь, что уже слишком поздно! — воскликнул граф Фриц, смотревший из окна на реку и город.

— Святая Мария! Они уже здесь?

Иезуит и фрёкен Регина поспешили к окну. Вечернее солнце отбрасывало свои последние лучи на Вюрцбург и его окрестности. По улицам города скакали во весь опор всадники, а к замку тянулась целая толпа спасающихся бегством городских жителей, монахов и монахинь, женщин и детей. За городом со стороны Швейнфурта⁴⁶ на восточном берегу Майна показалась кучка всадников; они приближались столь осторожно, что можно было легко догадаться: это один из передовых отрядов шведского войска.

— Maledicti Fennones! — воскликнул иезуит с выражением

неописуемой ярости на бледном лице. — У этих еретиков просто выросли крылья! Да поглотит их земля!

И он поторопился тут же уйти, чтобы с одержимостью фанатика стать во главе защитников замка.

Стены древнего епископского замка, известного также под названием Мариенбург, высятся на вершине у самого берега Майна. Со стороны реки и города скала обрывается высокой отвесной стеной, а на противоположной стороне склон отлогий и легко доступный. Здесь перед воротами возвели вал в форме полумесяца, и получилось надежное укрепление. Но если бы враг преодолел и это препятствие, с внутренней стороны вала его ожидал глубокий, вырубленный в скале ров. А переберись неприятель благополучно через ров, на его пути встала бы внутренняя самая высокая стена замка, усеянная закованными в броню воинами, готовыми застрелить из своих тяжелых пищалей любого, кто приблизится к замку. Или столкнуть врага вниз длинными алебардами, или раздавить огромными, сложенными грудой на стене камнями. Если добавить еще и то, что единственной переправой через реку был узкий мост, а сорок восемь пушек замка господствовали над городом и далеко окрест, то можно было считать, что у Келлера, стоявшего во главе тысячи пятисот храбрецов и в достатке оснащенного всем, что необходимо, имелись причины просить отъезжающего епископа сохранять спокойствие и стойкость духа.

Однако и у Густава Адольфа была важная причина — он хотел во что бы то ни стало сделаться хозяином этого замка. Тилли стянул подкрепления отовсюду и уже спустя несколько недель после битвы при Брейтенфельде, одержимый жаждой мести, шел из Гессена с тридцатью тысячами воинов в полном вооружении на помощь Вюрцбургу. Король потребовал сдачи города и ворвался в предместья, но было это уже поздним вечером, и штурм пришлось отложить. На следующее утро город сдался. Но Келлер успел воспользоваться темнотой ночи, чтобы со всем своим войском, множеством беглецов и городским имуществом, которое еще можно было спасти, перебраться в замок, после чего взорвал обе арки моста через Майн и преградил таким образом путь врагу.

Однако вернемся к замку.

Этой ночью в епископском замке никто не спал. Постоянно прибывали все новые и новые отряды солдат, большие и малые толпы монахов и женщин; в ворота один за другим со скрипом въезжали груженные разной кладью возы. Чтобы разместить в

замке всю эту массу людей, фрёкен Регина освободила не только покои епископа, но и оба роскошных покоя в самой глубине замка, которые занимала сама, перейдя со своими девушками наверх в две небольшие каморки восточной башни. Напрасно убеждали ее, что это место наиболее опасно при вражеском обстреле. Отсюда ей открывался наилучший обзор всего замка, и ей вовсе не хотелось лишиться своей наблюдательной вышки.

— Не препятствуйте мне, — говорила она предостерегавшему ее иезуиту, — я желаю видеть, как еретики истекают кровью и падают от ядер наших пушек. Это будет великолепное зрелище!

— Аминь! — ответил патер Иероним. — Тебе ведь известно, дочь моя, что замок этот находится под защитой двух чудотворных изображений Божией Матери. Одно из чистого золота, другое из золоченого дерева. Я хочу поставить в твоём покое деревянное изображение, дабы Матерь Божия отвращала вражеские ядра и пули, отбрасывая их, словно пушинки, от стен башни.

Уже на рассвете фрёкен Регина заняла свой пост у маленького оконца. Какое блистательное зрелище открылось ее взору, когда солнце взошло над осенними холмами с еще зеленеющими виноградниками, меж которых струился Майн, извиваясь, подобно сверкающему поясу из серебра и золота, в утренних лучах солнца. В городе все было в движении, четыре шведских пехотных полка вошли в Вюрцбург с развевающимися знаменами под гром оркестра. Видно было, как сверкают на солнце доспехи солдат, а плюмажи офицеров развеваются на ветру. При виде этого зрелища страх и любопытство, которые постоянно боролись между собой, овладели девичьим сердцем.

— Позови сюда графа Фрица, — сказала Регина Кэтхен. — Он больше двух недель пробыл в шведском лагере и знает самых знатных из еретиков!

Граф, которому раны мешали принять участие в защите замка, охотно последовал зову прекрасной фрёкен Регины. Между тем шведы уже успели занять город и стали отдельными, рассеянными отрядами появляться у берега и у взорванного моста. В это время загрели пушки замка. То тут, то там пушечное ядро падало в толпу шведов, которые искали убежище за домами на берегу реки.

— Пресвятая Дева, там упал солдат да так и остался лежать! — воскликнула Кэтхен, которая не могла скрыть своего участия к врагу.

— Слава святому Франциску, на свете одним еретиком стало

меньше! — вмешалась старая Дорте, дуэнья фрёкен Регины, при-
ставленная патером Иеронимом следить за каждым шагом девушки.

— Но это же ужасно — застрелить человека!

Граф Фриц чуть улыбнулся.

— Юнгфру* Кэтхен, посмотрели бы вы на поле битвы при
Брейтенфельде! Девять тысяч убитых!..

— Это отвратительно!

— Не можете ли вы, граф, сказать мне, кто эти всадники, кото-
рые под градом пуль и ядер держатся у берега и, кажется, разве-
дывают местность вокруг замка?

— Простите, моя прекрасная кузина, дым от пороха начинает
застилать горизонт. Эти всадники... клянусь честью, это сам ко-
роль и граф Пер Брахе⁷. Мне очень жаль. Если патер Иероним
их узнает, он направит туда дула всех пушек замка.

При этих словах старая Дорте выскользнула из комнаты.

— Как, кузен, вы жалеете князя еретиков?

— Вы так нежны, так великодушны, прекрасная Регина, неужели вы не понимаете, что можно питать сострадание к храброму и
благородному неприятелю? Король Швеции — герой, достойный
в столь же высокой степени восхищения, как и ненависти!

— Не понимаю вас! Он же еретик!

— Да не допустит небо, чтобы вы когда-нибудь увидели его в
этих стенах; тогда бы вы лучше поняли меня... Да, они намерева-
ются брать штурмом мост... они перебрасывают бревна на уцелев-
шие остатки быков. Видит Бог, это дерзкая затея!

— Четверо погибли сразу! — закричала Кэтхен.

— Я узнаю их! — воскликнул граф Фриц. — Я узнаю их, это
шотландцы! Во всем шведском войске не найти более смелого
отряда воинов! Шотландцы и финны всегда идут впереди, там, где
опаснее всего!

— О, посмотрите-ка, кузен, ваши шотландцы отступили, они не
осмелились совершить этот опасный прыжок!

— Для этого необходимо нечто большее, нежели обычное че-
ловеческое мужество. В двадцати четырех футах под узкой дос-
кой бурлит и пенится река.

— Два стройных офицера прыгнули на доску.

— Это братья Рамси, оба совсем юные.

— О небо, защити их!.. О Пресвятая Дева Мария, это ужасно!

* Девушка. — Шв.

И Кэтхен закрыла лицо передником. Храбрые шотландцы не успели дойти и до середины доски, как пошатнулись, потеряли равновесие и рухнули в реку. Некоторое время было видно, как доблестные братья борются с волнами, но их настигли вражеские пули, а тяжелые доспехи потянули ко дну... Миг — и отважные рыцари исчезли под водой...

— Ты недавно радовалась войне, — холодно сказала фрёкен Регина, хотя ее сердце сильно билось от волнения.

— Ах да, конечно, но я радовалась прекрасным рыцарям, музыке и банкетам, а уж никак не этому! — плача, воскликнула Кэтхен.

— Шотландцы отступают! — закричала одна девица.

— Да, — задумчиво сказал граф, — но шведы начинают переправу через реку на лодках.

— Шотландцы снова прыгают на доску!

— Так я и знал!

— Помогите нам небо, они переправляются через реку! Они заняли позицию на берегу. Наши начинают вылазку!

— Берегитесь, фрёкен Регина, не высовывайтесь из окна. Шведы нацеливают пушки прямо сюда!

— Вы боитесь, граф? — При этих словах Регина слегка усмехнулась.

Лихтенштейн покраснел.

— Мне кажется, я уже достаточно доказал свою храбрость. Прислушайтесь, и вы услышите ежеминутный свист и шумок, как будто мелкие камешки трутся друг о друга. Я объясню вам, что это такое. Это свист пушечных ядер, моя фрёкен. Уже целых полчаса неприятель отбивает кусок за куском от стены башни, и почти все время в одном и том же месте. Это не шутки, кузина. Шведы выучились военному искусству у самого нечистого.

— Вы в самом деле думаете...

— ...что шведы хотят расстрелять и разрушить эту башню, чтобы ее руинами завалить ров? Да, кузина, это так, и я полагаю, их план удастся. Здесь нельзя оставаться ни минуты. Вам необходимо перебраться в более безопасное место.

— Сию же минуту, милостивый господин, сию же минуту! Идемте, фрёкен! — воскликнула Кэтхен, пытаясь силой увести свою юную повелительницу с собой.

Регина была сильно взволнована. Привычка повелевать, а быть может, и врожденное упрямство объединились со страшным фанатизмом, который с детства сумел внушить ей иезуит... Она от-

ступила, схватила позолоченное изображение Девы Марии, которое послал ей в защиту патер Иероним, и поставила перед собой в оконной нише.

— Уходите, — сказала она, — если не верите и сомневаетесь в силе святых! Я остаюсь здесь, и пушечные ядра еретиков не смогут причинить мне вреда и окажутся бессильными против...

Не успела фрёкен Регина высказать свою мысль, как ядро, ударившись о стену, оторвало край оконной ниши. Град каменных осколков и куски штукатурки вихрем ворвались в окно, опрокинули изображение Девы Марии и окутали фрёкен Регину облаком известковой пыли.

— Немедленно уходите отсюда! Вы же сами видите! — закричал граф.

— Идем отсюда! — молили вне себя от страха девицы.

Регина на какой-то миг пришла в замешательство, но совладала с собой, наклонилась, подняла Деву Марию и с глубочайшей уверенностью сказала:

— Они бессильны против Пресвятой Девы!

Но она обманывалась. Деревянное изображение Пресвятой Девы разломилось на куски. На губах графа заиграла саркастическая усмешка. И ему наконец-то удалось без всякого сопротивления увести из башни потрясенную кузину.

Тем временем Келлер быстро и с пониманием дела отдавал распоряжения по защите замка. Он не мог помешать шведам переправиться через реку, но каждый их шаг, ведущий к крепости, приближал их к пушкам Келлера, отчаянно косившим ряды храбрецов. За весь этот день шведы так больше ничего и не смогли предпринять.

Патер Иероним с монахами бродил по стенам, окроплял святой водой пушки и осеял запалы крестным знаменем. Старая Дорте шепнула ему что-то на ухо, и с этой минуты глаза иезуита уже не отрывались от того места, где недавно видели двух рыцарей в желтых колетах. Достопочтенный патер пожелал сам нацелить одну из самых больших пушек именно туда, но сначала упал на колени и прочитал кряду четыре раза молитву «Pater noster»* и четыре «Ave Maria»**. Затем грянул выстрел. Но тщетно пытался иезуит обнаружить хоть какие-нибудь результаты. Невредимые, недвижимые, как и раньше, в клубах рассеивающегося порохового

* «Отче наш». — Лат.

** «Богородице Дево, радуйся». — Лат.

дыма стояли оба рыцаря. Иероним считал тогда, что молитв мало, и потому прочитал каждую восемь раз, чтобы усилить их воздействие, и заставил пушку второй раз выстрелить туда, где стояли король и его спутник. Не может быть! Казалось, ядра пролетают мимо избранных иезуитом жертв! Провидение еще не отмерило им годы жизни, не предначертало смертный час Густаву Адольфу, а Пера Брахе хотело сберечь на благо Финляндии. Кто знает, чем обернулись бы победы Швеции и судьба образования в Финляндии, если бы смертоносные пушечные ядра попали в цель!

Патер Иероним пришел в бешенство. Однако ему хотелось еще раз попытаться счастья: он прочитал уже двенадцать раз «Pater noster» и столько же «Ave Maria», когда кто-то похлопал его по плечу. Он увидел за своей спиной старого солдата, вернувшегося вместе с графом фон Лихтенштейном из шведского плена.

— Оставьте эту затею, — сказал старик, как бы предостерегая патера, — вы только переводите запасы пороха. В этого человека попасть невозможно: он неуязвим!

Суеверие иезуита пересилило его коварство. Быстро обернувшись, он тихо пробормотал:

— Я и сам мог бы догадаться... А откуда тебе известно, что он неуязвим, сын мой? — продолжал он, повысив голос.

— Я слышал об этом в самом шведском лагере. Король носит на указательном пальце правой руки маленький медный перстень с колдовскими знаками. Он получил его в молодости от одной волшебницы из Финляндии; и пока он носит этот перстень, ему не страшны ни железо, ни свинец, ни огонь, ни вода.

— Ты говоришь, ему ничто не страшно? O maledicti Fennones, вы преследуете меня повсюду!

— Ни железо, ни свинец, — продолжал солдат шепотом, — но если б я посмел открыть тайну и предложить другое средство...

— Говори, сын мой! Заранее отпускаю тебе твои грехи.

— Но, ваше преподобие, средство это греховное.

— Святая цель оправдывает все средства. Говори, сын мой!

— Золото со святой иконы...

— Нет, сын мой, к такому средству прибегнуть мы не посмеем. Будь это кинжал из стекла, надежный смертоносный яд, об этом еще можно было бы потолковать, но золото с иконы... нет, сын мой, не будем даже думать об этом.

Стемнело, и со стрельбой на этот день было покончено. Усталые воины поели и попили, а Келлер приказал раздать им еще благородные старые вина, дабы подкрепить их мужество. Фрёкен

Регина снова перебралась в один из внутренних покоев замка; граф Фриц пошел отдохнуть. Вскоре в замке раздавались лишь возгласы часовых при смене караула, незамысловатые песни солдат да шум, доносившийся из большой оружейной палаты, где Келлер задал пир своим офицерам. Но в великолепной часовне замка еще виднелась у алтаря коленопреклоненная фигура, а неугасимая лампада отбрасывала свой тусклый свет на мертвенно-бледное лицо иезуита.

— Пресвятая Мария, — молился он, — прости своего недостойного служителя за то, что он дерзко простирает руку, дабы украсть клочок Твоей позолоченной мантии. Ты знаешь, о Sanctissima*, что это совершается ради прекрасной и священной цели, чтобы низвергнуть заклятого Твоего врага и врага Святой Церкви, князя еретиков, коего язычники финны своим безбожным колдовством сделали неуязвимым для меча, пуль и ядер правоверных католиков. Сделай милость, пусть это золото, которое я во славу Твою добуду из Твоей великолепной мантии, пронзит грешное сердце короля еретиков, и я обещаю Тебе, Святая Мария, возместить утрату и даровать драгоценный наряд из бархата и настоящего жемчуга, а также три неугасимые позолоченные восковые свечи, что денно и ночью будут гореть пред ликом Твоим! Аминь!

Окончив молитву, патер Иероним, трепеща, взглянул ввысь, и ему почудилось при свете неугасимой лампы, будто Дева Мария кивнула ему, как бы в знак одобрения его молитвы фанатика.

4. КЛЯТВА ФРЁКЕН РЕГИНЫ

Следующий день был жарким, и кровь лилась рекой. Шведы рьяно обстреливали замок и уже приблизились к его стенам по умело вырытым траншеям. Имперские войска храбро защищались. Для обеих сторон время было дорого; еще несколько дней, и Тилли может оказаться в тылу у Густава Адольфа, что сулило бы гибель шведам, а осажденным надежду на спасение.

Фрёкен Регина со своими девушками была теперь заперта в замке и лишена возможности любоваться прекрасным видом из окна башни. Однако дел у нее стало заметно больше. Раненые все прибывали, и юная девушка, словно нежный ангел, переходила от

* Пресвятая. — *Лат.*

одного ложа к другому; ее рука изливала бальзам на раны, ее кроткие слова вселяли утешение в сердца. Она говорила о святости дела, ради которого они пролили свою кровь; она сулила золото и почести тем, кто останется в живых, и вечное блаженство тем, кто пал в бою.

Грохот пушек был так силен, что старые стены дрожали. Фрёкен Регина вспомнила, что оставила в башне свои четки, которые нужны были теперь, чтобы читать молитвы раненым. Она уже стояла на пороге оружейной палаты, когда ужасный грохот заставил задрожать своды замка. Побледнев от неожиданности, она остановилась, и в тот же миг в оружейную ворвался граф фон Лихтенштейн.

— Благодарение всем святым, моя фрёкен, что вы вчера послушались дружеского совета. Башня рухнула.

— И мы пропали?

— Еще нет. Шведы рассчитывали, что заполнят ров развалинами башни. Но она обрушилась вовнутрь. Такое впечатление, что неприятель собирается штурмовать. Подойдите к окну, отсюда видны стены замка. Смотрите, патер Иероним стоит на коленях возле большой пушки. Держу пари, он увидел шведского короля.

Граф угадал. Орлиный взор иезуита был прикован к одной-единственной точке, а его тонкие губы неустанно бормотали одну молитву за другой. Его зоркие глаза уже обнаружили Густава Адольфа, который снова ехал верхом рядом с Пером Брахе. Оба всадника находились уже совсем близко от внешних укреплений; куча щебня защищала их от выстрелов из мушкетов, но она явно не могла служить надежной защитой от ядер тяжелой артиллерии. Патер Иероним надеялся лишь на тяжелое свинцовое ядро, куда он, постясь, бодрствуя и молясь, спрятал кусочек золота от плаща Девы Марии. Он нагнулся, зрачки его сузились, ноздри раздулись, душу жгла жажда мести, поток молитв на латинском языке извергался из его уст. Вот он сотворил горящим фитилем крестное знамение, и пушка выстрелила.

Огонь и дым вырвались из жерла. О проклятие, гром и молния! Когда дым рассеялся, все увидели, как оба рыцаря, целые и невредимые, отъехали чуть в сторону. Но на этот раз Густав Адольф был на волосок от смерти: ядро ударило совсем рядом с ним в кучу щебня, окутав его и Пера Брахе облаком пыли.

Измученный и обозленный иезуит поспешил уйти со стены замка.

— Ну погоди же ты, слуга Ваала, — пробормотал он себе под

нос. — Когда-нибудь мне удастся выкрасть перстень, что охраняет тебя, и тогда горе тебе!

И вот король отдал приказ штурмовать наружные укрепления замка. Аксель Лилье⁴⁸, Джеймс Рамси⁴⁹ и Гамильтон⁵⁰ бросились вперед со своими людьми. Трудности, которые им предстояло преодолеть, были просто невероятны. Под градом пушечных ядер и ударов шпаг они должны были влезть на отвесный склон, затем перепрыгнуть через ров и, цепляясь за выступы скалы, подняться на вал, окружающий ров. Впереди всех шли эстерботтенцы и шотландцы, шли бесстрашно, неудержимо. Видно было, как первые смельчаки уже падают на землю с разбитыми головами; но тут же на их место на гребень вала со шпагами в зубах влезали другие. Сам король подъезжал как можно ближе, чтобы подбодрить наступающие войска. Мушкетная пуля оторвала клочок кожи от его перчатки, не повредив короля. Вера в то, что Густав Адольф неуязвим, была всеобщей.

Наконец после двухчасовой кровавой битвы шотландцы и финны одержали решительную победу. Важное наружное укрепление было взято, и оборонявшиеся отступили под защиту стен замка.

Достигнув успеха, шведы несколько часов отдыхали. На военном совете было решено, что знаменитая желто-голубая бригада⁵¹ начнет штурм замка завтра на рассвете. Возглавить эту опасную наступательную операцию король приказал эстерботтенцам. Шотландцы же, потерявшие так много солдат, должны были на этот раз отдыхать.

Однако положение осажденных было пока далеко не отчаянным. У них было еще около тысячи готовых к битве мужчин, которые, потеряв внешнее укрепление, могли сосредоточиться в одном месте. Но они утратили веру в победу, напрасно Келлер пытался вдохнуть в них мужество; напрасно процессия монахов ходила вокруг стен, держа в руках позолоченное изображение Девы Марии. Когда наступила ночь, начался страшный хаос; солдаты не слушались приказов, а самые малодушные толковали меж собой, не стоит ли воспользоваться наступлением темноты, чтобы незаметно исчезнуть.

В полночь фрёнкен Регина стояла на коленях перед алтарем в часовне и с благоговением возносила горячие молитвы перед образом Божией Матери.

— Пресвятая Дева Мария, — говорила она, — защити замок, защити от еретиков Твою католическую веру! А если на то Твоя

воля, ну что ж, пусть крепость погребет под руинами своими наших врагов, кои суть и Твои враги. И прежде всего их безбожный король.

— Аминь! — произнес чей-то голос.

За ее спиной стоял патер Иероним. Он был угрюмо-торжествен, а на его бледных губах играла мрачная улыбка.

— Знаешь ли ты, чего требуешь, дочь моя? — спросил он.

— Победы католической веры! Смерти еретикам!

— Ты молода, а мысли человека с годами меняются. Достанет ли у тебя сил ненавидеть врагов твоей веры, даже если ты когда-нибудь, как женщина, впадешь в искушение полюбить одного из них?

— У меня хватит на это сил, отец мой; да, несомненно, хватит!

— Ты моя духовная дочь, и я не желаю, чтобы душа твоя навеки погибла. Хватит ли у тебя мужества пожертвовать собой ради спасения святого дела и стяжать себе непреходящую славу и венец мученицы?

— Да, отец мой!

— Ну хорошо, знай же, что замку не устоять против врагов; он вскоре попадет в руки шведов. Они возьмут тебя в плен; ты молода и прекрасна, ты завоеешь благосклонность короля еретиков. Ты должна воспользоваться этим, дабы приблизиться к его особе, он не заподозрит тебя и...

Иезуит достал распятие из серебра и нажал пружину на груди изображения Христа. Оттуда выскочил сверкающий кинжал.

— Нет, пощадите меня, отец мой!

— О какой пощаде ты говоришь! Святая церковь требует слепого повиновения. Смотри, этот кусочек золоченой мантии Божия Матерь утратила нынче ночью. Это знак, возвещающий Ее гнев! Любишь ли ты меня, дочь моя?

— Я почитаю вас выше кого-либо другого, отец мой!

— Тогда взгляни на эту обезображенную голову. — С этими словами иезуит приподнял свой кожаный капюшон и обнажил мерзкие останки отрубленных ушей. — Вот как воины богохульного короля, его финны, обошлись с твоим другом, с твоим духовным отцом. Ты все еще колеблешься и не хочешь отомстить за поправленную Матерь Божию, отомстить за меня?

— Чего вы требуете от меня, отец мой?

— Слушай! Король еретиков носит на указательном пальце правой руки небольшой медный перстень; он-то и делает Густава Адольфа неуязвимым; благодаря перстню смерть и опасность бес-

сильны перед ним. Этот перстень ты должна хитростью выманить у короля, а если почувствуешь, что рука твоя слаба, призови меня. Мы должны пронзить его сердце, пусть даже оно покрыто панцирем из кожи дракона!

— Если на то будет воля святых угодников... ну что ж!

— Положи два пальца на это распятие и повторяй за мной: «Клянусь на этом кресте всеми святыми исполнить то, что я обещала пред ликом Пресвятой Девы. И если когда-нибудь я изменю своей клятве, да падет проклятие на мою голову и на моих потомков до седьмого колена!»

Фрёкен Регина повторила клятву слово в слово.

— Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Аминь!

И ночное безмолвие скрепило своей печатью эту страшную клятву, которая сковала неразрывной цепью будущие поколения с сомнительным решением шестнадцатилетней девушки.

Этой же ночью в недавно завоеванном укреплении собрались солдаты из Эстерботтена вместе с прочими назначенными на штурм войсками. Кубок с вином, переходя из рук в руки, обошел круг, но на этот раз пили умеренно, ибо бдительность короля не допускала ни малейшей неосторожности. Множество добровольцев из различных полков требовали, чтобы им позволили участвовать в опасном деле, и получили на то разрешение. Все были в бодром расположении духа, так как ожидали победы и добычи.

Последним из добровольцев объявился высокий белокурый юноша с добродушным и веселым лицом.

— Гром и молния, неужто это ты, Бертель? — закричал маленький толстяк лейтенант Ларссон из Эстерботтена.

— Как видишь, — ответил юноша и дружески потряс его руку.

— Нет, ну слуханное ли дело, этот славный мальчик хочет отметить свое новое лейтенантское звание! Ну уж, братец, я не виноват, что в бутылке ни капли не осталось! Но скажи на милость, почему ты изменил свое имя? Бертель? Что за мешанина? Имя это не шведское, не финское!

— Это случилось при Брейтенфельде, — слегка покраснев, ответил Бертель. — Товарищи давно звали меня этим именем... да так и короче!

— Чепуха! Уж не считаешь ли ты, как сделался офицером, зазорным носить крестьянское имя?

— А жребий уже тянули? — не отвечая, спросил юноша.

— Ты пришел как раз вовремя, попробуй счастья!

Речь шла о жребии, который должны были тянуть младшие

офицеры, наперебой добивавшиеся чести предводительствовать первой опасной вылазкой; другого способа решить спор между ними не было. Билетики встряхнули в шапке, и четырнадцать рук потянулись за ними. Счастливым, которому все позавидовали, оказался Бертель.

— Будь поосмотрительней, мой мальчик! — воскликнул коротышка Ларссон. — Гром и молния, вспомни, что в замке полным-полно иезуитов. На каждом шагу — ловушка под ногами, в каждом распятии — кинжал, а в самый миг победы мина взорвется, и победитель взлетит на воздух.

До рассвета оставалось еще полчаса. Под началом у Бертеля было семь человек; ему был дан приказ как можно тщательнее произвести разведку в крепости. Меж тем войска стояли на валу, готовые по первому знаку выступить и броситься в бой.

Ночь была темная, хоть глаз выколи. Бертель со своими людьми приблизился к подъемному мосту; шли они осторожно, чтобы не привлечь внимания часовых. Как описать удивление Бертеля, когда он обнаружил, что мост опущен!* На мгновение он в растерянности остановился, вспомнив слова Ларссона. Неужели западня?

Все было тихо. Бертель со своими людьми храбро, но неспешно шагал по мосту.

— Werda?**— прогремел в темноте голос имперского часового.

— Швед! — воскликнул Бертель и одним ударом разможил ему череп. — Ребята, замок наш!

И семеро смельчаков решительно устремились за ним. Другую сторону подъемного моста охранял отряд из двухсот солдат. Встревоженные и растерянные, они подумали, что все силы шведской армии двинулись на штурм, и поспешили снова захватить ворота, но дерзкий шведский лейтенант с семью товарищами защищал уже завоеванный плацдарм. На счастье Бертеля под сводами ворот царил непроницаемый мрак; невозможно было различить, кто друг, а кто враг, и удары имперских солдат частенько доставались своим. Вскоре в воротах началась такая давка, что шпагу не поднять было для удара и нужна была самая малость, чтобы набежавшие имперские солдаты, закованные в броню, раздавили отважных нападающих.

* Некоторые историки утверждают, что мост нельзя было поднять из-за тяжести мертвых тел, оставшихся после сражения. — *Примеч. авт.*

** Кто идет? — Нем., уст. разг. форма от *Wer ist da?*

Однако на наружном укреплении вовремя услышали военный клич Бертеля и шум битвы. Теперь уже все шведское войско ринулось на штурм. Келлер со своими людьми также схватился за оружие и поспешил на защиту входа. Однако перевес был уже на стороне нападающих, и они яростно пробивались вперед; вскоре они оказались во внутреннем дворе. Келлер и его воины бились с мужеством отчаяния. Множество храбрых шведов и финнов полегло здесь в самый канун победы. Гибель этих солдат побудила их земляков к мести. Началось ожесточенное кровопролитие. Многие монахи в приступе фанатизма бросались в самую гущу битвы, одни с факелами, другие с распятиями, а некоторые и со шпагой в руке. Большая часть из них была зарублена; кое-кто бросался на землю, притворяясь мертвым. Над страшным побоищем начинал заниматься день.

И тогда Леннарт Турстенсон, ринувшись вперед, обхватил за пояс отчаянно дравшегося Келлера и взял его в плен, спасая от бешеной ярости солдат. Имперские воины, те, что еще оставались в живых, сложили оружие, и замок был взят.

5. ЮДИФЬ И ОЛОФЕРН

Когда первые лучи солнца заблестели в волнах Майна, замок Мариенбург был целиком во власти шведов. Король въехал верхом на усеянный трупами павших внутренний двор крепости; среди убитых было и более двадцати монахов. Однако королю показалось, что у некоторых из них слишком румяные щеки и что они вовсе не похожи на настоящих мертвецов.

— Вставайте! — обратился к ним король. — Вам не причинят никакого вреда!

И многие из мнимых мертвецов, целые и невредимые, вскочили на ноги и склонились, преисполненные радости, перед этим великодушным и благородным князем еретиков.

Замок был взят штурмом и отдан на разграбление солдатам. И уж те поживились на славу! Они награбили там тьму-тьмущую серебра и золота, оружия и всяких драгоценностей! За собой король оставил арсенал с полным вооружением для семи тысяч пехоты, для четырех тысяч всадников, да еще сорок восемь пушек, четыре мортиры, конюшню с великолепнейшими лошадьми и винный погреб с благороднейшими, изысканнейшими винами и придачу. Библиотеку увезли в подарок Упсальской академии;

изображения святых из золота и серебра перекочевали в королевскую сокровищницу. Хотя многим из горожан вернули привезенное в замок имущество, солдатские трофеи были так велики и богаты, что при дележе они шапками отмеряли звонкую монету. В конце концов Келлера принудили указать вырубленную в скале пещеру, под сводами которой в глубоком подземелье хранились в погребях и подвалах епископские сокровища. Фрюксель⁵² рассказывает, что, когда солдаты поднимали наверх тяжелые сундуки, дно одного из них вывалилось, и груда блестящих дукатов выкатилась со звоном на двор крепости. Солдаты бросились их собирать и, оставив несколько монет королю, засунули остальные в собственные карманы. Заметив это, Густав Адольф, смеясь, сказал:

— Оставьте, ребята, раз уж монеты попали к вам в руки, сохраните их для себя.

Трофеев было столько, что после того дня во всей шведской армии едва ли нашелся хоть один солдат, у которого не было бы нового платья. Корову в лагере продавали за один риксдалер⁵³, овцу за несколько стюверов⁵⁴. Ученый муж Сальвиус позднее напишет: «Наши ребята из Финляндии, которые теперь учатся жить там, на виноградниках на склонах гор, не скоро захотят вернуться назад в Саволакс. Во время лифляндских войн им часто приходилось довольствоваться водой и заплесневелым хлебом из грубой муки, чтобы сварить пивную похлебку; теперь финны пьют вино из каски и закусывает булочкой».

Среди пленников оказались и граф фон Лихтенштейн с фрёкен Региной. Король приказал, чтобы с обоими пленниками обращались с рыцарской учтивостью; он предоставил юной фрёкен свободу выезда к епископу, ее дяде. Однако фрёкен Регина отклонила это предложение, ссылаясь на смутное время, и попросила у короля как милости дозволения и далее пребывать под его покровительством. Густав Адольф согласился.

— Я делаю это неохотно, — улыбаясь, сказал он маркграфу Баден-Дурлахскому, ехавшему рядом с ним, — юные девицы — излишняя роскошь в походной жизни, они кружат головы моим фенрикам. Однако она может сопровождать меня во Франкфурт как заложница, дабы связать по рукам и ногам епископа.

— Ваше величество умеет пленять всех своим великодушием и благородством, — с учтивостью придворного ответил маркграф.

— Лейтенант Бертель, — продолжал король, повернувшись к офицеру, который, следуя по пятам за королем, вел отряд финских

всадников. – Советую вам принять фрёкен фон Эммериц под свою защиту. Ей разрешено взять с собой одну старую женщину, одну юную девицу и своего духовника. Смотрите, не влюбитесь без памяти, лейтенант, а прежде всего не спускайте глаз с монаха, на этот народ полагаться нельзя.

Бертель молча отдал честь.

-- И еще! -- продолжал король. -- Я не забыл, что вы первым проникли под арку ворот. После того как доставите фрёкен в безопасное место, будете нести службу в моей личной гвардии. Вы поняли меня?

-- Да, ваше величество!

-- Хорошо. -- И король, снова повернувшись к маркграфу, весело добавил: -- Поверьте мне, было бы нелегко препоручить эту прекрасную черноокую девушку кому-нибудь из моих пылких шведов. Этот же молодец -- финн, а финны -- самый флегматичный народ, какой я только знаю, они плохие куртизаны. Им нужно не меньше года, чтобы вспыхнула страсть.

Еще поздней осенью Густав Адольф как на крыльях летел от победы к победе. Тилли, опоздавший спасти Вюрцбург, не успел напасть на короля и, взбешенный неудачей и постоянными небольшими поражениями, повернул к баварской границе. Густав Адольф спустился вниз к Майну, ворвался в Ашаффенбург и вынул осматривательных франкфуртцев распахнуть перед ним ворота. 6 декабря король форсировал Рейн у Оппенгейма⁵⁵ и вступил 9 декабря в Майнц, хотя испанец де Сильва обещал защитить этот город от трех королей Швеции. Стяг со шведским гербом победоносно реял ныне над всей северной и западной Германией, а король-победитель избрал для своей зимней резиденции Франкфурт-на-Майне. Здесь вокруг героя собрался блистательный двор. Это здесь лживая молва заранее увенчала его голову германской императорской короной; это сюда на крыльях страстной любви поспешила Мария Элеонора⁵⁶, чтобы обнять супруга. В Ханау⁵⁷, куда король выехал верхом ей навстречу, она заключила его в объятия, воскликнув: «Наконец-то великий Густав Адольф пленен!»

В конце декабря 1631 года король давал во Франкфурте большой бал в честь прибытия королевы. Бесчисленные толпы народа собрались перед замком, его ярко освещенные высокие готические окна соперничали этой ночью со светом дня. Нескончаемым потоком лилось из огромных бочек пиво и вино; вокруг кранов теснились прислуга и солдаты, протягивая жестяные чашки и кубки,

которые осушались так же быстро, как и наполнялись. Добрые жители Франкфурта были вне себя от восхищения великим королем. Из уст в уста переходила молва о его справедливости, о его мягкосердечии и доброте. Многие любопытствовали, уж не сегодня ли вечером германская корона увенчает чело этого могущественного человека...

В залах замка царила необыкновенная роскошь. Густав Адольф знал слабость своей супруги к блеску и богатству, а кроме того, хотел, верно, произвести впечатление на собравшуюся здесь германскую знать. Полы были покрыты дорогими фламандскими коврами, окна занавешены шторами из пурпурного бархата с золотыми кистями, драгоценные серебряные люстры, отягощенные тысячами восковых свечей, свисали с украшенного арабесками потолка.

Только недавно закончился один из утомительных грациозных испанских танцев — увлечение того времени; в этих танцах неповоротливые северяне тщетно пытались состязаться с германской и французской знатью. Под руку с супругой король прогуливался по сверкающим залам. Его статная и дородная фигура, присущая ему простота и вместе с тем высокое чувство собственного достоинства внушали одновременно и уважение, и любовь. Он казался еще выше и мужественнее рядом с тонкой и хрупкой королевой. В то время Марии Элеоноре было тридцать два года, и она сохраняла еще свою красоту, которая в дни ранней молодости завоевывала ей столько поклонников. На ее приподнятых черных волосах, выходящих мелкими локонами, над белоснежным лбом сверкала только что преподнесенная ей королем бесценная диадема. Ее выразительные синие глаза были преданно устремлены на царственного спутника; казалось, она забыла о себе, чтобы наслаждаться восхищением, сопровождающим ее супруга. За королем и королевой следовала многочисленная свита, состоявшая из самых именитых и знатных особ, каких только можно было встретить в протестантской Германии того времени. Многие из шведских полководцев и почти все финские — Стольхандске, Форбус⁵⁴ и другие — верно, не очень уютно чувствовали себя в парадных королевских залах, среди высокомерной знати, чей придворный этикет казался этим суровым воинам невыносимо тяжким. И потому они заблаговременно перешли в одну из зал поменьше, где пажи в расшитых золотом бархатных одеждах щедро разливали благороднейшие рейнские вина в серебряные кубки.

В этом блестящем обществе мелькали и городские советники

из Франкфурта, и множество самых почтенных граждан с женами и дочерьми, а также великое множество дам. Здесь можно было увидеть даже нескольких католических прелатов с тонзурами, ибо король искренне желал на деле доказать свою веротерпимость. И прелаты, от всего сердца проклинавшие жалкую роль, которую они здесь играли, получив приглашение явиться в замок, не посмели отказаться.

Открывавшееся взору зрелище казалось особенно блестящим при виде великолепия и роскоши костюмов. Сам король был одет в простой облегающий камзол из черного бархата, расшитого серебром, в короткий испанский плащ из белого шелка, вышитый рукой самой королевы, и короткие сапоги желтой кожи с отворотами. На нем был отложной воротник из кружев, по которому Густава Адольфа можно узнать на всех его портретах, как и по коротко стриженным волосам и длинной остроконечной бороде. На королеве, обожавшей роскошь, было платье из серебряной парчи, богато украшенное драгоценностями, с коротким лифом и рукавами до локтя. Даже маленькие белые башмачки королевы сверкали бриллиантами. Дамы из высородной знати и жены богатых горожан соперничали друг с другом и с королевской роскошью платьев; все были разодеты в затканное золотом и серебром бархат, шелк, в драгоценные брабантские кружева. Бросалось в глаза пристрастие милых дам к пестрым шелковым лентам всевозможных цветов, а также к буклям, бантикам и развевающимся шарфам, трепетавшим при малейшем сквознячке. Князья и рыцари были облачены кто в просторные немецкие, кто в облегающие испанские одеяния; шляпы, которые они держали под мышкой, были украшены пышными плюмажами. А услужливые, предупреждающие каждое движение пажи, одетые в бархат, расшитый серебром, завершали эту потрясающую картину тех времен, когда мундиры еще не знали.

Куда бы ни ступал король, ему курили фимиам — фимиам лести и восхищения.

— Сир, — угодливо сказал король Богемии⁵⁹, — ваше величество может сравниться лишь с Александром Македонским...

— Кузен, — улыбаясь, ответил Густав Адольф, — вы ведь не хотите сравнить славный город Франкфурт с Вавилоном⁶⁰?..

— Нет, сир, — вмешался в разговор шедший рядом французский посланник Брезе, — его величество король Богемии желает лишь сравнить Рейн с Граником⁶¹ и надеется, что Гипас⁶² нового Александра будет расположен вне пределов Богемии.

— Признайтесь, граф Брезе, — сказал, переводя разговор на другую тему, король, — что немецкая красавица одержала ныне победу над нашими северными и вашими французскими...

— Сир, я разделяю вашу мысль о том, что ее величество королева могла бы и не занимать завидное место вашей супруги рядом с вами, дабы одержать победу, — произнес учтивый француз.

— Моя супруга благодарна вам за вашу учтивость, господин посланник, но фрёкен фон Эммериц обладает преимуществом юности.

— Ваше величество, наша немецкая национальная гордость чрезмерно польщена, — заметил, поклонившись, герцог Вюртембургский.

— Красота не знает границ, ваша милость, она принадлежит всем, — сказал король. — А фрёкен Эммериц и в самом деле драгоценный трофей, захваченный моими воинами в Вюрцбурге.

Затем король приблизился к фрёкен Регине, чью ослепительную красоту особенно оттеняло облегающее ее стан платье из черного бархата, усеянное серебряными звездами.

— Фрёкен, — любезно сказал он, — я почел бы себя счастливым, если бы под вашим траурным одеянием скрывалось сердце, умеющее предавать забвению горестные воспоминания и жить надеждой на более счастливое время, когда война, и распри, и страх перед ними исчезнут и не в силах будут больше стирать румянец с ваших прелестных ланит. Верьте мне, фрёкен, это время настанет, я жду его, как и вы, от всей души. И пусть надежда на это вызовет радостную улыбку на ваших устах и обретет там вечное свое пристанище.

— Рядом с вами, ваше величество, забываешь обо всем, — ответила фрёкен Регина, почтительно поднимаясь с обитого пурпурной тканью кресла с высокой спинкой.

Но, произнося эти слова, она побледнела еще сильнее, выдав тем самым нечто гораздо большее, нежели воспоминания о прошлом и свои мысли о настоящем, о том, что она — пленница.

— Вам нехорошо, фрёкен?

— Нет, ваше величество!

— Может быть, у вас есть какие-нибудь жалобы? Доверьтесь мне как другу!

— Ваше величество слишком добры... — Регина боролась сама с собой. Но в конце концов добавила, опустив глаза: — Доброта вашего величества не позволяет мне желать ничего иного.

— Мы еще увидимся.

И король продолжил свое триумфальное шествие по залу. А фрёкен Регина удалилась в соседний покой и, укрывшись в глубине оконной ниши, расплакалась.

— Пресвятая Дева, — молилась она, прости, мое сердце не принадлежит больше Тебе одной! Ты, что зришь мою душу, знаешь, что нет у меня сил ненавидеть короля еретиков, как Ты требуешь. Он так велик, так прекрасен! К моему горю, я дрожу при одной мысли о святой миссии, возложенной Тобой на меня!

— Мужайся, дочь моя! — прошептал совсем близко чей-то голос, и мрачный демон фрёкен Регины — бледный иезуит снова появился за ее спиной. — Час близится, — тихо продолжал он. — Безбожный князь пленен твоей красотой, радуйся, дитя мое, Пресвятая Дева обрекла его на гибель. Этой ночью он должен умереть.

— О отец мой, чего вы требуете от меня?!

— Слушай, дочь моя! Когда Олоферн, предводитель ассирийцев, осадил Ветилую⁶¹, там жила вдова по имени Юдифь, дочь Мерари, прекрасная, как ты, дитя мое, и столь же благочестивая. Она постилась три дня, затем, покинув дом свой, обрела спасение для своего народа. И святые угодники отдали жизнь врага ее народа и ее веры в руки Юдифи. Она вытащила меч из ножен Олоферна, отрубила ему голову и освободила свой народ.

— Поощрите, отец мой!

— Это ей зачлось и принесло великие почести и вечное блаженство, а имя ее называлось среди величайших имен в Израиле. Вот так в один прекрасный день и твое имя, дочь моя, назовут среди имен самых почитаемых святых католической церкви. Знай же, прошлой ночью к моему ложу явился святой Франциск и сказал: «Час настал, скажи Юдифи, что я отдаю голову Олоферна в ее руки».

— Что должна я сделать, отец мой?

— Запомни хорошенько, как тебе следует вести себя! Еще сегодня вечером тебе нужно добиться тайной встречи с королем.

— Это невозможно!

— Ты должна поведать ему, будто существует тайный заговор против него, что покушаются на его жизнь. На самом-то деле заговора нет. Однако он должен выслушать тебя. Тебе же надо хитростью выманить у него перстень. Если ты завладеешь перстнем, этого будет достаточно. Но если он откажет тебе и не отдаст перстень, то... возьми этот бумажный пакетик, в нем — смертель-

ный яд, сам святой Франциск дал мне его. Ты должна подмешать яд в питье, которое ставят королю на ночь.

Фрёкен Регина взяла смертоносный пакетик, прислонилась кудрявой головкой к окну; казалось, она не слушает зловещие речи иезуита. Совершенно новая мысль овладела этой пламенной душой. Иезуит не понял Регину; он счел ее молчание проявлением слепой преданности и свидетельством фанатического восторга.

— Ты поняла, дочь моя? — спросил он.

— Да, святой отец!

— *Benedicta, ter benedicta**, ты трижды благословенное избранное Богом орудие, царство небесное ждет тебя!

И иезуит исчез в толпе.

Стрелки больших стенных часов в тронном зале показывали полночь. Благодаря хитроумному механизму, изобретенному неким нюрнбергцем, на двенадцатом ударе из прилежавшей к залу комнаты выкатились два огромных накрытых стола с серебряными сервизами и одновременно остановились посреди зала. По знаку церемониймейстера король и королева встали перед двумя обитыми пурпурным бархатом креслами в самой середине главного стола, а все гости в зависимости от чинов и званий выстроились вокруг. Один из присутствовавших прелатов громким голосом прочитал застольную молитву, после чего сам король спел короткий псалом, а остальные подпевали. После этого все с шумом усадились за стол и вскоре так распоясались, что забыли о всяких церемониях. Стол ломился от яств, сытных и обильных. Украшением стола на этом пиру был зажаренный целиком вепрь, украшенный цветами и листьями лавра, а также произведение кондитерского искусства, преподнесенное франкфуртским пекарем и изображавшее триумфальное шествие римского императора. Каждому из гостей казалось, что в этом возвышающемся над тортом на целые четверть фута триумфаторе из теста он узнает черты лица Густава Адольфа. Королеве была предоставлена честь первой разрушить это высокое произведение кондитерского искусства. С легкой улыбкой положила она своей прелестной ручкой на серебряную тарелку кусочек торта, изображавшего одного из рабов, идущих в конце этого триумфального шествия. А Густав Адольф, лишенный всяких предрассудков и обладавший к тому же прекрасным аппетитом, без всяких церемоний схватил воинственной

* Благословенна, трижды благословенна. — *Лат.*

рукой римского триумфатора из теста и перенес значительную часть его особы на свою тарелку. Серебряные кубки наполнились благороднейшими рейнскими и испанскими винами; король произнес незатейливый тост за здоровье королевы и пригубил кубок. Все остальные последовали его примеру. Блестящие камер-юнкеры и пажы снова наполнили пустые кубки. Король поднял кубок и провозгласил тост за процветание города Франкфурта, после чего, быстро поднявшись, предложил руку королеве и удалился вместе с ней в свои покои. Густав Адольф вел размеренный образ жизни, как и подобает воину; трапезы короля надолго не затягивались. Однако король никогда не требовал, чтобы все следовало его привычкам, и, удаляясь от гостей, передоверял обязанности хозяина за столом одному из приближенных. На этот раз они были возложены на старого весельчака шотландца Патрика Рутвена⁶⁴, и он мастерски исполнил их. Уксеншерн⁶⁵ покинул залу вместе с королем. Дамы также встали и ушли, гости-мужчины остались сидеть, наслаждаясь вином и орешками, которыми на серебряных блюдах обносили гостей; было там и несколько каменных орешков, так искусно разрисованных, что их не сразу можно было отличить от настоящих. От этой шутки возникло выражение «твердый орешек». Вообще следует заметить, что герои Тридцатилетней войны отличались умением пить. Осушить, согласно рыцарскому обычаю, полную чашу рейнского вина было для них делом обычным. Однако же до дикости, сопровождавшей некоторые попойки, дело на этот раз не дошло. Строгие правила короля были хорошо известны, и поэтому воины не смели слишком часто осушать кубок до дна. Однако за столом засиделись до глубокой ночи, а некоторые из полковников угощали друг друга еще мало распространенным ввезенным из Голландии черным волокнистым лакомством, которое носили в корбочках. Его передавали друг другу, и каждый откусывал по кусочку; потом кое-кто, гримасничая, выплевывал его, а кое-кто с удовольствием жевал. Это, как ты, читатель, уже догадался, был жевательный табак.

Пока в коронационном зале продолжалось пиршество, королева, сопровождаемая своими камер-фрейлинами, удалилась на покой, король же целый час доверительно беседовал с Акселем Уксеншерной. О чем эти два гениальных мужа, полководец и государственный деятель, говорили между собой, неизвестно, об этом можно скорее догадываться. Быть может, речь шла о нищете в Швеции, о могуществе власти императора и еще большем могу-

шестве Бога, о победе света над тьмой, о том, кому достанется римская корона, и о создании будущей протестантской империи германских народов. Никто этого в точности не знает, потому что король унес с собой в могилу все доверительные беседы с Акселем Уксеншерной.

Была уже поздняя ночь, и Уксеншерн намеревался удалиться, когда дежурный офицер Бертель доложил, что некая дама под вуалью настоятельно требует аудиенции у короля. Необычность такой просьбы, да еще в столь поздний час, удивила и Густава Адольфа, и его наперсника. Но предчувствуя, что за столь таинственным визитом кроется нечто важное, король приказал Бертелю ввести даму под вуалью в его покой, а Уксеншерне — остаться.

Бертель удалился, а мгновение спустя вернулся с одетой в черное высокой и статной женщиной под вуалью. Казалось, она вся дрожит и удивлена, что король не один. Он не могла произнести ни слова.

— Милостивая фру*, — сухо обратился к ней король, не очень обрадованный поздним визитом; если бы о нем узнали, он мог бы вызвать сплетни придворных и, пожалуй, ревность своей легко впадающей в ярость супруги. — Милостивая госпожа, ваш визит в такой час должен иметь важные причины. И я желал бы поначалу узнать, кто вы.

Дама под вуалью молчала.

Королю показалось, что он разгадал причину ее молчания, и он продолжал, указывая на своего собеседника:

— Это риксканцлер Уксеншерн, мой друг, и от него у меня нет никаких тайн.

Женщина бросилась к ногам короля и откинула вуаль. Король узнал фрёкен Регину фон Эммериц, темные глаза которой восторженно сверкали, а тонкое нежное лицо покрывала мраморная бледность.

— Встаньте, любезная фрёкен, — мягко произнес Густав Адольф, протягивая руку коленопреклоненной девушке и поднимая ее. — Что привело вас ко мне в столь поздний час? Говорите, прошу вас, не бойтесь, откройте мне все, что тяготит вас, ведь я сам прошу об этом.

Фрёкен Регина глубоко вздохнула и начала говорить. Голос ее, вначале едва слышный, вскоре, словно подогретый пламенем ее души, окреп и зазвучал ясно и сильно:

* Госпожа. — *Шв.*

— Ваше величество, я пришла к вам, так как вы сами просили меня об этом. Я пришла к вам потому, что ненавидела вас, сир, и долгое время ежедневно молила Пресвятую Деву уничтожить вас и все ваше войско. Ваше величество, я слабая девушка, но я правоверная католичка: вы преследовали нашу церковь, вы позволяли грабить наши монастыри, изгонять наших святых отцов и расплавлять изображения святых; вы уничтожили наши войска и нанесли нашему делу непоправимый урон. Поэтому я страшной клятвой поклялась погубить вас. И, уповая на помощь Пресвятой Девы, последовала за вами из Вюрцбурга, намереваясь убить вас.

Король обменялся с Уксеншерной взглядом, выражавшим сомнение: в своем ли уме эта мечтательная, восторженная девушка? Заметив его взгляд, фрёкен Регина продолжала со все возрастающей убежденностью:

— Сир, вы полагаете меня безумной из-за того, что я говорю вам, победителю Германии. Но выслушайте меня до конца: когда я впервые увидела в Вюрцбургском замке, как вы по-человечески, с сердечной добротой защищали слабых и дарили жизнь побежденным, я сказала самой себе: «Это исчадие ада притворяется, выдавая себя за посланца небес, за воплощенное милосердие». Но когда я последовала сюда за вами, когда узрела вас, человека и героя, исполненного величия... сир, тогда я заколебалась, тогда ненависть стала мне тяжким бременем... Сир, ныне я люблю вас так, как прежде ненавидела... я восхищаюсь вами, почитаю вас...

И прекрасная девушка опустила взор.

— И что же? — спросил растроганный король.

— Ваше величество, я пришла сюда, чтобы спасти вас, сир...

— Объяснитесь!

— Выслушайте меня, ваше величество! В моей руке оружия нет, но оно есть в других, более опасных руках. Кое-кто из наших людей, которым не ведомы ни сострадание, ни милосердие, поклялись убить вас... Они тянули жребий, кому лишить вас жизни, а один из самых опасных заговорщиков постоянно тайком кружит вокруг вас! От этих людей вашему величеству не спастись! Сегодня, а может статься, завтра на вашем пути встанет кинжал или яд. Ваша смерть неизбежна!

— Моя жизнь в руке Божией, а не в руке презренного наемного убийцы, — спокойно ответил Густав Адольф. — Злодеям неподвластна моя жизнь. Не беспокойтесь, фрёкен фон Эммериц, я не боюсь их!

— Нет, сир, сами святые предопределили вашу смерть. Я знаю, вы уповаете на ваш перстень. — И Регина схватила руку короля. — Но он вам не поможет. Сир, я говорю вам, что ваша смерть неизбежна, и я пришла не для того, чтобы спасти вашу жизнь и тем самым предать дело нашей святой церкви.

— Но зачем же, фрёкен, вы тогда здесь?

Фрёкен Регина снова восторженно кинулась к ногам короля.

— Сир, я пришла сюда, чтобы спасти вашу душу. Мне невыносима мысль о том, что такой герой, как вы, такой благородный, такой великий, погибнет навсегда. Послушайте меня, я заклинаю ваше величество вечным блаженством, заклинаю перед лицом неизбежной вашей смерти не упорствовать в еретической вере, порождающей только проклятие. Откликнитесь на мои мольбы, обратитесь, пока еще не поздно, к католической церкви, единственной присноблаженной церкви, отрекитесь от ереси, поезжайте к святейшему папе римскому, покайтесь перед ним в грехах и обратите победоносное оружие в защиту церкви истинной, а не во имя уничтожения ее. Она примет вас с распростертыми объятиями, и останетесь ли вы, ваше величество, в живых или умрете, вам все равно навеки будет уготовано на небесах место среди избраннейших праведников.

Король снова поднял возбужденную девушку, твердо и спокойно посмотрел в ее сверкающие глаза и величественно произнес:

— Когда я был так же молод, как вы, фрёкен фон Эммериц, мой наставник, старый Шютте, воспитывал меня в такой же пламенной приверженности евангелическому учению, каковую вы ныне питаете к католическому. Я от всей души ненавидел в то время папу, так же, как вы ненавидите ныне Лютера⁶⁶, и молил Бога, чтобы настал день, когда я низвергну антихриста и обращу всех католиков к свету истинной веры. С тех пор я не переменял своих убеждений, но понял: стези человеческие многообразны, а дух един. Я твердо придерживаюсь евангелического учения, которое исповедую и ради которого готов, если то угодно Богу, умереть на поле брани. Но я уважаю веру каждого христианина, даже если она хоть в чем-то отличается от моей. И я знаю, что душа человеческая может обрести блаженство благодаря милосердию Божию, даже если путь этой души — путь заблуждений и пороков. Идите, фрёкен фон Эммериц, я прощаю вам то, что вы, наслушавшись монахов-фанатиков, впали в заблуждение и возжелали отвратить воителя Бога от его борьбы за свет истинной веры. Идите, бедное дитя, и пусть слово Божие и сама жизнь научат вас не

уповать ни на святых, которые, в сущности, те же грешники, что и мы, ни на идолов, ни на перстни, которые не в силах изменить волю Всевышнего. Моя жизнь в руках Того, Кому ведомо мое предназначение.

Фрёкен Регина стояла подавленная и вместе с тем вознесенная до небес необыкновенной веротерпимостью короля. Воспитанная в ненависти ко всякой иной вере, она не могла понять, как это может быть, чтобы один и тот же человек, сокрушивший превосходство церкви над юдолью земной, так смиренно опускал свое оружие пред ее духовной силой и властью над сердцем и совестью. Склонная к мечтам девушка подняла затуманенные слезами глаза на короля... и вдруг ее щеки, на которых только что горел румянец восторга, побледнели, а глаза с ужасом уставились на ярко-красный полог королевского ложа.

Уксеншерна, более подозрительный, чем Густав Адольф, все время бдительно следивший за каждым движением странной девушки, тотчас это заметил.

— Ваше величество, — сказал он по-шведски королю, — берегитесь, тут что-то неладно, вам грозит опасность.

И, не ожидая ответа, обнажил шпагу и решительно подступил к великолепной кровати — подарку жителей Франкфурта, чьи пышные перины из гагачьего пуха король-герой велел заменить простым матрацем из конского волоса и грубым одеялом из саксонской шерсти, какими пользовались и его солдаты на зимних квартирах.

— Берегитесь! — невольно воскликнула Регина.

Но было уже слишком поздно. Уксеншерна быстрым движением отдернул тяжелый полог, и из-за него показалось бледное, как смерть, лицо с горящими глазами, обрамленное черным кожаным капюшоном. В крепких руках монах держал серебряное распятие.

— Выходите, высокочтимый паптер! — насмешливо приказал Уксеншерна. — Вы, ваше преподобие, избрали необычное место для вечерней молитвы. Если его величество дозволит, я приглашу сюда других прихожан.

Он позвонил, и в опочивальню вошел лейтенант Бертель с двумя людьми из лейб-гвардии короля; вооруженные длинными алебардами, они встали по обе стороны двери.

Король устремил на фрёкен Регину взор более скорбный, нежели гневный. Густаву Адольфу было необычайно горько от того, что юная и прекрасная девушка могла быть соучастницей черного предательства.

— Пощадите, ваше величество! Пощадите моего духовного отца! Он невиновен! — умоляюще воскликнула несчастная.

— Что вы делаете здесь, ваше святейшество? — спросил Уксеншерна.

— Пытаюсь привести грешника в лоно единственной присноблаженной церкви! — ответил монах, благоговейно подняв глаза к небу.

— В самом деле? Надобно признать, что рвению вашему нет равных. И для столь высокой цели вы носите с собой образ распятого Спасителя?!

Монах склонил голову, благоговейно осенив себя крестным знамением.

— Вы, ваше святейшество, весьма благочестивы. Дайте мне распятие, хочу полюбоваться столь драгоценным сокровищем.

Монах неохотно протянул распятие.

— Прекрасная работа! Должно быть, искусный художник сотворил это изображение.

С этими словами риксканцлер внимательно ощупал сокровище. Наконец, когда он нажал пальцем на грудь Спасителя, оттуда выскочил остро отточенный кинжал.

— Смотрите-ка, а ваше преподобие, оказывается, играет такими невинными игрушками. Такой великолепный, остро отточенный кинжал прямо создан для того, чтобы пронзить сердце благородного короля!.. Презренный монах! — громовым голосом произнес Уксеншерна. — Понимаешь ли ты, что самое отвратительное в твоём преступлении то, что ты намеревался использовать при этом богомерзкое, кощунственное оружие!

Как и все короли из рода Васы⁶⁷, Густав Адольф был в молодости горячего нрава, что не раз вынуждало его совершать безрассудные поступки. Зрелость лет и богатый опыт прожитой жизни несколько охладили пыл его души, но порой еще бывало, что в его жилах закипала кровь его рода. Так случилось и сейчас. У него хватило величия с королевским хладнокровием принять посягательство на его жизнь. И он со спокойным презрением смотрел сверху вниз на предателя. Прелат кощунственно злоупотребил священным образом Спасителя как смертельным оружием против самого короля, того, кто готов был пожертвовать собственной жизнью ради истинного евангелического учения! И это показалося королю ужасным святотатством, страшным глумлением над всем тем, что он почитал самым драгоценным и святым... Его холодный взор загорелся гневом.

— На колени! — громовым голосом воскликнул король, топнув ногой с такой силой, что стены замка отозвались эхом.

Высокий и могучий, словно разъяренный лев, стоял он пред мертвенно-бледным иезуитом. Тот рухнул на колени, словно сраженный молнией, и в смертельном страхе подполз к ногам короля.

— Отродье ехидны! — вне себя от ярости продолжал король. — Клянусь Богом, я видывал немало! Видел я и вашего антихриста, и Рим, видел и вавилонскую блудницу, правившую миром с помощью темных сил. Я видел вас — слугителей Бога и иезуитов. Это вы отравляете и без того запутанную совесть людей вашими дьявольскими рассказами об убийствах и подлых кознях, свершавшихся во имя неба! Но дела столь черного, как это, столь вопиющего поругания всего самого святого на земле и на небе, я до самого нынешнего дня и представить себе не мог. Я прощал вам все; вы покушались на мою жизнь при Деммине и в других сражениях, я не стал мстить; вы обращались хуже турок и язычников с невинными лютеранами; повсюду, где вы только были в силе, вы бесчинствовали и оскверняли их церкви, жгли лютеран живыми на ваших еретических кострах, изгоняли их из родных домов... Вы всеми правдами и неправдами пытались отлучить их от веры истинной, дабы они перешли в вашу безбожную веру, которая учит поклонению идолам вместо вечно живого Бога и его Единородного Сына. За все это я не мстил ни монастырям вашим, ни церквам, ни вашей религии; вы были вольны в своей вере, и потому никто волоска на ваших головах не тронул. Но только теперь наконец-то я воистину узнал вас; вы — слуги дьявола. Господь отдал вас в мои руки, и я рассею вас, как плевелы по ветру, я покараю вас; вы святотатцы, и я стану преследовать вас до тех пор, пока рука эта еще в силах поднять карающий меч Господа Бога.

Разгоряченный король ходил взад-вперед по опочивальне, не устаивая даже взглядом ни иезуита, ни трепещущую всем телом Регину, закрывшую лицо руками. Уксеншерна, всегда спокойный и благоразумный, испугался, что пылкость и горячность короля приведут к каким-либо поспешным, опрометчивым шагам с его стороны, и попытался отвести грозу.

— Не соблаговолите ли вы, ваше величество, — сказал он, — приказать лейтенанту Бертелю взять этого монаха под стражу, дабы военный суд вынес приговор, который послужил бы для всех устрашающим примером?

— Пощадите, ваше величество! — воскликнула Регина, слепо любившая своего духовника. — Пощадите! Единственная преступница — я! Я подвигла его на этот злосчастный шаг, я одна заслуживаю кары!

При этом благородном самооговоре на бледном лице иезуита мелькнула тень надежды, но он все еще не смел подняться. Однако король не слушал мольбы Регины. Вместо нее гнев его обратился на дежурного офицера.

— Лейтенант Бертель, — яростно произнес он, — вам было приказано охранять сегодня ночью мою жизнь. Благодаря вашему упущению этот негодяй тайком проник сюда. Вы сейчас же отведите его под стражу и головой отвечаете за то, чтобы он не сбежал. Затем вы займете свое место в строю. С этой минуты вы разжалованы в солдаты!

Бертель отдал честь и не ответил ни слова. Куда больше утраты офицерского чина удручала его утрата благосклонности короля, тем более что он охранял его тщательнейшим образом. Как иезуит мог пробраться в опочивальню, было для него неразрешимой загадкой. Между тем иезуит, обняв колени короля, молил о пощаде. Но тщетно: Густав Адольф оттолкнул монаха, и его увели.

Затем король обернулся к трепещущей девушке; взяв ее за руку, он проникательно посмотрел ей в глаза.

— Фрёкен, — резко сказал он, — говорят, что когда князь тьмы желает сотворить на земле какое-нибудь черное злодеяние, он посылает для этого своих слуг в обличье светлых ангелов. Что мне думать о вас? Скажите!

У Регины хватило мужества еще раз поднять глаза на внушающего ужас властелина.

— Мне больше нечего сказать. Убейте меня, сир, но пощадите моего духовного отца! — воскликнула она с непоколебимой решимостью фанатички.

Едва укрощенный гнев вновь вспыхнул в груди короля.

— Если бы ваш духовный отец, фрёкен, был человеком праведным, он научил бы свою духовную дочь бояться Бога, почитать короля и всем и всегда говорить правду. И вы хотели обратить меня в иную веру! Теперь будет наоборот. Я буду воспитывать вас, ибо, мне кажется, вам это необходимо. Идите, вы будете моей пленницей, пока не научитесь правдивости. Уксеншерна, жива ли еще эта суровая фру Мэрта из Корсхольма?

— Да, ваше величество!

— Мы отправим эту девушку к ней на воспитание. С первой же оказией отослать ее в Финляндию!

Регина гордо молча удалилась.

— Ваше величество! — с мягким укором сказал Уксеншерна.

6. ФИННЫ НА РЕКЕ ЛЕХ

После злосчастной попытки обращения короля в иную веру фрёкен Регину строго охраняли, а по весне, как только воды вскрылись ото льда, перевезли в Финляндию. Не религиозная вражда, а еще менее того чувство мести вызвали гнев обычно столь великодушного Густава Адольфа. Доверие, которым злоупотребляют, глубоко ранит благородное сердце. А фанатизм Регины еще усугубил его убежденность в ее виновности. Что до нее, то ненависть еще боролась в ее юном сердце с любовью, пытаясь победить ее и захватить место, которое по праву должна была занимать любовь.

Одно необъяснимое происшествие еще усилило гнев короля. В ту же ночь, когда Бертель препроводил иезуита патера Иеронима в городскую тюрьму, чтобы его назавтра повесили, этот коварный монах таинственным образом исчез. У служителей тьмы повсюду были помощники и свои тайные ходы; в ту же самую ночь обнаружили в королевской опочивальне не известную ранее дверцу. Невинность Бертеля тут бы и раскрылась, но его новая провинность — то, что он упустил своего пленника — снова вызвала у короля приступ ярости, и молодой лейтенант занял свое место в строю как простой солдат.

Уже в середине февраля 1632 года король начал снаряжаться, готовясь к новому походу; в марте после двухнедельной осады он занял хорошо укрепленный Крейцнах⁶⁸, после чего оставил королеву вместе с Акселем Уксеншерной в Майнце. Тем временем Тилли врасплох напал на Густава Хурна в Бамберге⁶⁹ и нанес ему сильный удар. Король кинулся по следам Тилли к низовьям Дуная, где через Лех вторгся в Баварию. Тщетно доказывали ему полководцы, что река там глубокая, течение стремительное, что курфюрст вместе с Тилли, Альтрингером⁷⁰ и двадцатью двумя тысячами воинов ждет его на противоположном берегу. Король в ответ повторил слова Александра Македонского, произнесенные при Гранике: «Неужели же мы, переправившись через Эльбу, Одер и Рейн и даже само Балтийское море, остановимся перед рекой Лех?» И решено было начинать переправу. Долго ехал ко-

роль верхом вдоль берега в поисках подходящего места для переправы. Наконец он нашел его у излучины реки. Один из его воинов переоделся крестьянином и, сделав вид, будто хочет переправиться через реку, выведал у легковерных баварцев, что глубина Леха — двадцать два фута. Несколько крестьянских лачуг были снесены, а из дерева построили довольно высокие быки для будущего моста. На берегу были возведены укрепления с пушками, а для метко стрелявших солдат вырыты укрытия.

Однако Тилли был стар и мудр; вскоре он уже стоял со своим войском в лесу на другой стороне и возводил надежные укрепления. Из вырытых глубоких рвов мушкетеры открыли убийственный огонь. Третьего апреля начали греметь шведские пушки, и ядра их очистили песчаную косу на другом берегу. Пятого апреля шведы под огнем врага установили в реке быки, перебросили доски, и, как обычно, прежде всех в бой пошли финны. Триста кнехтов* из пехоты, все добровольцы, во главе с маленьким толстяком Ларссоном и храбрым Паво Люудикейном из Саволакса¹ получили приказ перейти этот самодельный мост, чтобы на противоположном берегу возвести защитное укрепление; каждому солдату была обещана награда в десять риксдалеров. То был решающий и торжественный миг, от которого зависела и судьба Баварии, так как каждую минуту какое-нибудь ядро, угодившее прямо в мост, могло помешать финнам перейти на другую сторону. Они отложили ружья, взяли ломы и лопаты и бросились вперед с криками «ура!» по только что брошенным на быки доскам. Ужасный перекрестный огонь со всех укреплений Тилли был тотчас же направлен в эту сторону. В воду то и дело шлепалось ядро, высоко поднимая брызги, а затем, оттолкнувшись от поверхности воды, ударялось, шипя, о шаткий мост, то прибавалось к берегу, то прыгало, описывая высокую кривую над рвущимися вперед финнами, то падало среди них, раскидывая в волнах их оторванные руки и ноги.

Тилли слишком хорошо понимал значение моста и удвоил силу огня. Но и шведы не уступали противнику и осыпали лес на противоположном берегу градом ядер. Сам король, желая воодушевить солдат, поспешил к батареям и собственноручно произвел не менее шестидесяти выстрелов. Грохот канонады был так силен, что жители насмерть перепуганной Баварии слышали его на много миль окрест. Кучка первых перебравшихся на другой

* Солдат. — Нем.

берег финнов редела с ужасающей быстротой; но только когда укрепление было готово, оставшиеся оглянулись и увидели, что их было уже чуть больше половины и что добрая сотня воинов, истекая кровью, лежит на земле. Многих поглотила река. Король приказал молодому, впоследствии прославленному Карлу Густаву Врангелю⁷² поспешить на помощь. Финны, беспокоясь за судьбу товарищей и в то же время гордясь их мужеством, настойчиво требовали, чтобы им разрешили сразаться. И Врангель неожиданно увидел, что окружен тремястами уже других финских добровольцев. Вместе с ними он отважно бросился на шаткие доски моста. Громким криком «ура!» земляков приветствовали первые переправившиеся на другой берег воины. Храбрый герцог Бернхард⁷³, который, подобно королю, питал особое пристрастие к храбрым финнам, получил разрешение пройти стороной, чтобы им помочь. В сопровождении толпы финских всадников он нашел неподалеку брод, удачно переправился на другую сторону и дерзко напал на правый фланг врага. Баварцы, не спускавшие глаз с моста, были застигнуты врасплох и, несмотря на свое численное превосходство, впали в замешательство и защищались не в полную силу. Ужас охватил ряды растерявшихся баварцев, маленький отряд герцога Бернхарда опрокинул врагов и, прежде чем те успели опомниться, побился к остальным финнам.

Благодаря этой дерзкой, все сокрушающей кавалерийской атаке финны именно тогда получили внушающее страх прозвище хаккапелиты* — «рубачи». Этим словом они обычно воодушевляли товарищей, когда совершали набеги на врага.

Опьяненные успехом, отряды шведской пехоты один за другим начали перебегать мост. Тилли, который вообще-то остерегался подставлять своих людей под убийственный огонь шведов, послал наконец Альтрингера со значительными силами пехоты захватить укрепления в конце моста и помешать переправе на другой берег. Баварцы бросились вперед во весь опор, но не успели они пробежать и полдороги, как целые роты попадали на землю под градом ядер и пуль. Но ведь надо было защищать их родную страну, и все, кто был в силах, яростно кинулись на укрепление финнов. И вот началось. Подобно черной туче, кинулись на штурм укрепления полчища врагов, уже поредевшие, но все же немалые — четыре или пять тысяч. Финны оказали им «теплый» прием; каждый выстрел непременно сражал кого-нибудь из вра-

* От слов *hakka pällle!* — «Рубите!» — Фин.

гов. Трижды имперские войска атаковали финнов, но безуспешно. Тогда Тилли схватил знамя и сам во главе своих храбрецов поспешил к укреплению. Но едва он сделал несколько шагов, как упал: пуля фальконета раздробила ему ногу. Обессиленного старого полководца унесли с поля битвы. Спустя две недели, двадцатого апреля, он умер в Ингольштадте.

Баварское войско, потеряв своих лучших полководцев, растерялось. Сам курфюрст, наблюдавший за битвой, отправился обратно под покровом ночной тьмы. А на поле битвы осталось две тысячи трупов. Путь к сердцу Баварии был открыт.

На другой день все шведское войско переправилось через реку Лех. Король щедрой рукой раздавал награды своим храбрецам. Среди них был и всадник, сопровождавший герцога Бернхарда и горячо им рекомендованный. Всадник этот был Бертель; три раны, правда, легкие, подтвердили лестные слова герцога. Бертелю вернули его чин, но то, чем он дорожил более всего, — милость и доверие короля, — ему не досталось. И он решил снова завоевать их, пусть это даже будет стоить ему жизни.

После этих событий кортеж Густава Адольфа двинулся в Аугсбург, жители которого поклялись ему в верности и устроили в его честь множество блистательных празднеств. Молва, сравнивавшая имя Густава Адольфа с именем Ганнибала⁷⁴, трезвонила повсюду, будто здесь, в столице своего будущего германского государства, король, словно новый Ганнибал в Капуде⁷⁵, предается неге и развлечениям. Молва ошиблась: Густав Адольф лишь дал себе передышку; за его высоким лбом таились еще более дерзкие замыслы. Но с этой минуты королю начали являться призраки. Ангел смерти шел перед ним с обнаженным мечом, размахивал им во все стороны и рубил направо и налево совсем рядом с королем, постоянно крича ему в самое ухо: «Смертный, помни, что ты не Бог!»

Казалось, стоило честолюбию обрести власть над душой короля, как он начал помышлять не только о священной борьбе за веру. Козни темных сил, жаждущих его гибели, продолжались. Скрытый, но внушающий ужас враг повсюду вставал на его пути, отсчитывая дни его жизни, но пока тщетно. Во время дерзкой и не удавшейся атаки на Ингольштадт⁷⁶ на валу стояла пушка, прозванная «Фальконет» и знаменитая тем, что била и далеко, и без промаха. Наводчик при этой пушке увидел вдруг в поле человека в шляпе с развевающимся плюмажем; он ехал верхом на горделивом коне в окружении пышной свиты. И наводчик сказал: «Гляньте-

ка, там едет какой-то знатный господин, но скоро его прогулке придет конец». С этими словами он направил дуло пушки в сторону всадника и выстрелил. Ядро опрокинуло и лошадь и всадника; свита в ужасе бросилась к ним. Но король — ибо это был он, — весь покрытый кровью и пылью, однако целый и невредимый, сам вылез из-под лошади, разорванной на куски, и воскликнул: «Яблоко еще не созрело!»

7. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Из Ингольштадта король вернулся в Ландсгут⁷⁷ в центре Баварии. Чем дальше проникал он в глубь этой страны, в пределы которой никогда прежде не вступали войска еретиков, тем сильнее становился фанатизм ее жителей, тем безумнее и отчаяннее сопротивление. Под предводительством монахов повсюду собирались сельские жители; они уничтожали все что могли и мучили пленных, подвергая их самым изощренным пыткам. Люди же короля, упоенные победами и разъяренные жестокостью окрестных жителей, начали изменять доблестной славе и воинской чести, которые приписывала им молва. Мстили они жестоко. Там, где проходила шведская армия, свирепствовали предательство и убийства. И горе любому немногочисленному отряду, который хотя бы на расстояние нескольких ружейных выстрелов отставал от главных сил армии.

Однажды королю, оказавшемуся далеко от границ Баварии, понадобилось послать новые важные приказания Банеру, который медленно следовал за ним из Ингольштадта.

Положение в стране было ненадежным, и передача такого рода приказов была чревата опасностью; поэтому король не хотел посылать к Банеру большой отряд. Один молодой офицер из финнов вызвался отвезти приказ. Король согласился, и офицер в сопровождении всего лишь двух отважных всадников отправился поздним майским вечером в опасный путь.

Молодой офицер был хорошо знакомый нам Бертель, а сопровождали его Пекка из Эстерботтена и Витикка из Тавасты. Ночь была темная и облачная; трое всадников осторожно ехали по дороге. Они боялись заблудиться, так как местность была им незнакома. Но ничуть не меньше, пожалуй, страшились они баварских пуль, которые могли поджидать их на опушке леса. Мелкий дождик еще больше размыл дорогу, и без того изрытую обозами.

На каждом шагу приходилось опасаться, как бы не споткнуться о камень или не упасть в яму, полную до краев дождевой водой.

— Послушай-ка, — сказал Витikka, стараясь раздражить товарища, ехавшего рядом с ним, — ты ведь из Похьялы⁷⁸ и, стало быть, умеешь колдовать?

— Грош мне цена, если я не умею колдовать, — ответил в том же тоне Пекка.

— Тогда поколдуй нам хорошенько, чтобы мы разом перенеслись на вершину горы Хаттельмах; да сделай так, чтобы мы у ее подножья увидели огонек, мерцающий в замке Хяменлинна⁷⁹.

— Для меня поколдовать — пара пустяков, — похвастался Пекка. — Глянь-ка, вон и огонек в замке Хяменлинна.

Витikka напряг зрение, не зная, шутит ли эстерботтенец или говорит правду. И в самом деле, внизу в ложбине мелькнул огонек. Лошади внезапно остановились, и невозможно было заставить их идти дальше. Поперек дороги были навалены деревья, и густое сплетение ветвей оказалось непреодолимым препятствием на пути всадников.

— Тише! — прошептал Бертель. — Я слышу шорох в кустарнике.

Всадники чуть отъехали в сторону и пригнулись на спинах коней, застыв в мертвой лесной тишине. На той стороне дороги слышались шаги и хруст ломающихся ветвей.

— Они должны быть здесь через четверть часа, — сказал голос с баварским акцентом.

— Сколько их?

— Тридцать всадников, а с ними десять или двенадцать вьючных лошадей да еще пленная девушка. Они выехали, когда уже смеркалось.

— А сколько нас всего?

— Примерно пятьдесят стрелков да еще семьдесят или восемьдесят крестьян с вилами и топорами.

— Хорошо. Не стрелять, пока они не приблизятся на расстояние трех шагов!

В этот миг заржал конь Бертеля Лаппен*, низкорослый, но живой и ретивый.

— Werda? — спросил кто-то с проселочной дороги.

— Швед! — дерзко воскликнул Бертель, точь-в-точь как в воротах Бюрцбургского замка, и направил заряженный пистолет в

* Лопарь, лапландец, саам. — Шв.

** Кто там? — Нем.

ту сторону, откуда слышался голос. Вспыхнул порох, и юноша заметил целую толпу крестьян, расположившихся рядом с наваленными деревьями. Бертель вскочил на коня, махнул рукой своим храбрым молодцам, чтобы они следовали за ним, и бешеным галопом помчался обратно.

Но вспышка позволила и крестьянам увидеть трех всадников, и они поспешили преградить им путь. Бертелю на Лаппене удалось ускользнуть, однако конь Витикки споткнулся о пень, а неповоротливая рабочая лошадь Пекки, с огромным трудом выбираясь из грязи, напоролась грудью на немецкую пику. Заметив, что Витикка и Пекка в опасности, Бертель не смог бросить их на произвол судьбы. Повернув обратно, он сразил ближайших к нему крестьян, схватил под уздцы лошадь Пекки, пытаясь поднять ее и крича тут же Витикке, чтобы тот бросил свою лошадь и сел на Лаппена. Эта дерзкая затея удалась, и они уже снова оказались на дороге, но внезапно раздался свист, и аркан, захлестнув плечи Бертеля, стащил его с коня. В ту же минуту упал и Витикка, а Лаппен, лишившись всадников, помчался, закусив удила, во весь опор по дороге, а за ним по своей или против своей воли поскакал и Пекка. Бертель и Витикка были обезоружены и связаны.

— Повесить этих собак, пока не явились их защитники! — кричал один из крестьян.

— Головой вниз! — предложил второй.

— И развести под ними огонек! — вмешался третий.

— Никакого огонька! Никакого шума! — приказал четвертый.

— Скачут! — воскликнул кто-то из толпы.

И в самом деле, с дороги, ведущей в Ингольштадт, донесся конский топот. Крестьяне не произносили ни слова, а ради большей безопасности заткнули пленникам рты. Новый отряд мчался при свете факелов; по-видимому, это были немецкие мародеры, возвращавшиеся с набега. Они скакали так быстро, что не заметили наваленные деревья, пока не очутились совсем близко. И в тот же миг над заграждением раздался громовой залп. Видно было, как несколько ехавших впереди всадников упали. Лошади встали на дыбы и потащили за собой убитых, ноги которых еще оставались в стремях. Среди мародеров началась суматоха. Часть из них повернула назад, опрокидывая на всем скаку друг друга и выюченных лошадей. Другие разряжали свои револьверы наугад в притаившихся врагов. Крестьяне выбегали из укрытий, набрасываясь в бешенстве на оставшихся и стаскивали их с седел ловко накинутыми арканами. Менее чем за десять минут весь отряд был

рассеян, несколько человек ускакали, чуть больше лежало на дороге, истекая кровью, нескольких захватили в плен вместе с награбленными мародерами трофеями. Из крестьян погибло только четверо. Месть баварцев была ужасна. Они стреляли пленникам прямо в лица, закапывали их наполовину в сырую землю, а потом медленно забивали камнями.

Когда эта жестокая пытка была окончена, крестьяне решили перевезти и пленников, и добычу в безопасное место. Связав руки Бертелю и его спутнику, они посадили их на одну из захваченных лошадей, и процессия двинулась в лесную чащу. Через час они остановились у какой-то усадьбы. Пленников втащили туда и бросили на пол в каморке, меж тем как крестьяне в соседней горнице, шальные от радости, подкреплялись винами, которые везли с собой запасливые мародеры. Внезапно в каморку к пленникам вошел бледный монах в черном одеянии, опоясанный шпагой, висевшей на конопляной веревке. С явным удовольствием поднес он факел к лицам пленников, вытащил кляпы у них из ртов и стал молча разглядывать Бертеля и Витикку.

— Если не ошибаюсь, — сказал он в конце концов, презрительно улыбаясь, — лейтенант Бертель из лейб-гвардии короля?

Бертель поднял глаза и узнал иезуита Иеронима.

— Добро пожаловать, господин лейтенант, и спасибо за услугу, которую вы мне оказали в последний раз. В Вюрцбурге такого редкого гостя надо встретить как следует. Кажется, этого молодчика я тоже видел раньше, — продолжал он, указывая на Витикку.

Неукротимый тавастландец злобно посмотрел ему прямо в глаза, и рот его исказила усмешка.

— Где твои уши, монах?! — насмешливо крикнул он. — Долой капюшон и позволь взглянуть, не выросли ли у тебя ослиные?!

При этом более чем дерзком нападении о битве при Брейтенфельде брови иезуита грозно нахмурились, на его бледном лице проступил румянец; патер яростно прикусил губу.

— Думай лучше о собственных ушах, парень! — сказал он. — Скоро они уже ничего больше не услышат!

С этими словами иезуит дважды хлопнул в ладони, и тут же явился кузнец в кожаном фартуке с раскаленными докрасна клещами.

— Правое ухо! — коротко приказал иезуит.

Кузнец щелкнул клещами. Витикка лишь презрительно усмехнулся. На его смуглой щеке на миг вспыхнул румянец. Теперь он остался с одним ухом.

— Отрекись от своей веры, признай папу и прокляни Лютера! Тогда сохранишь другое ухо.

— Скряга! — негодуяюще воскликнул тавастландец. — Твой господин и учитель — дьявол обычно предлагает целые страны и государства, а ты лишь одно жалкое ухо!

— Левое! — хладнокровно приказал иезуит.

Кузнец последовал его приказу. Изувеченный солдат улыбнулся.

— Монах, какой позор! — воскликнул лежащий рядом с Витиккой лейтенант Бертель. — Убей нас, если хочешь, но быстро!

— А кто сказал, что я собираюсь вас убить? — улыбаясь, спросил патер Иероним. — Напротив, от вас самих зависит, выйдете ли вы целыми и невредимыми на свободу сегодня ночью.

— А что ты потребуешь за это?

— Вы храбрый молодой человек, лейтенант Бертель! Мне обидно, что король бесчестно и несправедливо лишил вас звания, купленного ценой крови. На вашем месте я бы отомстил.

— Отомстил? О да, я и сам думал об этом.

— Вы, верно, знаете, мой молодой друг, что даровали бы правоверные католики-князья тому, кто передаст короля живым или мертвым в их руки? Целое княжество, если этот человек дворянин; пятьдесят тысяч дукатов, если он простого сословия.

— Ваше святейшество, это слишком мало за такую великую услугу.

— У вас выбора нет: либо смерть, либо княжеская милость!

— Так вот вы о чем, ваше святейшество!

— Поступайте как знаете; когда одумаетесь, поговорим снова. Однако на сей раз у вас есть возможность за сущий пустяк купить жизнь и свободу.

— Что же это, ваше святейшество?

— Послушайте меня. Я требую от вас лишь незначительной услуги. Король Густав Адольф носит на указательном пальце правой руки маленький медный перстень. Для него он большой ценности не представляет, а для меня, мой молодой друг, он необычайно важен. Я... коллекционер и очень хочу иметь что-либо на память о короле, которого должен ненавидеть как недруга, но которым восхищаюсь как человеком.

— Перстень?

— Вы должны поклясться, что любым путем добудете его и передадите мне, прежде чем снова взойдет луна. Сделайте это, и вы свободны!

— Вот как, всего-навсего! Небольшой грех против восьмой заповеди? А отпущение грехов у вас уже готово, не так ли? Ступай, презренный вор, и благодари судьбу, что мои руки связаны. Клянусь небом, я научил бы тебя уважать честь воина!

— Потихе, молодой человек, помните, что ваша жизнь в моих руках. Покончив с вашим товарищем, я займусь вами.

Бертель лишь бросил на него презрительный взгляд.

— Кузнец, приступай к делу! — пробормотал иезуит.

Кузнец снова вытащил из огня раскаленные добела клещи.

Но в этот миг в соседней горнице вдруг начался переполох. Раздался крик:

— К оружию! Шведы!

И в ту же минуту двери распахнулись. Несколько крестьян схватились за ружья, остальные, спящие или пьяные, по-прежнему валялись на полу. Со двора уже слышалась команда шведского офицера:

— Подожгите дом, ребята, они у нас все тут, в ловушке!

Услышав эти слова, иезуит выпрыгнул в окно. Ожесточенная схватка шла в дверях горницы. Крестьяне уже через несколько минут не выдержали натиска шведов и стали просить пощады. В ответ тех, что стояли в первых рядах, изрубили алебардами, остальных связали; горница с трофеями была разграблена, а Бертеля и его изувеченного товарища развязали.

— Это ты, Ларссон? — радостно воскликнул освобожденный пленник.

— Гром и молния, Бертель? Так ты собираешься выполнить королевский приказ здесь?

— А сам-то ты как сюда попал?

— Да черт побери, ты ведь знаешь, я баловень судьбы. Меня послали охранять обоз, а по дороге я, надо же, встречаю нескольких негодяев-мародеров, которые рассказывают мне про засаду в здешнем лесу; я спешу по их следам, освобождаю бойкого парнишку и получаю в награду красавицу-девицу. Посмотри на нее: щечки словно красные тюльпаны, а глазки — ну просто загляденье.

Бертель оглянулся; рядом стояла обезумевшая от страха дрожащая девушка.

— Да это же Кэтхен, камеристка фрёкен Регины! — воскликнул Бертель, не раз видевший эту веселую девушку у ее мрачной госпожи.

— Спасите меня, господин лейтенант, спасите! — вскричала

девушка, пылко хватая его руку. — Меня выволокли силой из дома моей тетки.

- Ларссон, прошу тебя, отдай мне эту девушку!
- Дьявол тебя заberi, ты хочешь отнять мою девушку?!
- Дай ей свободу, прошу тебя!
- Как бы не так! Через несколько недель... может быть!
- Отпусти ее, кому говорю...

Пылкий коротышка схватился за шпагу.

— Дом горит! — раздался в тот же миг истошные крики со всех сторон, и удушающий густой дым возвестил, что всем грозит опасность. Бертель вместе с девушкой выскочил из дома, Ларссон за ними. И лишь во дворе, увидев дом, объятый со всех сторон пламенем, Бертель вспомнил, что внутри полно людей, что там осталось около тридцати крестьян, связанных по рукам и ногам.

— Идемте скорее! Спасем этих несчастных! — закричал он.

— Да ты что, спятил? — возразил, смеясь, Ларссон. — Ведь они совсем недавно отправили на тот свет столько наших славных молодцов! Поддайте жару, ребята!

Да и поздно! Помочь уже было нельзя!

Преисполненные отвращения, отвлекаемся мы от этих варварских деяний, чтобы перейти к великолепной и возвышенной картине последней битвы шведского льва.

8. НЮРНБЕРГ И ЛЮТЦЕН

События, громоздясь одно на другое, набегают друг на друга, подобно волнам в бурном потоке. И наше повествование, заключенное в тесные рамки, вынуждено нестись вперед с быстротой водопада. Нам придется поспешить вперед, перескакивая через удивительнейшие события удивительной эпохи, чтобы снова найти ту тоненькую красную нить нашего рассказа, которая тянется сквозь целый ряд поколений и судеб; эта нить — королевский перстень.

Грозный Валленштейн⁸⁰ примирился с императором, собрал громадное, внушающее ужас войско и, словно черная грозовая туча, обрушился на богатейший город Нюрнберг. Густав Адольф прервал свое победное шествие по Баварии, чтобы поспешить ему навстречу. И здесь, близ Нюрнберга, в двух сильно укрепленных лагерях оба войска уже целых одиннадцать недель, не меняя позиций, стояли друг против друга. То были пантера и лев, приго-

говившиеся к прыжку и неусыпно следящие за малейшим движением неприятеля. Из всех окрестных приходов высасывались средства на содержание обеих армий, а с помощью постоянных набегов в дальние селения добывался для них провиант.

Голод, летняя жара, чума и грабежи немецких солдат сеяли повсюду нищету и беды. Густав Адольф, собрав войско в пятьдесят тысяч человек и соединясь с армиями Уксеншерны и Банера, двадцать четвертого августа 1632 года пошел на штурм неприступных укреплений армии Валленштейна, стоявшего с шестьюдесятью тысячами воинов под их защитой. Задолго до рассвета начали греметь пушки Турстенсона, направленные на Альте-Весте¹. Под прикрытием ночной темноты пятьсот немецких мушкетеров из Белой бригады* вскарабкались по крутым склонам и взобрались на валы, несмотря на убийственный град ядер и пуль. В какой-то миг показалось, что победа будет им наградой за их презрение к смерти. Но Валленштейн сохранил хладнокровие и спокойствие; он бросал против неприятеля один отряд за другим. Бригада храбрцов была отброшена с большими потерями. Но король не отступал; снова пошла на штурм Белая бригада; все напрасно. Тогда Густав Адольф призвал своих финнов. Они видели перед глазами неминуемую смерть, принявшую обличье пушечных жерл. Однако все видели также, как шведы решительно, с несокрушимым мужеством карабкались по скользкому и липкому от крови и дождя обрывистому горному склону. И все же эти неприступные валы, этот убийственный град ядер и пуль поколебали даже храбрых шведов; под ураганным огнем и угрозой смерти пытались они взобраться на валы, но тщетно. Тех немногих, что избежали смерти от ядер и пик, заставили повернуть назад; впервые враги увидели спины финских воинов Густава Адольфа. Все попытки новых отрядов, которые пошли в атаку, были также бесплодны. Целый день бушевала битва; были большие потери убитыми, многие из храбрейших полководцев пали, и ангел смерти вновь уготовил пулю королю; но и на сей раз она задела лишь его сапог.

Имперская конница сражалась со шведской на левом фланге. Гроненберг со своими кирасирами, с головы до ног облаченными в броню и прозванными «Непобедимые», разбил гессенцев. И тогда Стольхандске повел за собой финнов против Гроненберга. И вот между этими главными силами и разыгралась прекрасная битва, незабываемая битва. На поросшем кустарником берегу реки Регниц столкнулись грудью недруги: воин против воина,

* После победы армии Валленштейна над чехами у Белой горы участников этой битвы прозвали Белой бригадой. — *Прим. ред.*

конь против коня. Шпаги ударились о шлемы, стреляли длинные револьверы, и многих храбрых воинов загнали вниз, в илистую речку. Храбрый Гроненберг пал, его «Непобедимые» бежали под напором финнов. Вместо него со значительным подкреплением бросился вперед Фуггер и стал медленно оттеснять финнов к опушке молодого лесочка. Однако здесь имперские войска были встречены огнем шведской пехоты. Фуггер пал, а его конники были снова отброшены назад измученными финнами.

К наступлению ночи более трех тысяч убитых усеяли высоты, валы и поля. В битве при Альте-Весте Густава Адольфа считали побежденным, поскольку он сам не победил. На следующий день король переменял позиции и 8 сентября двинулся в Баварию. Сорок четыре тысячи человек, друзей и врагов, пали жертвой чумы и сражений во время этих страшных недель в Нюрнберге и его окрестностях.

С каждым днем вечера становились все темнее, осенние туманы окутали залитую кровью германскую землю, а распрям и междоусобицам не было видно конца. И только одной великой душе было предназначено после многих бурь причалить здесь в тихой гавани, обрести вечный покой и перейти от осенней ночи жизни к вечному свету. Все ниже парил ангел смерти над благородной головой Густава Адольфа, окружая ее ореолом иного, более возвышенного мира, который иногда появляется в предсмертный час у величайших избранников судьбы на земле. Окружающим их неизвестно, что это за ореол, но сам избранник предвидит свою смерть. За два дня до смерти Густава Адольфа жители Наумбурга⁸² чествовали его как Бога. Но в душе короля мелькало предчувствие конца, и он сказал придворному проповеднику: «Может статься, Бог вскоре покарает и неугодную Ему глупость горожан, и меня, предмет их поклонения, и покажет, что и я лишь слабый и смертный человек».

Король отправился в горы в Саксонию, чтобы проследовать по пути Валленштейна, разорившего все вокруг. При Арнштадте⁸³ он простился с Акселем Уксеншерной, а в Эрфурте⁸⁴ — с королевой Марией Элеонорой. Многие его приказы свидетельствовали о том, что он готовится к смерти. Валленштейн, считавший, что король стоит на зимних квартирах, отослал Паппенхейма с двенадцатью тысячами воинов в Галле⁸⁵; сам он расположился лагерем у Лютцена с двадцатью восемью тысячами человек. Король остановился в Наумбурге с двадцатью тысячами воинов. Однако четвертого ноября, когда Густав Адольф узнал об отходе Паппенхейма, он

поспешил выступить в поход, чтобы неожиданно ударить по своему ослабевшему неприятелю. Но провидение уже воздвигло на его пути ничтожную преграду, маленькую речушку Риппах, которая задержала его продвижение вперед. Только поздно вечером пятого ноября король приблизился к Лютцену; Валленштейн выиграл время и сумел им воспользоваться. Вдоль широкой дороги, ведущей в Лейпциг, он велел углубить канавы по обеим сторонам; набросать брустверы и посадить в канавы лучших своих стрелков, чтобы они перекрестным огнем уничтожили наступающих шведов. Королевский военный совет был на сей раз не согласен с Густавом Адольфом; один лишь герцог Бернхард высказался за наступление, и король разделял его мнение, «потому что, — говорил он, — если уж попал в баню, то лучше вымыться как следует».

Ночь была темной и мрачной. Король провел ее в старой карете вместе с Книппхаузенем⁶⁶ и герцогом Бернхардом. Король с его беспокойным умом нашел время подумать обо всем, и вот, гласит предание, он стащил с указательного пальца правой руки маленький медный перстень, протянул его герцогу Бернхарду и поручил ему в случае, если и он, король, падет в бою, как любой другой смертный, передать этот перстень некоему молодому офицеру из королевской финской конницы.

Ранним утром Густав Адольф выехал верхом осмотреть боевые позиции своих войск. Одет он был в колет из лосиной кожи, а сверху на нем был серый камзол. Когда же приближенные стали просить его надеть на себя защитную броню, он ответил:

— Бог — мой щит! Бог — моя броня!

Густой туман задержал наступление. На рассвете все войско запело: «Наш Бог — наш могучий оплот». Но туман все не рассеивался. И тогда сам король запел: «Господи, удостой нас своей милостью!» После этого он объехал ряды своих войск, восклицая: «Сегодня, ребята, мы покончим со всеми нашими бедами!» И при этом конь его дважды споткнулся.

Только к одиннадцати часам утра туман рассеялся от легкого дуновения ветерка. Шведское войско тотчас же пошло в наступление; на правом фланге, где предводительствовал король, снова стоял Стольхандске с финнами, за ними — шведские полки; в центре расположились шведские желтые и зеленые бригады под предводительством Нильса Брахе⁶⁷; на левом фланге — немецкая конница под предводительством герцога Бернхарда. Против герцога стоял Коллоредо с боевым ядром конницы, в центре — сам

Валленштейн во главе пехоты, разбитой на четыре больших отряда, подкрепленных семью пушками; против Стольхандске стоял Изолани⁸⁸ со своими дикими, но храбрыми хорватами. Когда король отдавал приказ начать наступление, он, скрестив руки на груди, воскликнул:

— Иисусе, Иисусе, мне нужна сегодня Твоя помощь, дабы сразиться во славу Твоего святого имени!

И вот Лютцен подожен имперской армией, грохочет артиллерия, и шведское войско рвется вперед, правда, вначале несет большие потери. В конце концов шведские воины прорвались через рвы, захватили неприятельские пушки и опрокинули две передовые бригады немцев. И вот уже третья бригада готова обратиться к бегству, однако Валленштейну удастся заставить ее остановиться, конница нападает на шведов с фланга, меж тем как финны, прогнавшие хорватов и поляков, еще не перебрались через рвы и канавы. И тогда король во главе смоляндцев спешит вперед. Однако, чтобы последовать за Густавом Адольфом, нужны были хорошие лошади, а они были только у немногих воинов. Предание гласит, что один имперский мушкетер прицелился в короля и выстрелил серебряной пулей; достоверно лишь то, что левая рука короля была задета, и он скрыл это. Но вскоре, истощенный потерей крови, попросил герцога Лауэнбургского⁸⁹, ехавшего рядом с ним, незаметно увести себя с поля битвы. Однако вперед прорвались кирасиры Гетца во главе с Морицем фон Фалькенбергом⁹⁰, который, узнав короля, прострелил ему грудь с криком: «Давно я тебя ищу!» — и тут же сам упал, сраженный пулей.

Король, зашатавшись в седле, стал просить герцога оставить его и попытаться спасти свою собственную жизнь. Герцог же обхватил короля за талию, стараясь поддержать его, но в тот же миг целое полчище врагов ринулось на них и разъединило. Выстрел из револьвера опалил волосы герцога, конь короля, раненный пулей в шею, встал на дыбы, и Густав Адольф выпал из седла. Его протащило немного по земле, так как ноги еще были в стремях, а потом, освободившись от стремян, он так и не смог подняться. Юный паж Лейбельфинген из Нюрнберга предложил королю свою лошадь, но у пажа не хватило сил поднять его. Подскакали к нему и несколько всадников из имперской конницы. Они спросили, кто этот раненый, Лейбельфинген не пожелал отвечать, и тогда один из имперских воинов ткнул его в грудь шпагой, а другой прострелил голову королю. Затем остальные выстрелили в них еще несколько раз, и король с пажом остались лежать под грудой

мертвых тел; но Лейбельфинген прожил после этого еще несколько дней, чтобы поведать потомкам о горькой кончине великого героя Густава Адольфа.

Шведская армия вынуждена была отступить. Тысячи изувеченных тел усеяли поле битвы, а шведы все еще не захватили ни пяди имперской земли. Оба войска были почти на тех же самых позициях, что и перед самым началом битвы. И тогда вдруг среди шведских воинов увидели раненого королевского скакуна: с пустым седлом, залитый кровью, он неся галопом вперед. Раздался крик: «Король погиб!»

И, как прекрасно выразился Шиллер, «жизнь утратила свою цену, после того как угасла самая священная из всех жизней; смерть перестала казаться страшной для малых сих с той минуты, как она не пощадила этой венценосной головы!»

Герцог Бернхард скакал от одной шеренги солдат к другой, восклицая:

— Слушайте, шведы, финны и вы, немцы, наш король — защитник свободы, наш защитник — погиб! Кто любил короля, вперед, за мной — отомстим за его смерть!

Первым последовал этому призыву Стольхандске с финнами; перепрыгнув через рвы, они погнали пред собой толпы врагов. Дрогнуло и зашаталось перед этим бешеным натиском все имперское войско. Были взорваны и взлетели на воздух ящики с порохом. Ни властные речи Валленштейна, ни отчаянная храбрость Пикколомини⁹¹ не в силах были остановить неудержимое бегство имперских воинов.

И в этот миг над широкой равниной раздался ликующий возглас:

— Паппенхейм!

Да, Паппенхейм, храбрейший из храбрых, был уже там, на поле брани, со своими конниками, и первый его вопрос был:

— Где король Швеции?

Ему указали на ряды воинов Стольхандске, и он ринулся туда. Там разгорелся самый жаркий, самый ожесточенный бой. Имперские войска напали на шведов одновременно с трех сторон. Никто не дрогнул. Желтая бригада во главе с Брахе полегла точно так же. Остальная шведская пехота стала медленно отступать; победа, казалось, улыбалась все сокрушающему на своем пути Паппенхейму.

Однако ему, Аяксу⁹² своего времени, покрытому сотнями шрамов, не суждено было пережить день этой победы. Уже при пер-

вом столкновении с финнами ядро из фальконета раздробило ему бедро; две мушкетные пули пронзили его покрытую шрамами грудь... Говорят, что его сразил сам Стольхандске. Паппенхейм погиб, радуясь смерти Густава Адольфа. А весть о том, что Паппенхейм пал на поле брани, посеяла ужас в рядах имперских воинов.

— Паппенхейм погиб! Все пропало!

Шведы еще раз кинулись вперед; герцог Бернхард, Книппхаузен, Стольхандске свершали чудеса храбрости. Но и Пикколомини, который с шестью ранами пересел уже на седьмого коня, бился с мужеством, превосходящим обычное человеческое. Центр имперской армии устоял, и только наступившая ночь прервала битву. Валленштейн отступил, и измученное шведское воинство разбило лагерь на поле боя. Девять тысяч убитых остались лежать на равнинах Лютцена.

Неисчислимы были потери имперской армии. Она утратила всю свою артиллерию, Паппенхейма, а Валленштейн — славу непобедимого полководца. Герцог Фридландский⁹³ был вне себя от ярости; он щедро одарял виселицей трусов, а дукатами — храбрецов. Мрачный и больной, он двинулся с остатками своей армии примерно в десять тысяч человек обратно в Богемию. Там он нашел смерть от руки Батлера⁹⁴, положившего конец блистательной жизни Валленштейна.

Однако весь католический мир победно ликовал, ибо все лютеранство и шведы утратили неизмеримо больше, чем их враги. Та могучая рука, что триумфально разила врагов шпагой ради света и победы, упокоилась навеки. Всеобщим и глубоким было горе протестантов, горе, сопровождаемое страхом за будущее. В соборах Вены, Брюсселя и Мадрида пели *Te Deum**; двенадцать дней шли в Мадриде блистательные бои быков в память грозного героя. А молва гласит, будто император Фердинанд, самый великий среди современных ему монархов, пролил слезы при виде окровавленного колета своего поверженного врага.

Ходило множество преданий о смерти великого Густава Адольфа; народная молва обвиняла в гибели короля то герцога Франца Альберта Лауэнбургского, то Ришелье⁹⁵, то герцога Бернхарда; но ни одно из этих подозрений не подтвердила справедливая и беспристрастная история. Один из новейших немецких писателей сообщает следующее предание, переходившее из уст в уста.

* Тебя, Бога, (хвалим). — *Лат.*

«Густав Адольф, король Швеции, еще совсем молодым получил от женщины, которую очень любил, стальной перстень и потом никогда с ним не расставался. На перстне было семь кружков, заключавших в себе буквы его двойного имени. За семь дней до смерти королевский перстень похитили, да так ловко, что Густав Адольф в тот момент даже не заметил этой удивительной кражи».

Читатель уже знает, что путеводная нить нашего повествования также связана с этим самым перстнем, однако многое заставляет полагать, что перстень был медный.

На следующий вечер после битвы герцог Бернхард послал своих солдат искать при свете факелов тело короля, и они нашли его изуродованным под грудой других мертвых тел. Мародеры ограбили и короля. Его останки отнесли в селение Мойхен и там бальзамировали. Солдатам было разрешено лицезреть своего мертвого короля и героя.

Были пролиты горькие, скорбные слезы, но к скорби примешивалась и гордость, ибо даже самый ничтожный из малых сих почитал себя великим, так как удостоился чести биться рядом с таким монархом-героем.

— Посмотрите, — сказал, громко всхлипывая, один из ветеранов-финнов армии Стольхандске, — они ограбили его, украли золотую цепь и медный перстень, на указательном пальце его правой руки еще виден белый след.

— Зачем им понадобился этот медный перстень? — спросил какой-то шотландец, недавно прибывший в королевское войско и не знавший тех преданий, что переходили из уст в уста.

— Перстень! — воскликнул один из померанцев. — Не сомневайся, иезуиты хорошо знают, в чем его сила. Он был заколдован одной финской ведьмой, и пока король носил его, ни сталь, ни свинец не могли его сразить.

— Однако нынче он потерял этот перстень, — вмешался третий, — и поэтому-то... понимаете?..

— Что говорит этот померанский пожиратель груш? — с горечью вскричал финн. — Один лишь Бог защищал нашего великого короля, а перстень он получил в давние времена от одной финской девушки, которую очень любил в молодости, уж я-то знаю об этом побольше вас!

Герцог Бернхард, мрачно и задумчиво глядевший на бледное лицо короля, при этих словах оглянулся и сунул здоровую руку за расстегнутый колет; потом повернулся к финну и спросил:

— Приятель, а ты не знаешь одного из офицеров Стольхандске по имени Бертель?

— Да, Durchlaut*!

— Он жив?

— Нет, Durchlaut!

Герцог рассеянно повернулся к другому финну и стал отдавать приказы подчиненным. Через несколько мгновений, взглянул на тело короля, он снова что-то вспомнил.

— Этот Бертель был храбрый человек?

— Он был одним из конников Стольхандске! — ответил финн с гордостью.

— Когда и где он был убит?

— В последней схватке с воинами Паппенхейма.

— Пусть его найдут!

Утомленные солдаты безропотно выполнили приказ герцога, хотя справедливо были удивлены тем, что одного из младших офицеров приказали отыскать сегодня же ночью, в то время как Нильс Брахе и множество других посевших в битвах полководцев по-прежнему лежали в лужах собственной крови на поле битвы. Только к утру вернулись посланные герцогом люди с донесением, что тело Бертеля нигде не удалось найти.

— Да, — недовольно сказал герцог, — у великих людей бывают иногда свои мелкие причуды; но что же мне теперь делать с королевским перстнем?

Кроваво-красное ноябрьское солнце поднялось над полем битвы при Лютцене. Наступило новое время, учитель ушел навсегда, а его юным ученикам предстояло подумать о том, как продолжить его дело.

*Ваша светлость. — Нем.





ВТОРОЙ РАССКАЗ ФЕЛЬДШЕРА



Когда фельдшер окончил свой первый рассказ, все присутствующие довольно долго сидели молча, то ли думая о смерти великого короля, то ли ожидая продолжения.

В комнате на мягком кожаном диване разместилась старая бабушка в накинутой на плечи коричневой шерстяной шали в клетку, а рядом с ней школьный учитель магистр Свенониус с синим носовым платком в руке и в плотно сидящих на носу очках. Справа от дивана расположился почтмейстер капитан Сванхольм, потерявший в войну один палец на левой ноге; слева сидела прехорошенькая Анне Софи — ей тогда было восемнадцать лет — с высоким черепаховым гребнем в густых каштановых волосах. На низеньких скамеечках, а то и просто на полу пристроилось шесть или семь сорвиголов-мальчуганов и девочек-баловниц. Широко открыв рот, они слушали так, словно им рассказывали историю о привидениях.

Первой нарушила молчание Анне Софи. Вскрикнув, она, вскочив со стула, споткнулась и упала в объятия магистра Свенониуса. На маленькое общество, которое в то мгновение еще пребывало при Лютцене, это происшествие подействовало примерно так же,

как если бы все хорваты Изолани ворвались в мирную комнату фельдшера. Почтмейстер, все еще пребывавший в пылу битвы, нечаянно наступил на больную ногу старой бабушки каблуком, подкованным железом. У школьного учителя вид был совершенно отсутствующий и растерянный; казалось, он не понимает, какую драгоценную ношу держит в объятиях — наверняка самую первую и самую прекрасную во всей своей жизни. Стайка ребятишек в смятении разлетелась в разные стороны, опрокинув скамеечки, и тут же попряталась за высокую спинку кресла, в котором сидел фельдшер. Лишь Андреас, только что мысленно мчавшийся на коне следом за всадниками Стольхандске и перелетавший галопом через рвы, схватил большую испанскую трость фельдшера с серебряным набалдашником и встал в позу, явно свидетельствующую о том, что он готов к схватке с хорватами Изолани. Бекк единственный из всех был невозмутим. Вытащив свою продолговатую табакерку, он откусил маленький кусочек жевательного табака и лишь после этого спокойно спросил:

— Что с тобой, Анне Софи?

Анне Софи, красная от смущения, высвободилась из объятий магистра, оглянулась в поисках злодея и сказала, что кто-то уколол ей руку.

Бабушка, которая в случае необходимости умела переключать внимание общества на другой предмет, тотчас учинила розыск, скорый суд и расправу. И что же? Оказывается, Йонатан воткнул в кончик своей замечательной тростниковой удочки булавку и помешал старшей сестрице слушать, когда речь шла о самом разгаре битвы при Лютцене. Суд был короткий и суровый, подобно военно-полевому, и славному Йонатану был вынесен жестокий приговор: отправиться вниз в детскую и приготовить дополнительный урок к завтрашнему дню.

После того как порядок был восстановлен, собравшееся общество получило наконец возможность обсудить рассказ фельдшера.

— Это слишком громкая история, мой милый кузен, — начала бабушка, устремив на рассказчика один из тех красноречивых и ласковых взглядов, исполненных ума и доброты, которые даже в старости привлекали к ней все сердца. — Слишком громкая, должна сказать; мне все кажется, что у меня уши заложены от этой ужасной канонады. Скорее бы наступил наконец тот день, когда люди вместо того, чтобы разрывать друг друга на части, поделят в мире и согласии землю и дары Господа Бога!

Воинственный почтмейстер был оскорблен в самых лучших чувствах.

— Примириться? Поделить землю?.. И без всякой войны? Неужели вы, кузина, хотите превратить мир в муравейник? Да тогда бы... Всякие бумагомаратели залили бы свет чернилами, трусы и шалопаи наступали бы на пятки честным людям. Нет, черт побери, такие парни, как Густав Адольф и Наполеон, владычествуют и правят в этом мире... уж лучше пролить немного крови, застоявшейся от благополучия... зато весь мир станет от этого только здоровее.

— Если мне будет позволено перебить вас, почтенный братец, — прервал почтмейстера магистр, — то я доказал бы вам, что мир гораздо лучше обходится с помощью чернил, чем с помощью крови. Если бы в мире владычествовали войны, мы не сидели бы здесь у камелька за стаканчиком тодди в комнате Бекка, а прозябали бы у ствола орудия на крепостной стене с фитилем в руках и с порохом в пороховнице, а уж о понюшке табаку пришлось бы и вовсе забыть. Да и разве не чернила, братец, сделали вас почтмейстером? Чернила, братец, приносят вам хлеб насущный. Так позвольте спросить, что случилось бы с вами, братец, будь на свете одна лишь кровь и никаких чернил?

Фельдшер счел необходимым примирить сторонников крови и сторонников чернил.

— Полагаю, — сказал он, — что жизнь наций напоминает жизнь отдельных людей. В юности они дики и бездумны, ожесточенно дерутся друг с другом, стоит им столкнуться лицом к лицу, как они готовы разорвать друг друга на части. Потом они становятся старше и умнее и изобретают порох, который позволяет уже множеству людей вступать в сражение и хладнокровно уничтожать друг друга издалека. Наконец люди достигают такой степени благоразумия, что заряжают ружья холостыми патронами, как для салюта в день летнего солнцестояния, и берутся за перо. Вот тогда, по-моему, и устанавливается всеобщее царство разума.

— Это было бы черт знает что такое! — воскликнул почтмейстер. — Я только спрашиваю: что за человек был Густав Адольф? Что за человек был Наполеон? Уж не прикажете ли сказать, что они были какие-то там вертопрахи, а? Дикари и безумцы? Ну уж нет, благодаря покорно!

Не обращая внимания на почтмейстера, фельдшер продолжал свою речь:

— Заря истории всех народов начинается с войны, а солдата

номер один в первой военной кампании со времен сотворения мира звали Каином. А поскольку войны стары, как мир, они и будут существовать до самого конца света. Я не верю в эти новые прекрасные идеи о вечном мире. Думаю, что доколе хотя бы двое будут делить землю между собой, доколе в сердцах людей сохранится себялюбие эгоистов и любостяжание, они будут подвластны проклятию войны. Верьте мне, вечный мир воцарится тогда, когда людям больше не придется сражаться так слепо, как рабам, и так безумно, как встарь. Они будут бороться с исполненной радостью душой, отчетливо сознавая, за что и во имя чего они бьются, и, черт побери, с непоколебимой уверенностью в том, что дело, за которое они сражаются, — правое. И тогда можно драться радостно и весело...

— То есть бороться за идею, — задумчиво вставил магистр.

— Пусть так, за идею! Видишь ли, в том и состоит доблесть финского солдата, что он во все времена дрался за великое и справедливое — за свою страну. И никогда не нападал сам. Но вот он вышел за пределы своей страны, чтобы сражаться на чужбине, и тогда Господь наш предназначил ему прекрасный жребий — бороться во имя величайшего и справедливейшего из дел на свете: защищать истинное евангельское учение и свободу совести во всем мире. И финн достаточно хорошо сознавал это во времена Тридцатилетней войны. Потому-то он и был горд и преисполнен чувства собственного достоинства. В глубине души он знал, что сердце его ничем не отличается от сердца Густава Адольфа, который, я считаю, был величайшим полководцем всех времен и народов. Ведь он бился и одерживал победы за величайшую идею, достойную того, чтобы проливать за нее кровь.

— Милый, добрый дядюшка! Расскажи еще о Густаве Адольфе! — вмешались в разговор малыши. Строгие бабушка и сестрица Анне Софи с величайшим трудом удерживали их от шалостей.

— Нет уж, благодарю покорно, великий король ныне мертв и пусть покоится с миром под сводами Риддархольмской церкви⁹⁶. И если рассказ наш многое из-за этого потеряет, он все же кое-что и выиграет: явственней выступят на передний план другие герои. Ибо до сих пор мы едва замечали, едва слышали кого-либо другого, кроме нашего короля-героя. И матушка права, говоря, что наши уши заложило от пушечной канонады. Потому-то и фрёкен Регина, и иезуит, и в особенности Бертель — а он герой нашей саги — прошли, словно бестелесные, безжизненные тени, мимо...

— И Кэтхен тоже, — заметила бабушка. — Что до меня, то я охотней всего узнала бы побольше об этой веселой, добросердечной крошке. Не хочу говорить о Регине, но все-таки замечу, что за такую дикую черную кошку, которая в любую минуту готова выцарапать вам глаза, я и гроша ломаного не дам.

— Прощу тебя, братец Бекк, — вставил почтмейстер, — расскажи нам поподробней о Стольхандске, Люудикэйне, о маленьком толстяке Ларссоне и о тавастландце Витиккё. Как он, дьявол его забери, будет обходиться без ушей?

— Братец Бекк, — вмешался магистр, — у вас в руках *justitia mundi* — карающий меч правосудия, и вы, верно, не преминете вздернуть иезуита Иеронима на верхушке самой высокой сосны в горах Гарца?..

— О финнах я расскажу вам все, что знаю, — пообещал фельдшер, — но должен заранее предупредить, что знаю я слишком мало. Придется нам довольствоваться отдельными разрозненными фактами... и к тому же весьма скудными, — добавил фельдшер, понизив голос, чтобы его не слышали малыши; ему ведь так хотелось сохранить их веру в правдивость сказочных повествований!

— Ну, а что случилось с королевским перстнем?

— О нем вы услышите завтра вечером.

1. ГЕРОЙ ДУБИННОЙ ВОЙНЫ



алеко-далеко к северу, за плодородными равнинами Германии, расстилается бурное море, которое часть года не знает ни приливов, ни отливов, потому что воды его сковывают зимние льды. И эти ледяные мосты порой выдерживали целые армии. Столетиями сражались живущие на его берегах народы за право владеть этим морем и без конца обагряли его воды своей кровью. Однако во времена, к которым относится наше повествование, на девяти десятых прибрежных просторов этого моря главенствовала одна-единственная власть, власть одного государства. Балтийское море было тогда все равно что озеро в пределах государства свеев.

А между тем море это простирает свои огромные голубые руки к Востоку и Северу. Оно заключает в свои рокочущие объятия дочь моря, страну, порожденную волнами и выросшую из их лона; страну, которая и поныне вздымает ввысь над головой своей матери неприступные гордые скалы. Финляндия — самая любимая дочь, самое любимое чадо Балтийского моря; еще и поныне воды

ее озер питают материнские воды. Но могущественное море не злоупотребляет этим; оно понимает, что дочери надо еще расти и расти и облачаться каждое лето в новые, чисто вымытые одежды берегов, поросших травой и цветами. Счастлива та страна, что владеет тысячами морских волн и простирает вдоль моря побережье длиной в сто сорок миль! Море приносит могущество и свободу, благополучие и просвещение; море — стихия, связующая цивилизации на этой земле, и страна, что стоит на берегу моря, никогда не погрязнет в нищете и угнетении, если только сама этого не заслужит.

А далеко на севере Финляндии простирается низменность, которая более всякой другой — дочь моря, дитя, возвращенное морем. Со стародавних времен помнят ее люди. Вырастает она из волн морских, и бесчисленные зеленые острова поднимаются над морем у ее берегов.

— В дни моей юности, — говорит седовласый моряк, — там, где сейчас с трудом пройдет обыкновенная лодка, плыли огромные корабли, а теперь, много лет спустя, на прежнем дне морском зеленеют луга и пасется скот. Ребенок, играя, пускает в воду у берега берестяные лодочки. Оглянись кругом, малыш, и запомни то место на прибрежном песке, где можно увидеть очертания морских валов; а нарисованы они самими этими волнами. Когда ты станешь взрослым мужчиной, то напрасно будешь искать здешние берега, на которых играл. И лишь издали ты услышишь рокот моря. А когда придешь сюда уже глубоким старцем, то на месте моря твоего детства поднимутся процветающие селения. Удивительные края, где на берегах глубоких заливов или судоходных рек у подножия гор расположены морские гавани. Уже через два столетия селения эти окажутся на расстоянии целой мили от своих рейдов, а в лесистых краях в восьми милях от побережья еще и поныне вытаскивают из болот кили судов и корабельные якоря.

Местность эта зовется Эстерботтен. Эстерботтен куда больше иных королевств и тянется далеко в горы к Крайнему Северу, к границам Лапландии, где в дни летнего солнцестояния солнце никогда не заходит, а когда наступает рождественская тьма, никогда не восходит. Три месяца в году природа бодрствует здесь, озаренная неугасающим светом, и в это время тут даже в полночь можно читать самую маленькую, напечатанную самым мелким шрифтом книгу. Три месяца в году длится здесь ночь, однако ночь звездная и лунная, с северным сиянием и сверкающим снегом, ночь

морозно-ясная, вызывающая благоговейное чувство. Семь месяцев в году равнины покрыты ослепительным снегом, а воды — реки и озера — скованы крепким льдом. Красота цветов там меркнет быстрее, чем проходят человеческие радости, но никогда весна не кажется столь благодатной и сладкой, как после морозов суровой зимы; однако к сладости этой примешивается и легкая тоска, так хорошо понятная человеческому сердцу.

На берегу моря в этих северных краях живут два племени, не смешивающиеся меж собой и совершенно не похожие друг на друга в языке, в обычаях и нравах, в настроениях... Однако у всех жителей побережья есть и нечто общее: большая внутренняя сила и открытость души. И то, что все самые крупные и самые кровопролитные битвы в истории Финляндии разыгрывались на земле Эстерботтена, нельзя считать случайностью.

В четырех милях к востоку от города Васы, вдоль низких берегов реки Чуро простирается приход Стурчуро — один из богатейших в Эстерботтене, его житница. Здесь на глинистом черноземе растет знаменитая семенная рожь, которая ежегодно в огромных количествах переправляется по морю в Швецию. Весь приход — куда ни глянь — почти сплошь равнина, на которой колышется рожь. Живут здесь финны, которые еще в стародавние времена пришли сюда из Тавастланда. Старая, покосившаяся церковь, выстроенная в 1304 году, одна из самых древних в стране.

Вот туда-то, в Стурчуро, мы и просим читателя последовать за нами.

Во времена, предшествовавшие нашему повествованию, здешние края были далеко не такими цветущими, как в более позднюю пору. Дубинная война с ее бесчинствами сильно пошатнула их благосостояние; даже при жизни следующего поколения ощущались ее пагубные следы. Опустошительные набеги, частые и жестокие войны, приносящие неисчислимые беды, не позволяли залечить нанесенные Эстерботтену раны. Поэтому-то еще летом 1632 года многие усадьбы, стоявшие на лесных опушках, были пусты и заброшены. Поля были возделаны лишь вдоль берегов реки. Леса, уже тогда сильно порубленные, еще помогали отапливать смолокурни в долинах. Часть местных жителей занималась рыбным промыслом у Миккелевых островов.

Потому-то взгляд невольно останавливался и замирал при виде усадьбы Бертилы, расположенной невдалеке от церкви. Усадьба эта была богаче и благоустроеннее, чем другие крестьянские усадьбы, да к тому же еще окружена плодороднейшими полями.

Стояло лето, была уже середина августа, и пора жатвы только-только началась. Более шестидесяти человек — мужчин, женщин и детей (ведь женщины Эстерботтена все лето трудятся на полях) — усердно срезали серпами желтую рожь, собирали колося и искусно вязали снопы, складывая их в красивые скирды. Дни стояли жаркие, работать согнувшись было трудно, а потому время от времени кое-кто из трудившихся в поле выпрямлялся и бросал тоскливый взгляд на окружающую поле поросшую травой межу, словно созданную для отдыха и сна. Но при этом не забывал пугливо оглянуться на старика в серой домотканой куртке; тот, видно, был кем-то вроде надсмотрщика. И стоило кому-нибудь расслабиться, как слышался шепот соседа: «Ларссон идет!» Слова эти тотчас оказывали удивительное действие, почти как удар плети.

Однако Ларссон, маленький кругленький старичок с пышной бородой и скорее добродушным и веселым, нежели строгим взглядом из-под косматых бровей, был в эту минуту поглощен заботами об одной из работниц. Из-за жары и тяжелого труда она в беспамятстве рухнула на край межи.

Судя по чертам лица этой женщины, она была уже не первой молодости; может, это было ее тридцать шестое лето. Но, увидев ее тонкую и стройную фигуру и мягкое, теплое выражение голубых глаз, можно было подумать, что ей нет и двадцати. Ее лицо сохранило еще следы некогда редкостной, однако рано увядшей красоты, как и следы ужасных страданий и глубоких унижений. На ней была красивая белая шерстяная кофта, которую она потом сняла из-за жары, тончайшего полотна сорочка и короткая полосатая шерстяная юбка. Под кофтой, как принято у женщин из народа, надет красный лиф, а голова повязана маленьким полосатым платочком из ярко-желтого полотна. Он удерживал ее длинные белокурые волосы, которые, казалось, вот-вот рассыплются по плечам. Она работала так же, как остальные, но сил у нее было гораздо меньше.

Работавшие рядом с нею необычайно уважительно и любовно подняли ее и положили на мягкую траву, пытаясь свежей родниковой водой привести в чувство.

— Смотри же, Мери, — сказал старик Ларссон, с отеческой нежностью держа на коленях голову женщины и смачивая холодной водой ее виски, — дитя мое, неужто ты такая дурочка, что вздумашь умереть и покинуть старого друга... ведь ты для него единственная радость на этом свете!.. Она не слышит меня, бедное

дитя; разве есть где-нибудь в мире такой злой отец, как у нее?! Слыханное ли это дело? Заставить хрупкое создание работать в такую жару!.. Выпей глоток воды, вот так... Ну вот, хорошо, ты открываешь свои прекрасные глазки. Не бойся, Мери, мы вернемся домой в усадьбу, и ты отдохнешь, тебе не надо сегодня больше работать...

Хрупкая бледная женщина попыталась подняться и снова взять в руки лежавший в стороне серп.

— Спасибо, Ларссон, — сказала она слабым, но звонким голосом, — теперь мне лучше, я буду работать, как хочет мой отец...

— Хочет твой отец! — яростно воскликнул коротышка-старичок. — Но этого не хочу я! Я, я запрещаю тебе работать, слышишь, Мери, и если даже твой отец выставит меня за дверь и мне придется просить милостыню, все равно работать сегодня ты не будешь! Ну полно, дорогое дитя, не принимай все близко к сердцу! Все-таки отец твой не дурак! Наверное, он понимает, что руки у тебя не такие, как у нас, в этом ты не виновата, это у тебя от твоей покойной матушки, благородной барышни, а еще от твоего воспитания в Стокгольме... Ну вот так, идем домой, не будь хоть сейчас такой упрямой, Мери!

— Пусти меня, Ларссон, отец идет! — воскликнула Мери, вырываясь из его рук. Схватив серп, она снова принялась срезать рожь.

Но стоило ей склониться к земле, как в глазах у нее потемнело, и она, побледнев, снова потеряла сознание и опять опустилась на землю среди волнующихся колосьев ржи.

В тот же миг рвение работников удвоилось, потому что к ним приближался старик Бертила, строгий и грозный, внушающий всем страх хозяин усадьбы. Мрачный, как туча, он медленно шел по тропинке из своей усадьбы — рослый, еще статный старик лет семидесяти. Его одежда ничем не отличалась от той, что носят летом крестьяне: рубашка с широкими рукавами, длинная безрукавка в красную полоску, полотняные штаны до колен, синие чулки и искусно сплетенные лапти. А на седой голове — остроконечная связанная из шерсти высокая красная шапочка, что придавало еще большую значительность рослой фигуре старика. Но, несмотря на простоту одежды, во всей его внешности было нечто в высшей степени властное. Высокий рост, необычайно уверенная осанка, пронизательный взор и постоянное выражение решительности, властолюбия и строгости на лице, твердо очерченная верхняя губа сжатого рта выдавали в нем одновременно и бывшего

предводителя некой партии, и богатого могущественного землевладельца, привыкшего повелевать сотнями подвластных ему людей. Стоило взглянуть в лицо старика, и сразу же становилось понятно, почему в свое время во многих окрестных приходах он был известен под именем крестьянского короля.

Старый Арон Бертила спокойно подошел туда, где лежала в беспмятстве, бледная и неподвижная, его единственная дочь.

— Отвезите ее на телеге в усадьбу! — приказал он работникам. — Чтобы через два часа она снова была на работе!

— Что ты, Бертила... — возмущенно произнес было Ларссон.

Бертила обернулся и кинул на Ларссона такой взгляд, который тут же заставил замолчать старого вояку. Потом Бертила как ни в чем не бывало стал обходить поля, одну борозду за другой, оценивая опытным взглядом, то порицающим, то хвалебным, прилежание работников. А порой он срывал колос и внимательно считал зерна, взвешивая их на руке. Потом подозвал к себе Ларссона.

— Помнишь ли ты еще здешние края, какими они были тридцать четыре года тому назад? Всадники Флеминга носились тут, словно язычники, селения лежали в пепле и руинах, поля истоптаны копытами лошадей. На том месте, где мы стоим сейчас, рядом с селением простиралась дикая пустошь, полуобгорелые пни торчали среди луж и трясин. Не было ни одной дороги или тропинки, которая вела бы сюда, и даже лесной волк не желал искать себе здесь логово.

— Я помню это очень хорошо, — тоскливо ответил Ларссон.

— А теперь оглянись вокруг, старый друг, и скажи: кто возродил это селение из пепла? Кто сделал его еще более прекрасным, чем прежде? Кто выкорчевал эту пустошь, кто проложил здесь дороги и тропинки, кто провел борозды на полях? Кто отмерил полосы пашни, кто осушил топь, кто возделал эту дивную плодородную землю? Кто засеял это поле ржи, которое нынче колыхается на ветру, а через несколько дней утолит голод сотен людей? Скажи, Ларссон, кто сотворил это великое чудо?

И глаза старика восторженно засверкали.

Однако стоявшего рядом коротышку Ларссона, казалось, обуревали совсем иные чувства. Почтительно сняв свою потертую шляпу и скрестив руки на груди, он серьезно сказал:

— Совсе не тот, кто сеет, и не тот, кто поит поля; Бог — единственный, кто возвращает рожь.

Бертила, погруженный в свои мысли, похоже, не слышал слова Ларссона и продолжал:

— Да, клянусь Богом, знал и я недобрые дни, времена нужды, несчастья и отчаяния, что навлек на нашу землю меч. И сам я обнажил меч, чтобы разорить усадьбу моего недруга, узнал и победу, и поражение — то и другое только себе на горе. Потому-то я имею право радоваться плодам мира; я знаю, что учиняет меч и что делает плуг. Злой дух скрывается в мече, чтобы упиться кровью и слезами человеческими; меч убивает, меч уничтожает. Плуг же приносит жизнь и счастье... Будь я король, я бы сказал: «Долой меч, подайте сюда плуг!» Плуг — это герб Финляндии; будет у нас хлеб, будут, верно, у нас и руки, а будут у нас руки, мы погоним за ворота любого недруга. Но если у нас не будет хлеба, Ларссон, зачем нам тогда сталь и порох?

— Бертила, — явно колеблясь, произнес Ларссон, — странный ты человек! То, что ты ненавидишь солдат и войну, это я могу понять: солдаты сожгли твою усадьбу и прогнали твою первую жену с маленькими детьми на погибель. Сам ты сражался во главе крестьянского войска и едва избежал резни на льду Ильмолы⁹⁷. Понятно, такое не забывается. Непонятно только, как это ты — такой друг крестьян и ненавистник солдат — сперва берешь к себе в дом меня, старого, лишенного куска хлеба солдата, и делаешь управляющим в своей усадьбе?! А потом даришь полное военное снаряжение моему Лассе — пошли Господь благословение моему мальчику?! И посылаешь своего единственного родного внука, ребенка Мери, нашего малыша Йёсту, безбородого юнца, на поле битвы в королевскую конницу?!

Взгляд старого Бертилы как-то странно потемнел — видно, была затронута самая чувствительная струна в его сердце. Он угрюмо огляделся вокруг, словно боясь, не подслушивает ли кто за стеной овина.

— Что ты тут болтаешь о ребенке Мери? — тихим голосом спросил он. — Я не знаю никакого ребенка, кроме моего сына Йёсты, которого родила моя вторая жена во время поездки в Стокгольм. И да будет тебе защитой милость Господня, если ты когда-нибудь посмеешь... Ну да ладно, забудем это. Почему я приютил тебя? Почему послал мальчишку на поле битвы? Гм... это не твое дело!

— Можешь не говорить! Мне и так известно больше, чем ты думаешь!

— Скажи, если можешь, Ларссон, что нужно для того, чтобы править в честной христианской стране?

Ларссон удивленно взглянул на него.

— Ну так я скажу тебе. Меч состоит из двух частей: клинка и рукояти. И плуг тоже должен состоять из двух частей: той, что им правит, и той, что его тянет. И две части, связанные воедино, а именно народ и король, также составляют вместе честную христианскую страну. Ну а то, что посредине, приносит лишь раздоры и погубель, отнимает власть у короля, а у народа — его достоинство.

— Я знаю, ты ненавидишь господ!

— И поэтому, — Бертила придавал значительность каждому своему слову и говорил с насмешливой улыбкой, почти шутливо, — поэтому, видишь ли, мой сын будет либо крестьянином, либо королем. Не больше и не меньше, середины не будет.

Ларссон с удивлением разглядывал его. Он и не подозревал о существовании той бездны глубоко затаенного честолюбия, которое пылало в груди старого крестьянского вожака.

— Как ты можешь надеяться, — хмуро сказал он, — что происхождение сына Мери...

Глаза Бертилы сверкнули, однако слова почти неслышно срывались с его губ, словно он напрасно пытался бороться со своей внутренней потребностью хоть когда-нибудь, в первый, а может, и в последний раз высказать дерзкую мысль, уже много-много лет вызревавшую в его неприкаянной душе.

— У короля Густава только одна дочь, — со странным выражением в голосе произнес он.

— Да... фрёкен Черстин⁹⁸.

— Но государство, что ведет войну с полумиром, после смерти короля нуждается в мужчине на троне.

— Бертила, о чем ты?!

— О том, что в детстве я слышал, будто сын короля Эрика, прижитый им от крестьянской девушки Карин⁹⁹, был объявлен престолонаследником.

— В своем ли ты уме?

На губах старика снова заиграла насмешливая улыбка.

— Понятно тебе теперь, — холодно сказал он, — что можно ненавидеть солдат и господ и, однако же, послать своего сына на войну, где он может отличиться на глазах у короля?

— Прошу тебя, Бертила, брось эти безумные бредни; ты человек умный, если только дух высокомерия не овладел твоим беспокойным сердцем. Твой план не удастся.

— Он не может не удался. Иёста будет королем или крестьянином. Я ничего не имею против того и другого. Захочет он сделаться крестьянином, как я, пожалуйста!

— Ну а если он теперь не захочет или не сможет стать крестьянином? Если он вбил себе в голову сделаться дворянином, сражаться ради того, чтобы добиться дворянского герба?.. Вспомни, это ты сам открыл ему дорогу к дворянскому званию. Став офицером, он будет равен дворянину.

Бертила, казалось, задумался.

— Нет! — вскричал он. — Это невозможно! Его кровь... его воспитание... моя воля!..

— Его кровь? Ты что, разве не помнишь? Ведь в его жилах течет дворянская кровь и со стороны отца, и со стороны матери! Его воспитание? А разве не ты послал его еще двенадцати лет от роду в Стокгольм, не ты дал ему вырасти среди благородных отроков, которые ежедневно с презрительной улыбкой, язвительно отзывались о низших сословиях? Твоя воля? Безрассудный отец, ты сам дал орленку взрасти среди орлов, а теперь надеешься превратить его в воробья!

Некоторое время старик стоял молча. А потом с деланной холодностью сказал:

— Ларссон, ты легковверный дурак, ты всерьез принимаешь то, что я говорю в шутку. Я отвечаю за мальчишку! Не будем больше говорить об этом... но берегись — никому ни слова о том, что здесь было сказано! Понятно тебе?

— Я твой старый друг, Бертила. С того самого часа, как во время службы в конниках у Свидье Класа я помог тебе бежать с Ильмолы, ты сторицею воздал мне за эту услугу, и я никогда не предаю тебя. Но, видишь ли, я люблю твоих детей, как своих собственных, даже больше. Я не вынесу, если мальчика по твоей вине постигнет несчастье... А Мери... разве тебя можно назвать отцом, Бертила? Как обращаешься ты со своей единственной дочерью, которая исполняет малейшую твою прихоть, делает все для того, чтобы послушанием и покорностью искупить ложный шаг своей юности!.. Ведь ты обращаешься с ней хуже, чем с самой последней служанкой, заставляешь ее, слабую и хрупкую, исполнять самые тяжелые работы! Ты видишь, как она падает без памяти на землю, и даже не поднимаешь свое дитя! Какой ты жестокий, Бертила, ты хуже, чем жестокий, ты просто нелюдь, а не отец!

— Тебе этого не понять, — мрачно ответил старик. — Такие мягкосердечные, как ты, не понимают, что значит идти прямой дорогой, не оглядываясь по сторонам. Мери пошла в свою матушку, в ней есть что-то от чувствительной барышни, и это надо вырвать с корнем. Она не может сделаться королевой, как Карин

Монсдоттер; раз так, пусть будет крестьянкой — с ног до головы. Король или народ... я уже сказал, что думаю о тех, кто посередине, кто служит и нашим и вашим... Теперь тебе должны быть понятны мои поступки. Пошли, вернемся к нашим работникам.

— А Мери... пощади ее хоть сегодня!..

— Она будет работать после полудня, как и все.

2. ОН СТЫДИТСЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ИМЕНИ

Дом крестьянина в Эстерботтене теперь куда просторнее, светлее и всем своим видом куда пристойнее, чем где-либо в других краях Финляндии.

Иногда он даже в два жилья, или по крайней мере там можно увидеть еще какие-то помещения на чердаке. Окна там часто с перекладинами крест-накрест. Дом почти всегда выкрашен — обыкновенно в красный цвет, а углы и оконные рамы иногда белые, а иногда покрыты желтой масляной краской. Все это свидетельствует, что домам не чужды кустарные ремесла, плотницкое искусство и благосостояние. Благодаря этому эстерботтенцы никогда не строят такие большие и скученные селения, как жители Тавастланда и крестьяне из Абоской губернии, и лишь в случае крайней необходимости — такие же простые усадьбы, как и их земляки.

Во времена, предшествовавшие нашему повествованию, почти все в Финляндии жили в домах, где дым выходил через отдушины, а простонародье из шведов складывало очаги, откуда дым исчезал через настоящие трубы. Но уже тогда можно было увидеть в финских приходах Эстерботтена близ побережья то один, то другой дом, построенный, как у шведских соседей. Города, вновь заложенные в те времена и привлечшие жителей плоскогорий на побережье, начали уже приучать их к большим удобствам. И чем состоятельней был крестьянин, тем быстрее приобретало его жилье, как, впрочем, и он сам, более пристойный вид. Разумеется, избыток, с которым так боролись законы 1600-х годов, направленные против роскоши, встречался только в поместьях знатных дворян и у богатых горожан Або. Однако пиво домашней варки пенилось и в лачуге крестьянина, а в шкафу его хранились голландские пряности для торжественных случаев.

С тех пор, как пожары Дубинной войны уничтожили дымовые

отдушины вместе со старыми лачугами, в церковном приходе Стурчюро строились по соседству и шведские, и финские дома. Усадьба Бертилы, самая большая и богатая в селении, была выстроена по-новому, с лестницей и сенями наверху, с двумя маленькими горницами позади самой большой: одна для хозяина, а другая для его дочери. Прочие же домочадцы жили все вместе в общей горнице. Однако теперь, в летнее время, те, что помоложе, спали на сеновалах и чердаках. В те времена еще не было больших стенных часов в сине-красных шкафах-футлярах, которые ныне составляют наипервейшее украшение в каждой зажиточной крестьянской усадьбе. Прямо против двери стоял большой, гладко оструганный, окруженный скамьями дощатый стол, где на почетном месте сидел хозяин.

Время близилось к полудню, и на большом очаге в горшке кипела каша. В комнате почти никого не было. На скамье мурлыкала кошка, четырнадцатилетняя девочка мешала ложкой кашу, а Мери рукодельничала, устроившись возле очага.

Хотя бедняжка Мери уже пришла в себя после обморока, она все еще была очень бледна. Ее длинные золотистые волосы были распущены и свободно падали на полуприкрытые плечи, а взгляд, который порой отрывался от работы, боязливо устремлялся на дверь. Казалось, она ждала, что в горницу вот-вот войдет отец. Она напевала старинную шведскую песню:

Пояс для милого друга
Розами вышьет подруга,
С кровавых полей войны
Те розы вернуться должны*.

Мы уже упомянули, что Мери была не первой молодости. Долгие годы страданий оставили свой след на ее некогда нежном и прекрасном лице. Но в этот миг, когда она рассматривала пояс, на ее лице появилось почти детское выражение искреннего, глубокого удовлетворения. Видно было, что работа эта ей в радость, а друг, о котором она пела, ей очень дорог. Ее жизнь в доме у жестокого отца была так безрадостна! Когда же она смотрела на яркий пояс, ей казалось, что в пестрых узорах вышивки она видит картины будущего бесконечного тихого блаженства. Ради этого пояса она жила, он значил для нее то же самое, что мысль о ее единственном счастье... божественном счастье — мысль о сыне!

* Здесь и в дальнейшем песни даются в переводе Н. Беяковой.

И снова зазвучала ее песня:

Жемчугом пояс украшу —
Не сыщешь убора краше,
Сколь ни ищи по свету,
Нарядней убора нету!

В эту минуту в дом вошел Бертила, а вместе с ним Ларссон и целая толпа работников. Взгляд старого хозяина был мрачен; уж он-то знал, что слова Ларссона слишком похожи на правду. Его сын — дворянин? Такой поворот судьбы был в его глазах позором, бесчестьем. Эта мысль до сих пор не приходила ему в голову.

Мери быстро спрятала пояс под фартук, но проницательный взор старика тут же обнаружил ее тайну.

— Бездельница! Снова сидишь и мечтаешь вместо того, чтобы раскладывать по тарелкам кашу! — сурово воскликнул он. — Ну, что там у тебя под фартуком? Давай сюда!

И Мери пришлось на глазах у всех вытащить свой почти готовый пояс, свою драгоценную тайну. Какой-то миг Бертила с презрением рассматривал его, а потом разорвал и бросил за печку.

— Сколько раз я говорил тебе, что честной крестьянке нечего заниматься барским баловством. Прочитаем застольную молитву!

И старик по старинке скрестил руки; все домочадцы последовали было его примеру. Но прежде чем успели прозвучать слова молитвы, Ларссон поднялся и встал посреди комнаты. Его обычно добродушное лицо побагровело от гнева, а его искренняя речь заставила забыть о том, как смешна его маленькая круглая фигурка.

— Стыдно тебе, Бертила, — быстро сказал он, — бесчестья свою родную дочь перед всеми! День и ночь работает она, как рабыня, больше, чем кто-либо другой, а ты обзываешь ее бездельницей! Хоть ты мне и хозяин и хоть я и ем твой хлеб, и потому какого-либо добра, кроме нищенского посоха, не нажил, говорю тебе прямо в лицо: такой несправедливый отец недостоин такой прекрасной дочери. И лучше я буду бродить по округе с протянутой рукой, чем изо дня в день смотреть на все это. Но ты ответишь пред Господом за своих детей. А теперь читай застольную молитву, если можешь, и приятного тебе аппетита. Прощай, Бертила, так жить я больше не могу!

— Выбросьте за дверь этого олуха, который смеет перечить хозяину! — с необычной горячностью воскликнул Бертила.

Никто не двинулся с места. Старый крестьянский король впервые в жизни столкнулся с тем, что его распоряжения не выполняются.

— Любезный хозяин! — начал было старший из работников. — Мы и все домохозяева думаем, что...

От страшного удара хозяина работник упал, не успев договорить до конца. Ларссон сказал, что другие тут ни при чем, что он один уйдет, да и Мери попыталась вмешаться в ссору — все напрасно! Чувство справедливости было так велико у этих людей, что все они, не сговариваясь, как один восстали против хозяина, глубоко убежденные в том, что есть на свете правда и справедливость. Четырнадцать сильных, мускулистых мужчин, разъяренные и твердые в своем решении, окружили разгневанного Бертилу. Он знал своих людей и, как умный человек, понимал, что горячность завела его слишком далеко. Бертила хотел покончить с этим делом, не слишком унижаясь перед работниками.

— Чего вы хотите? — спросил он, снова обретя хладнокровие.

Работники посмотрели друг на друга.

— Хозяин, ты несправедлив, — сказал наконец один из самых дерзких. — Сперва, хозяин, ты безвинно опозорил Мери, потом хотел выбросить за дверь Ларссона и ударил Симона. Ты несправедлив, хозяин!

— Мери, иди сюда!

Мери подошла к нему.

— Ты уже не ребенок, Мери. И если тебе невыносимо тяжело жить у твоего старого отца, то ты вольна поселиться в Ильмоле. Ты свободна... Иди, дитя мое!

Бертила знал свою дочь. Этих единственных слов: «Иди, дитя мое!», — произнесенных ласковее, чем обычно, было достаточно, чтобы тронуть ее сердце.

— Не прогоняйте меня, отец! — сказала она. — Я никогда не покину вас!

Эти слова заставили поколебаться ее защитников. И старик понял, что одержал победу.

— Застольную молитву! — громовым голосом воскликнул он.

Четырнадцатилетняя Грета вышла на середину комнаты с Библией в руках и стала читать: «Раби, послушайте господий своих по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, якоже и Христа...»*

* Еф. 6, 5.

Слова эти, произнесенные так кстати, возымели действие. В те времена власть хозяина и отца еще сохраняла свою прежнюю силу и святость и проявлялась не только на словах, но и на деле. Хорошо известные с детства, запечатлевшиеся в душе слова, повелительный тон старика и пример Мери, ее полная покорность родительской власти — все вместе взятое укротило возмущенных несправедливостью работников, и бунт был подавлен, застольная молитва прочитана, и все безропотно заняли свои места. Только один старик Ларссон, мрачный и нерешительный, стоял в растерянности, держась за дверную ручку.

Вдруг дверь быстро отворилась, и в комнату вошел бородатый солдат в широкополой шляпе с орлиным пером; незнакомец был одет в шерстяной желтый мундир, подпоясанный кушаком, а на боку висела длинная шпага. На ногах у него были короткие ботфорты с широкими отворотами, а в руках — сучковатая дубинка.

— Клянусь святым Люцифером, — весело воскликнул он, — я пришел вовремя, как будто по приглашению. Мир Божий вам, крестьяне, за этим столом! Я голоден, как монах во время мессы, и не в силах в эту проклятую жару дойти до пасторской усадьбы. Есть ли у вас пиво?

Сидевший на почетном месте старый хозяин, душа которого все еще кипела, чуть привстал и снова опустился на сиденье.

— Садись, земляк, — негромко сказал он, — за столом Арона Бертилы хватит места и для незваных гостей.

— Вот как, — продолжал пришедший, без всякого стеснения принимаясь за еду. Он явно не привык церемониться. — Вот как, стало быть, ты — Бертила! Очень рад, друг! Честь за честь, а я должен сказать тебе, что я — Бенгт Кристерсон из Лиминго и прислан сюда приглядеть, как набирают новобранцев. Налейте больше пива в кружку, господа крестьяне... Ну, ну, не бойтесь, девицы, я не кусаюсь... Бертила! — продолжал свою речь солдат, набив рот. — Какого дьявола, уж не ты ли, старина, отец лейтенанта Бертеля?

— Мне это имя неизвестно, — ответил старый крестьянин, задетый высокомерием солдата.

— Ты что, рехнулся, старик? Ты что, не знаешь Густава Бертеля, который еще полгода назад называл себя Бертилой?

— Мой сын! — в отчаянии воскликнул старик. — О я несчастный отец! Он стыдится крестьянского имени!

— Крестьянского имени? — удивленно повторил веселый сержант и так неудержимо расхохотался, что кружка пива заплясала

перед ним на столе. — А разве у вас, господа крестьяне, тоже есть имена? Раз так, придется и мне отказаться от своего имени. Ну и шутник же ты, старикан... Скажи-ка мне, какого дьявола тебе понадобилось имя, да еще крестьянское?!

И он стал разглядывать хозяина с наивной наглостью, которая даже как-то смягчала оскорбительность его слов.

Старый Бертила едва удостоил его взглядом.

— А я-то, дурак, оказывается, послал на войну безбородого юнца, а думал, что посылаю мужчину! — мрачно сказал он самому себе.

Однако сержант, который, по-видимому, еще до этого пропустил рюмочку, а сейчас выпил кружку до дна, казалось, не склонен был отказываться от такого любопытного разговора.

— Чего это, батюшка, вид у тебя такой мрачный? — продолжал он в том же тоне. — Ведь вы, крестьяне, все время имеете дело с быками да баранами, так что немудрено, если и сами становитесь похожими и на тех и на других. Будь ты немного полюбезнее, ты бы велел одной из этих красивых девчонок наполнить мою кружку; видишь, кружка пуста, пуста, как твоя черепушка! Но вы, болваны, даже не понимаете, какая честь выпала вам на долю! Ведь у вас в гостях королевский сержант! Видишь ли, папаша, солдат нынче в цене, и имя его звучит потому, что он носит шпагу! Но у вас, плугарей, одна сплошная каша в голове, а в груди — репа вместо сердца! За твое здоровье, старина... За успехи храброго лейтенанта Бертеля! Ты что, отказываешься выпить за здоровье благородного кавалера?.. Берегись, мужлан!

И сержант подтвердил, что у него есть глубокое чувство собственного достоинства, ударив кулаком по столу с такой силой, что деревянные тарелки заплясали, и даже тяжелые деревянные блюда, которые, казалось, и с места не сдвинешь, чуть не свалились на пол вместе со всеми яствами.

В ответ на эту воинственную шутку шесть или восемь молодых поднялись со скамей и, по-видимому, готовы были отколотить как следует гостя, внушить ему уважение к крестьянскому имени.

Но старый Бертила их опередил. Внешне совершенно хладнокровный, он поднялся, твердым шагом подошел к сержанту и, не произнеся ни слова, схватил левой рукой за шиворот, а правой за спину, поднял со скамьи и вышвырнул славного Бенгта Кристерсона на кучу стружек возле крыльца. Веселый сержант был так ошеломлен этими неожиданными объятиями, что даже и не подумал защищаться.

— Ступай! — крикнул ему вслед Бертила. — И не забывай угощения крестьян из Стурчюро!

Ничто не вызывает такого уважения у человека, близкого к природе, как решительность и мужество в сочетании с твердой рукой. Когда старик снова вошел в дом, работники окружили его с возгласами одобрения и восхищения. В одну минуту было забыто все, что совсем недавно чуть не привело к столкновению хозяина и слуг. Соперничество между плугом и мечом так же старо, как мир. Дубинная война, возникающая из этого соперничества и усугубившая его, была еще свежа в памяти крестьян. Их непреклонную волю не могло сломить иго землевладельца. И вот сейчас они с радостью увидели, как их человеческое достоинство защитили от нападок высокомерного солдата. В эту минуту они забыли, что, быть может, вскоре еще кто-то из них станет солдатом, наденет шинель и пойдет сражаться за отечество. Сам же старый крестьянский король, воодушевленный собственным подвигом, позабыл свои мрачные мысли; впервые за долгое время домочадцы увидели, как на губах его играет улыбка. И прежде чем трапеза была закончена, он принялся рассказывать работникам о былых приключениях.

— Никогда не забуду, как мы отколотили этого мошенника Абрахама Мельхиорсона, ну, того самого, кто здесь, в Стурчюро, схватил наших лучших крестьян и велел колесовать их, как злодеев. С пятьюдесятью солдатами он двинулся на север. Время было зимнее, а он был изнеженный господин, смертельно боявшийся насморка и холода, и ехал он, такой важный, вырядившись в великолепную волчью шубу. Но только он приблизился к церкви в Карлебю, как мы напали на него из засады и убили двадцать два солдата, а ему наставили синяков. Но этот мошенник кутался в свою волчью шубу, и нашим дубинкам было никак не добраться до этого предателя. «Погодите-ка, — сказал Ханс Кранк, который был нашим предводителем, — этого волка мы из его шкуры вышибем». И тут он так отдубасил Абрахама, что тому пришлось сбросить с себя великолепную шубу. На Кранке была всего-навсего куртка, а на дворе стоял такой трескучий мороз, один Господь знает какой... Потому-то Кранк и решил, что шуба при таких обстоятельствах — штука замечательная, и натянул ее на плечи. Но поскольку все это происходило вечером, в сумерках, никто ничего не заметил, и мы начали со свежими силами колотить ту же шубу. И, ясное дело, бедняге Кранку задали на этот раз хорошую трепку. Абрахаму же Мельхиорсону стало так легко, когда он освободился от своей

шубы, что он бросился бежать изо всех сил и в одной куртке пробежал целых две мили до самой усадьбы Хусе, где его поймал Сока Якоб из Карлебю. После этого негодяя отвезли в Стокгольм, но долго оплакивать шубу ему не пришлось, поскольку вскоре герцог приказал укоротить его на целую голову.

— Да, — сказал Ларссон, охотно принявший сторону Флеминга и его партии, — в тот раз перевес был на вашей стороне. Только одиннадцать солдат выжили, притворившись мертвыми; их вы раздели догола. И в полночь они, замерзшие почти насмерть, приползли в лачугу пономаря, где их и прикутили. Однако утром вы захотели бросить их живьем в реку, скованную льдом, как вы сделали это в Лаппфьорде. Волки вы, а не люди! Река так обмелела, что вам пришлось кое-где заталкивать этих ребят в прорубь. Когда же вы увидели, что враги не тонут, ваши женщины стали бить их ведрами по головам.

— Придержи язык, Ларссон, ты ведь не знаешь всего, что натворил Свидье Клас, — с горечью сказал Бертила. — Я уж не говорю о тех, кого он и его люди забили насмерть или колесовали живьем. А помнишь Северина Сигфридсона из Сорсанкоски? Так вот, окружив крестьян, он приказал своему телохранителю отрубить им секирой головы, одному за другим. Но у того хватило сил отрубить всего двадцать четыре головы, и он попросил Северина Сигфридсона, чтобы тот сам казнил остальных. Тогда, разгневавшись, Северин велел сначала разрубить телохранителя на пять частей, а потом заставил крестьян рубить друг друга, пока в живых не остался всего один.

— Ну а что вы, злодеи, натворили в усадьбе Педера Гумсе? Ваши люди разгромили всю усадьбу, разбили стекла, перерезали весь скот и выставили в окнах отрубленные головы, да еще с разинутыми ртами. Все думали, что это головы привидений. Ваши люди подпилили балки дома на три четверти, чтобы, когда домохозяева вернутся, крыша обрушилась им на головы. А взяв в плен рыцаря, вы метали в него стрелы, как в живую мишень...

— Не стоит тебе, Ларссон, брать под защиту Свидье Класа. Помнишь женщину, на глазах у которой один из конников Акселя Курка убил ее детей? Бедная мать не смогла этого вынести; вместе с дочерью-подростком схватила она за пояс этого пьяного парня и стала бить его изо всех сил коромыслом по голове. Он потерял сознание, и тогда она толкнула его в прорубь. А после явился Свидье Клас и приказал разрубить эту женщину надвое...

— Пустая болтовня, никто никогда не докажет, что это правда, — хмуро возразил Ларссон.

— Мертвые молчат, как послушные дети. Пять тысяч павших у Ильмолы не произнесут больше ни слова.

— Чем ссориться с сержантом, лучше бы расспросил его, какие новости у твоего сына и у моего, — продолжал Ларссон, чтобы отвлечься от их постоянных споров о Дубинной войне.

— Да... ты прав, мне надо было поподробнее узнать о наших ребятах и о войне. Утром поеду в город.

— А он скоро вернется? — робко спросила Мери.

— Кто вернется, Йёста? Он еще, верно, заставит нас ждать, — с досадой ответил ей отец. — Он ведь стал теперь знатным господином, он стыдится своего старого отца... он стыдится крестьянского имени!

3. ЮЖАНКА НА СЕВЕРЕ

В нескольких милях к югу от города Васы, на шестьдесят третьем градусе широты, финский берег, который прямой линией тянется отсюда на север и на юг, сворачивает к северо-востоку. Голубые воды Ботнического залива суживаются у Кваркена, затем снова расширяются, и залив склоняет свое высокое чело на грудь Финляндии. Прилетающий с Ледовитого океана северный ветер бесчинствует здесь куда сильнее, чем где-нибудь. Протиснувшись меж берегов Кваркенского залива, он с дикой силой гонит волны к скалам. Посреди этого бурного моря высятся голые скалистые утесы Гадден, где маяк предостерегает моряков, да выступающие далеко в море мели и рифы. Когда горный ветер взмахивает крыльями над этими опасными шхерами, горе кораблю, который осмеливается пробираться через узкий проход у Ундерстена*, — его гибель предreshена. Но в середине лета, когда ветер дует с запада, он становится самым прекрасным, самым желанным и предвещает долгую ясную и чудесную погоду. Тогда от берегов к островам и мелям Кваркена устремляется множество парусов. Это рыбаки выходят в море, чтобы забросить сети навстречу плывущим сюда косякам салаки. И беспокойная, бурливая морская волна, как любящая мать, ласково беседует со своими детьми — зеленеющими островами, которые покоятся на ее груди.

* Ундерстен — букв. подводный камень. — *Шв.*

За исключением Аландских островов¹⁰⁰ и Экенеса, никакие берега Финляндии не могут похвастаться таким количеством цветущих шхер, как в окрестностях Кваркена и у прилегающего к нему восточного берега. Бесчисленные острова и каменистые островки кажутся каплями зелени в просторной голубизне моря. Они-то и составляют свой собственный архипелаг под названием Реплот¹⁰¹, и населены они только рыбаками. Архипелаги так многочисленны, заливы так бесконечно разнообразны, а фарватёр так извилист, что все это напоминает лабиринт... Случается, правда, что какое-нибудь чужое судно приплывет на один из этих архипелагов, и рулевой наверняка не отыщет дорогу из этого лабиринта, если местный лоцман не укажет ему путь. Контрабанда тут процветает, и помешать ей не смогли бы и тридцать крейсеров.

В те самые времена, о которых рассказывается в предыдущей главе, стало быть, в середине августа 1632 года, волны Ботнического залива прорезал королевский бриг Швеции «Мария Элеонора», державший курс из Стокгольма в город Васу и перевозивший новобранцев из Эстерботтена на войну с Германией. Стояло ясное погожее летнее утро. Бескрайние морские заливы сверкали неопишуемым блеском, в котором таится и величие, и одновременно нечто чарующе-притягательное и прекрасное. С этим великолепным зрелищем может соперничать лишь снежное поле, освещенное яркими лучами весеннего солнца. Но снег — это покой и смерть, меж тем как бегущая волна — это движение и жизнь. Море, сверкающее и спокойное, — это само величие, озаренное ясной улыбкой, это дремлющий великан, которому снятся солнечные лучи и цветы.

После восхода солнца на борту брига царил однообразная тишина морской жизни, которая бывает на судах лишь по утрам, да и то когда не грозит опасность. Часть экипажа еще спала в кубрике, и только второй помощник капитана прогуливался взад-вперед по корме. Штурман неподвижно стоял у руля, а вахтенный на марсе безмолвно смотрел вперед; на палубе стали появляться матросы: один тянул канат, другой латал сапоги, третий нес охапку дров на камбуз, а четвертый чистил пушки, из которых должен был прогреметь салют при входе в Корсхольм. Нынешняя изматывающая дисциплина на военном корабле тогда почти не существовала; не было еще ни военной формы, ни свистков, ни всей этой системы сигналов и команд, которые теперь так распространены. Военный корабль отличался от торгового судна разве что

своими размерами, вооружением и численностью экипажа -- офицеров и матросов.

У зеленых перил стояли на корме две женщины в широких черных шерстяных плащах с капюшонами. Одна из пассажирок была мала ростом, капюшон прикрывал ее старое сморщенное лицо с прищуренными серыми глазами. На ней была толстая теплая кофта из нюрнбергского сукна. Другая женщина была в облегавшем стан черном бархатном плаще, подбитом горностаем. Облокотившись о перила, она в мрачной задумчивости смотрела на бегущие волны и сверкающий белой пеной следа брига. Если бы удалось уловить ее изображение в прозрачной струящейся волне, то представилось бы бледное лицо дивной красоты с черными, мечущими молнии глазами, затмевавшими своим блеском даже искрящееся зеркало вод.

— Пресвятая Мария! — воскликнула старуха. — Когда же кончится это наказание, которое обрушили на нас святые за наши грехи? Скажите, милая фрёкен, где мы теперь, в какой части света? Мне кажется, что прошел целый год с тех пор, как мы отчалили из Штральзунда, а с тех пор, как покинули этот еретический Стокгольм, я и совсем потеряла всякий счет дням. Каждое утро, поднимаясь с постели, я читаю семь раз «Ave» и семь раз «Pater noster», как нас учил достопочтенный патер Иероним, во спасение от привидений и всяческой нечисти. Откуда нам знать, может, тут и есть край света, раз мы так далеко уплыли от святой праведной церкви и истинных христиан. Скажите, милая фрёкен, уж не край ли света там, где видна кромка неба, и не плывем ли мы на всех парусах прямо в геенну огненную?

Девушка, по-видимому, совершенно не слушала свою дуэнью. Ее темный сверкающий взгляд под длинными черными ресницами был неотрывно и мечтательно устремлен на гладь моря. Порой море надолго подергивалось прохладной рябью — отголоском прежних бурь, и, разгоняя зыбь, высокие волны заставляли бриг тихо клониться на бок, так что борт почти касался водной глади. И когда зеркальное изображение приближалось к ней, прекрасные черты бледного лица девушки озарялись улыбкой, выдававшей и скорбь, и гордость, а губы ее почти неслышно шевелились, доверяя волнам самые сокровенные мысли.

— Любви достойно на земле только самое великое и по-королевски могущественное! — произнесла она и добавила, увлеченная этой мыслью: — Почему бы мне не любить великого человека?

Но сразу же ее стройная фигура содрогнулась, мрачная молния сверкнула в ее черных очах, и она, почти дрожа, сказала:

— Ненависти достойно на земле только самое великое и по-королевски могущественное!.. Почему бы мне не ненавидеть его?..

Она не докончила свою речь и приникла головой к перилам, молния в ее глазах исчезла, а вместо нее мелькнула горькая слеза. Два враждебных духа боролись за эту пламенную душу. Один говорил ей: «Люби его!» Другой твердил: «Ты должна его ненавидеть!»

И в этой ужасной борьбе между ангелом и демоном, желавшими завладеть ее душой, истекало кровью ее сердце.

Излишне повторять то, о чем читатель уже наверняка догадался: да, стройная девушка на борту брига «Мария Элеонора» была не кто иная, как фрёкен Регина фон Эммериц, та самая прекрасная мечтательница, которая во Франкфурте-на-Майне хотела обратить короля Густава Адольфа в католическую веру. Король, великий знаток человеческого сердца, не без основания считал эту фанатичку способной на все, осталась она под влиянием иезуитов.

Поэтому он и решил — вовсе не из чувства мести, чуждого его великой душе, а из чувства благородного человеческого участия к юной, богато одаренной девушке, — на некоторое время отослать ее в дальние края, где она оказалась бы недоступной глетворному влиянию монахов. И вот, поздним летом, фрёкен Регину отослали через Штральзунд и Стокгольм к старой строгой фру Мэрте Ульфспарре в Корсхольм. Однако он, этот великодушный король, даже не подозревал, что демон фанатизма, из когтей которого он хотел спасти свою пленницу, последует за ней к отдаленным берегам самой Финляндии. Потому что фрёкен Регина выбрала в спутницы ту из своих прислужниц, которой она больше всего доверяла. А выбрала она не веселую белокурую Кэтхен, своего доброго гения (ее тут же отослали на родину, в Баварию), а старую Дорте, свою кормилицу. Тайно подкупленная иезуитами, она уже давно разжигала пламя фанатизма в душе юной девушки. И вот Регина стояла на корме, несчастная, всеми покинутая, беззащитная, преданная власти черной силы, которая со времен раннего детства заманивала в сети своей гибельной религии ее нежное, богато одаренное чувствами сердце. И этой власти она могла противопоставить лишь одно-единственное, но могущественное чувство, свое преклонение, свою трепетную мечтательную любовь к великому Густаву Адольфу, которого одновременно и любила и ненавиде-

ла, которого была способна убить и за которого, тем не менее, готова была принять смерть.

Хитроумная Дорте, казалось, отгадала мысли своей фрёкен; наклонившись к ней, она прищурила свои маленькие глазки и доверительно сказала:

— Ай-ай... неужто так обстоят дела? Неужто нас снова одолевают греховные мысли о короле еретиков и всех его прихвостнях? Да, да, дьявол коварен, он знает, что делает. Когда он хочет поймать в свои сети заурядную легкомысленную девушку, он посылает ей молодого цветущего и краснощекого франта с длинными, красиво уложенными локонами и с внешностью галантного кавалера. Когда же он желает заполучить бедную покинутую девушку с гордыми мыслями и благородной душой, он перевоплощается в блистательного полководца, который выигрывает битвы, завоевывает крепости и симпатии горожан. А бедное дитя ничуть не заботит то, что блестящий победитель — один из заклятых врагов ее церкви и ее веры и что он несет гибель им обоим...

Регина отвратила свой сверкающий взор от моря и на какой-то миг задержала его на лице своей старой советчицы.

— Скажи, — почти запальчиво спросила она, — можно ли быть в одно и то же время ангелом доброты и чудовищем злобы? Можно ли быть в одно и то же время величайшим и презреннейшим среди людей?

— Дьявол велик и силен, — холодно ответила Дорте. — Он так силен, что желал бы стать самим Господом Богом, если б мог. Поэтому ему ничего не стоит казаться величайшим среди людей.

Мирное спокойствие утра царило над мерцающими заливами и утишало сердечные бури. Регина молчала.

Дорте продолжала:

— Злых узнают по их делам. Вы только подумайте, дорогая фрёкен, сколько зла причинил этот безбожный король нашей церкви и нам! Он убил многие тысячи наших воинов, он разграбил наши монастыри, крепости и замки, он выдворил наших монахинь и святых отцов из их благочестивых обителей, а праведного отца Иеронима королевские воины, финны-еретики, страшно изуродовали. А нас король выгнал из нашей страны на край света...

Регина снова посмотрела на острова и заливы, озаренные ясным и прелестным утренним светом. Когда черный демон нашептывал ей на ухо слова ненависти, ей казалось, будто сверкающая природа проповедует только любовь. На ее губах уже порхала готовая сорваться обращенная в слова чарующая мысль: неважно,

что он убил тысячи людей, что он выдворил монахов и монахинь из их обителей, что он изгнал их самих из родной страны... Все это не важно, если он велик как человек и поступает согласно велениям своей веры! Но страх заставлял ее молчать, она не смела порвать со своей прежней жизнью.

— Знаешь, Дорте, — сказала она, — что финны, которых ты ненавидишь, живут на берегах этого моря? Смотри, там, далеко на востоке, полоска земли! Это — Финляндия! Я еще не видела этих берегов, и все же я не могу ненавидеть землю, омываемую таким дивным морем. Не могу представить себе, что злые люди могут обитать на лоне столь дивной природы.

— Да защитят нас все святые! — воскликнула старуха, а ее высохшая рука поспешно сотворяла крестное знамение. — Так это Финляндия? Да защитит нас святой Патрик! Пусть нога наша никогда не ступит на этот проклятый берег! Дорогая фрёкен, значит, вы никогда не слыхали, что рассказывают об этой стране и о ее языческом народе? Там царит вечная ночь, там никогда не тает снег, там в норах, логовах и расселинах скал живут рядом дикие звери и еще более дикие люди. В лесу полным-полно троллей и всяких нелюдей. А если окликнуть одного из них, то тут же сотни их выползают из-под листьев и ветвей. А люди в этой стране заколдовывают друг друга, причиняя зло себе подобным. И если кого-то ненавидят, то превращают его в волка. А всякое произнесенное слово воплощается в жизнь. Так что если нужно смастерить лодку или топор, люди говорят об этом и тотчас получают все, чего желают.

— Ты рисуешь прекрасную картину, — сказала Регина, улыбаясь впервые за все это долгое время. Свежий морской воздух благоприятно повлиял на ее мечтательную душу. — Счастлива та страна, где одним лишь словом можно создать и добыть все, что пожелаешь. Представляешь, я голодна и хочу съесть персик! И я говорю: «Персик!» И тут же, откуда ни возьмись, появляется персик. Потом я хочу пить и говорю: «Родник!» И тут же у моих ног начинает бить родник. А если в сердце моем зарождается тоска, то я говорю: «Надежда!» И в душе у меня воскресает надежда. А если я тоскую по любимому другу, то стоит мне назвать его имя, и он уже тут как тут... Чудесная страна Финляндия, если она такова, как ты ее изображаешь! А окажись мы вместе с дикими зверями в одном снежном логове, то стоит нам только посмотреть друг на друга и сказать: «Отечество!» — и в ту же минуту мы уже на берегу Майна под сенью липы, где мы так часто сживали, когда я

была ребенком, а соловьи из наших родных краев поют нам, как прежде, в былые времена.

Дорте оскорбленно отвернулась. Бриг направлялся теперь во внутренние шхеры и медленно продвигался мимо скал: многие из них в стародавние времена еще стояли на суше, а теперь высывались из соленой воды.

— Как называется полоса суши слева? — спросила Регина рулевого.

— Это Варгё — Волчий остров, — ответил он.

— Вот теперь вы сами слышите, дорогая фрёкен! — воскликнула Дорте. — Волчий остров! Это первое название, услышанное нами у берегов Финляндии, и оно говорит о том, что нас там ожидает!

Бриг повернул теперь к северу, проплыл между шхерой Лонгшер и берегом Сундома, снова двинулся на восток, миновал остров Брандё, беспрепятственно прошел ту мель, которая ныне преграждает путь крупным судам, и вошел в великолепную для того времени гавань города Васы, салютуя из всех шестнадцати пушек валам Корсхольма.

4. КРЕСТЬЯНИН, ГОРОЖАНИН И СОЛДАТ

Арон Бертила сел однажды в свою прекрасную одноколку, чтобы на один день съездить в город Васу. Было решено, что в знак примирения Мери займет место в возке рядом с ним. Ей надо было закупить в городе салаки и кое-какие приправы вроде имбиря и корицы, которые уже тогда начали употреблять в зажиточных крестьянских домах. И у отца, и у дочери были на эту поездку свои собственные виды; но ни тот, ни другая не желали признаваться в том, что едут только затем, чтобы узнать новости из Германии. Ларссону, который оставался в усадьбе, было поручено, как обычно, присмотреть за работами.

В то же самое время армии Густава Адольфа и Валленштейна стояли друг против друга под Нюрнбергом. Никогда еще королю не требовалось столько солдат, и Уксеншерн слал из Саксонии одну депешу за другой, требуя все новых и новых войск. Несмотря на то, что был самый разгар жатвы и в поле нужны были люди, войне, у которой своя жатва тоже была в полном разгаре, необходимы были солдаты; поэтому множество юношей из окрестных приходов стекалось в город, чтобы оттуда переправиться морем

сначала в Стокгольм, а потом еще дальше, в Германию, и выступить против грозных полчищ Валленштейна. В те времена муштра — военное обучение солдат и смотр войск — были делом вовсе не таким сложным и тонким, как ныне; главное было — стойка «смирно» в строю, умение при первой же команде бросаться прямо на врага, метко стрелять, чему эстерботтенцы заранее учились, охотясь на тюленей, и рубить что есть сил, стараясь самим остаться при этом целыми и невредимыми.

Со дня основания города Васы едва исполнилось двадцать лет, и он был тогда гораздо меньше, чем теперь. Город рос медленно еще и потому, что не мог застраиваться к югу. А мешали этому владения Корсхольма, принадлежавшие королю. Вокруг старой церкви в Мустасаари возвышалось несколько тесных рядов вновь построенных, выкрашенных в красный цвет одноэтажных домов; там же находилось несколько мелких торговых лавчонок. Возле гавани высились торговые склады, а вокруг было множество лачуг рыбаков и мореходов, разбросанных беспорядочными кучками, потому что строители шестнадцатого столетия полагали строгую планировку города и прямые как стрела улицы совершенно излишними. И чем ближе друг к другу строили дома, тем увереннее чувствовали себя горожане в те смутные, беспокойные времена. Купеческий городок, каким был тогда Васа, рассматривали как общее семейное достояние. А гордостью жителей Васы, обитавших в собственных скромных домишках, были высокие зеленеющие валы Корсхольма.

По преданию, в которое долгое время верили, Корсхольм*, эта надежная крепость, был построен Биргером Ярлем¹⁰² и назван так в честь деревянного креста, воздвигнутого там в ознаменование победы. Крепость была такая старинная, что о ней редко вспоминали иначе, чем об остатках чего-то еще более древнего. Для защиты Финляндии Корсхольм из-за своего неудачного расположения не имел ни малейшего значения. А с тех пор как незадолго до наших времен были возведены крепости Улео и Кайяна, Корсхольм совершенно перестали рассматривать как надежное военное укрепление. Теперь его главное предназначение состояло в том, чтобы служить резиденцией губернатора Норланда. Находили там прибежище и другие королевские чиновники; кроме того, в Корсхольме располагалась тюрьма, а также скотный двор, приносивший изрядный доход губернатору. Тогдашний губернатор Нор-

* Крестовый остров. — *Шв.*

ланда цейхмейстер Юхан Монссон Ульфспарре фон Тизенхульт только временами жил в Корсхольме. Однако его семидесятилетняя матушка, фру Мэрта, твердой рукой управляла в его отсутствие и замком, и скотным двором.

Между крестьянами и горожанами в новых городах царили в то время неестественные и вредные для обеих сторон соперничество и вражда. Они были вызваны главным образом тем, что власти старались подавить торговлю крестьян. Потому-то когда старый, но еще могущественный крестьянский вождь вместе с дочерью въехал через пограничную заставу в город, то кое-кто из горожан приветствовал этого знатного человека из-за его богатства; но более именитые купцы, боявшиеся личного влияния Бертилы на короля, смотрели на него недобрым взглядом и изливали свою досаду в язвительных насмешках или высказываниях. И делали это громко, чтобы он все слышал.

— Смотри-ка, — говорили они, вон едет крестьянский король из Стурчюро, а Васа не воздвиг в его честь хотя бы плохонькую триумфальную арку! Он считает ниже своего достоинства молотить рожь, он хочет податься к солдатам и не сходя с места стать генералиссимусом! Берегитесь! Разве вы не видите, какой грозный вид у его величества короля лапотников? Если он придет к власти, то вспашет весь город и превратит его в картофельное поле!

Горячий нравом старик Бертила редко сдерживал свой гнев, но на этот раз, скрыв его, погнав лошадь, чтобы поскорее добраться до дома вдовы, у которой обычно останавливался, приезжая в город. Но не успел он проехать чуть дальше, как путь ему преградила толпа пьяных рекрутов, отпраздновавших в близлежащей харчевне знакомство с новыми сотоварищами и изрядно подкрепившихся перед длительным морским переходом. Несколько унтер-офицеров присоединились к этой ватаге самозваными предводителями и с криком «Прочь с дороги, мужлан!» храбро бросились в атаку на приезжих. Бертила, который впал в ужасную ярость и не в силах был ее обуздать, довольно невежливо ответил на эти дерзкие выкрики, сбив хлыстом с головы одного из них великолепную широкополую шляпу с орлиным пером.

Это привело уже к настоящей драке. Оскорбленный унтер-офицер кинулся к одноколке, и вся орава последовала за ним.

— Ах так, милый мой старичок! — воскликнул пострадавший, а это был не кто иной, как веселый сержант Бенгт Кристерсон, которого Бертила, к стыду этого вояки, выбросил за дверь в Стурчюро. — Теперь ты у нас в дружеском кругу, и я могу отблагода-

рить тебя за твое вчерашнее гостеприимство. Дорогу, ребята, старик — мой! С этого зверя я хочу снять шкуру сам, своими собственными руками!

Бертила был слишком стар, чтобы еще раз рискнуть померяться силами с бравым сержантом, и стал оглядываться, куда бы отступить. Вооружившись хлыстом, он спрыгнул с возка, остановившегося перед какой-то лавкой, прямо на крыльцо, ударив при этом лошадь так, что та помчала галопом одноколку с сидевшей в ней Мери через расступившуюся толпу. Но если Бертила и хотел найти убежище в лавке, то был обманут в своих ожиданиях, потому что владелец лавки захлопнул двери перед самым его носом. Старый воин, увидев, что путь к бегству отрезан, оперся спиной о дверь и, выпрямившись во весь свой рост, погрозил нападавшим хлыстом.

— Давайте-ка проучим как следует этого зазнайку из Стурчюро! — закричал молодой парень из Лахеймы, который за однуединственную неделю, пока держал в руках мушкет, успел уже позабыть свое крестьянское имя, но не забыл крестьянскую речь.

— Отец твой был куда лучше тебя, Маттс Хендриксон, — презрительно сказал Бертила. — Вместо того чтобы травить своих земляков, он как честный крестьянин помогал нам в прежние времена выколачивать пыль из колетов рыцарей Педера Гумсе.

— Слыхали, ребята?! — воскликнул один из унтер-офицеров. — Этот пес похваляется тем, что задавал трепку храбрым солдатам.

— Не дадим потешаться над собой!

— Попляшет этот мужлан под нашу дудку!

— А вдруг наоборот — плясать под его дудку придется нам?

И пятеро или шестеро самых отчаянных вояк, что сами еще совсем недавно носили крестьянскую куртку, ринулись вперед — стащить Бертилу с крыльца. Старiku пришел бы конец, если бы его вчерашний противник — веселый сержант, не кинулся между ним и нападавшими.

— Стой, ребята! — громовым голосом крикнул Бенгт Кристерсон. — Какого дьявола, о чем вы думаете? Разве так поступают честные вояки? Не видите, что ли, старику семьдесят лет, а вы идете на одного вшестером! Blitz-Donner-Kreuz-Pappenheim!* — Не было случая, чтобы это ругательство не оказало своего разительного воздействия. — Разве это по-солдатски? Как по-вашему,

* Гром и молния! Крест и Паппенхейм! — Нем.

что сказал бы об этом король? А ну прочь с дороги, ребята! Старик мой! Я один имею право переломать ему кости! Видели бы вы вчера, как он поднял меня, словно залатанную варежку, и сбросил с крыльца. Это был поступок, достойный мужчины, и сейчас мы оплатим ему тем же.

Отвага, сила и благородство редко не достигают своей цели. Стоявшие у крыльца охотно расступились. Сержант подошел прямо к Бертиле, и тот мог бы ударить его хлыстом, но не сделал этого. Он хорошо понимал людей.

— Знаешь ли ты, мужлан! — воскликнул сержант так властно и внушительно, что подобная речь была бы к лицу и самому полковнику Стольхандске. — Знаешь ли ты, что значит сбрасывать с крыльца воинов его королевского величества? Знаешь ли ты, что это такое — сбивать шляпу с защитника евангельского учения и покорителя великого немецкого императора?! Того, кто выиграл четырнадцать сражений и пронзил шпагой не то шестнадцать, не то семнадцать живых фельдмаршалов! Знаешь ли ты, что это такое, мужлан? Будь я на твоём месте...

— Будь я на месте воинов его королевского величества, — хладнокровно ответил Бертила, — я выказал бы уважение честному человеку в его собственном доме и старику в его преклонных летах. А будь я Бенгтом Кристерсоном и покори я римского императора, да пронзивши я шпагой семнадцать живых фельдмаршалов, я и тогда бы не забывал, что отец Бенгта Кристерсона, Кристер Нильссон, был крестьянином из Лиминго и пал на льду озера Ильмолы как честный воин, сражавшийся против тирании Флеминга.

Сержант, казалось, смутился. Но всего лишь на один миг. И тут же, подступив вплотную к Бертиле, угрюмо сказал:

— Знаешь что, мужлан, а ведь я могу пронзить тебя шпагой.

С этими словами он наполовину вытащил из ножен свою шпагу. Бертила, скрестив руки на груди, рассматривал его.

— Ты что, не боишься, старик? — продолжал покоритель «Священной Римской империи», явно сбавивший тон при виде твердости старика.

Бертила почувствовал свое превосходство.

— А встречал ты честного финна, который бы чего-нибудь боялся? — слегка улынувшись, спросил старик.

Сержант не был злым человеком. Им мгновенно овладело чувство преклонения перед стариком и желание выказать благородство. Мрачное выражение его лица сменилось дерзко-жизнерадостным.

— Знаете что, ребята, — сказал он, бросив взгляд на своих товарищей, — у этого старого вола есть и рога и копыта. Вчера их было пятнадцать против одного, и вы, ребята, знаете: все четырнадцать работников помогали хозяину взгромоздить меня на коня. Но не думайте: следы от этой встречи остались на теле каждого из них, да, уж не сомневайтесь, вчера я понаставил бы синяков и старику, не случись это в дамском обществе, потому что за столом сидели и девчонки. Однако сегодня нас пятнадцать против одного, и я считаю, что нам надо отпустить этого старого хрыча на все четыре стороны.

— Он богат, как Вельзевул! — закричали несколько солдат. — Пусть выставит нам бочку пива!

Бертила вытащил небольшой кожаный кошелек, достал из него несколько серебряных монеток с изображением Карла XI¹⁰³ и с презрением бросил их в толпу. Это снова разъярило солдат, и множество рук поднялось в воздух и потянулось к старику. Снова готова была разразиться буря... Но тут послышался гром канонады, и вся ватага кинулась бежать в гавань. Это бриг «Мария Элеонора» салютовал Корсхольму.

5. ФРЁКЕН РЕГИНА ПРИБЫВАЕТ В КОРСХОЛЬМ

Все, кто только мог передвигаться, устремились в гавань, чтобы увидеть необычное зрелище — в гавань прибыл военный корабль. Несколько сотен человек рассыпалось по берегу; многие, чтобы быть поближе к кораблю, вышли на веслах в море. Кое-кто влез на мачты стоявших в гавани парусных судов, а кто и на крыши складских помещений. Двести рекрутов со смешанным чувством любопытства, страха и гордости рассматривали корабль, который, быть может, навсегда увезет их из страны предков. А за ними толпились их матери, сестры и любезные их сердцу девицы, проливавшие горькие слезы при мысли о предстоящей разлуке.

Цейхмейстер Ульфспарре был в то время в отлучке в Швеции. Ближайший из его людей, фогт Педер Тун, вместе с другими офицерами встречал вновь прибывших. Новобранцы выстроились шпалерами, а капитан брига «Мария Элеонора» учтиво предложил руку фрёкен Регине, чтобы сопровождать ее в Корсхольм. Однако в эту минуту гордая девушка вспомнила, что она пленница. Отклонив руку офицера, сопровождаемая лишь старой служанкой, с княжеским величием пошла она сквозь строй рекрутов

и зевак из толпы. Это невиданное зрелище вызвало необычайное любопытство жителей маленького городка Васы. В толпе мигом родились и распространились самые невероятные слухи о ее особе. Говорили, будто бы она принцесса Австрийская, дочь самого императора¹⁰⁴, захваченная в плен во время войны и привезенная сюда в надежное укрытие. Некоторые утверждали, что признают в ней королеву Марию Элеонору; но что той делать в Корсхольме?

Я вам скажу, — прошептал с важным видом один горожанин. — Она вместе с немцами, своими земляками, устроила заговор против короля и всего его королевства, и потому-то ее и запрут в таком отдаленном и надежном замке, как Корсхольм.

— Неправда все это, — вступил в разговор третий, получивший от прибывших домой солдат некое смутное представление о покушениях на жизнь короля. Это, — добавил он робко, словно боясь, что его услышит та, о которой он рассказывал, — монахиня из Германии. Иезуиты наняли ее извести короля. Шесть раз пыталась она дать ему смертельный яд, и шесть раз он видел во сне предостережение не пить эту отраву. Когда же она в седьмой раз протянула ему кубок с отравленным питьем, король вытащил свою шпагу и заставил ее саму выпить яд из кубка.

— Так как же она жива-живехонька оказалась здесь? — невинно спросила женщина преклонных лет.

— Жива-живехонька?! — воскликнул, не моргнув глазом, рассказчик. — Да такое случается на каждом шагу! Такие твари умеют представляться так, что... Гляньте-ка, эта черноволосая монахиня бледна как смерть.

— Она дала яд королю?! — воскликнула дрожащим голосом какая-то женщина.

То была Мери; затаив дыхание, она ловила каждое слово.

— Что за болтовня! — возмущился незнакомый шкипер. Вид у него был такой, будто он знает гораздо больше, чем другие. — Когда я по весне был в Штральзунде, я видел эти глаза, которые не так быстро забудешь. Тогда девушку переправляли в Стокгольм, и один из стражников поведал мне ее историю. Она испанская ведьма, которая продала душу дьяволу за то, чтобы семь лет быть самой прекрасной на всем свете. Только взгляните на нее: заметили, дьявол сдержал слово? Но берегитесь, в глазах этих есть мрачная сила: они обжигают и околдовывают. И вот, когда она стала красавицей, она отправилась в шведский военный лагерь и дала королю любовное питье, чтобы он целых семь недель нико-го, кроме нее, не видел и не слышал. А генералы его называли это

позором и стыдом, тем более что неприятель сильно теснил шведские войска. Вот они и схватили ее однажды ночью и тайком отослали сюда, чтобы она все эти семь лет, пока будет самой красивой на свете, посидела здесь, в Корсхольме.

— Король любил ее? — вся трепеща, спросила Мери.

— А я почему знаю? — грубо ответил моряк.

— И она любила короля?

— Ну и ну, разве есть на свете кто-нибудь любопытнее женщин?! Тысяча чертей, откуда же мне знать про это? Дьявол куда лукавее людей, уж это точно. Она подарила королю медный перстень...

— С семью кружками — один внутри другого — и с тремя буквами его двойного имени, выгравированными на...

— Тысяча чертей, да откуда же тебе это известно? О буквах я не слыхал, а вот о семи кружках...

Мери глубоко вздохнула.

— Он все еще носит его... — тихо, с тайной радостью сказала она.

Мери была суеверна, как и все ее современники. Ей и в голову не приходило сомневаться в том, что на свете есть ведьмы, колдуны, колдовство и любовное питье... Но эта мрачная девушка, иноземка, которая любила короля и была любима им... Быть может, она и не виновата во всех этих ужасах, которые ей приписывают? Бедной покинутой Мери овладело страстное желание приблизиться к этому таинственному существу, которое было близко великому королю... Дорога была каждая минута... через несколько часов ей придется вернуться в Стурчюро. Собравшись с духом, она проследовала за чужеземцами в Корсхольм.

Старая губернаторская резиденция, окруженная валами, несмотря на свой приветливый вид, была скорее мрачна и неприглядна, чем пышна и великолепна. Из-за частой смены наместников, которые лишь иногда жили там, высокий каменный в два жилища дом с боковыми флигелями для арестантов был в полном упадке. Строение больше напоминало тюрьму, чем замок могущественного вельможи. Мрачное впечатление усиливалось еще тем, что там обитала ныне суровая и строгая фру Мэрта со своими старухами-служанками, несколькими инвалидами и бородатыми тюремными стражами. Если бы король Густав Адольф помнил, каков этот замок, он явно не стал бы отсылать свою юную пленницу в это угрюмое жилище.

Фру Мэрта была готова к встрече со своей юной гостьей, кото-

рую ей описали как опасную и испорченную особу, настолько хитрую и коварную, что нет для нее ни одного запора, который был бы достаточно надежен, ни одной стены, которая была бы достаточно крепкой и толстой. Поэтому-то она и велела приготовить для фрёкен Регины и ее служанки маленькую темную каморку за опочивальней владелицы замка и намеревалась следить за малейшим движением этой дикой девицы. В глубине души фру Мэрта была честной и справедливой женщиной, правда, властной и непреклонной, воспитанной по старинке. Детей своих она воспитывала с помощью розги и никогда не считала их достаточно взрослыми для того, чтобы выпустить из своих ежовых рукавиц. Ей и в голову не приходило, что одинокая, беззащитная и покинутая девушка, заброшенная в далекую чужеземную страну, нуждается в помощи, в утешении, в материнском участии; фру Мэрта полагала, что строгость и суровость исправят и это избалованное дитя, а потом, считала она, настанет время подумать и о более мягком обращении.

Когда фрёкен Регина, привыкшая к свободе морских просторов, переступила порог мрачного замка, она невольно содрогнулась. Чувство ужаса, охватившее это нежное существо, ничуть не уменьшилось, когда на ступеньках крыльца ее встретила старая госпожа в плотно облегающем голову полотняном чепце и в длинной темной шерстяной кофте.

Возможно, фрёкен Регина несколько чопорно склонила голову, а вся ее осанка была чрезмерно гордой. Но фру Мэрту не легко было испугать. Она взяла молодую девушку за обе руки, крепко пожала их и кивнула ей, что означало нечто среднее между «Добро пожаловать!» и «Берегись!» Затем она смерила гостью взглядом с головы до ног и в конце концов негромко произнесла:

— Фигура, рост — словно у принцессы... ну, это ладно; глаза черные, как у цыганки... это тоже ладно, кожа белая, как молоко... и это ладно, гордая... ай, ай, вот это уже худо; об этом придется потолковать, мой дружок.

Лицо Регины выразило нетерпение и желание поскорее уйти. Но фру Мэрта была не из тех, кто легко выпускает добычу из рук.

— Немножко подожди, милочка, — сказала суровая госпожа, пытаясь вспомнить хоть какие-нибудь немецкие слова, которые еще хранились в дальних уголках ее памяти.

— Тише едешь, дальше будешь! Тот, кто переступает через мой порог, не должен быть выше косяка моей двери. Лучше склоняться

в юности, чем ползать в старости. Вот так... вот так должны здороваться молодые с теми, кто старше и умнее их...

И не успела Регина понять, что ее ожидает, как старая госпожа уже крепко пригнула своей сильной правой рукой ее шею, а левой обхватила талию и быстро заставила эту гордую девушку склониться в глубоком поклоне.

Бледные щеки фрёкен Регины покрылись густым румянцем. Девушка выпрямилась, и ее темные глаза метнули молнии. Старуха Дорте сочла себя обязанной от имени своей властительницы преподать фру Мэрте урок вежливости. Взойдя на крыльцо, она закричала вне себя от гнева:

— Ах ты, тварь, ах ты, мерзкая финская ведьма! Как ты смеешь так бессовестно обращаться с высокородной фрёкен! Знаешь ли ты, жалкая тюремщица, кого имеешь честь принимать в своем доме? Не знаешь? Ну так я тебе скажу! Пред тобой ее светлость благородная и именитая фрёкен Регина фон Эммериц, урожденная княжна фон Эммериц, Гогенлоэ и Заальфельдт, графиня фон Вертхейм и Бишофсхёйе, наследница Деттельсбаха и Киссингена... Ее отец — светлейший князь фон Эммериц, у которого было больше замков, чем у тебя, оборванки, твари и ведьмы, лачуг в твоём городе. Ее матушка была принцесса Вюртембургская, состоявшая в родстве с домом баварского курфюрста, а ее еще ныне здравствующий дядюшка, брат матушки, — высокороднейший достопочтеннейший архиепископ княжества Вюрцбург, владелец Мариенбурга и города Вюрцбурга с окрестными землями. Ты задрала нос оттого, что твой еретик-король захватил нашу страну и наш город и взял в плен нас самих! Но настанет день, когда святой Георгий и Пресвятая Дева сойдут с небес и уничтожат вас, язычники проклятые! И если хоть один волос упадет с наших голов, мы сравняем этот замок с землей и уничтожим и тебя, жалкая ведьма, и весь твой город!

Красноречию старухи Дорте явно еще долго не было бы конца, если бы фру Мэрта не сделала знак своим слугам, после чего те подхватили старуху и увели ее, несмотря на сопротивление, в одну из маленьких каморок, где предоставили ей возможность наедине с собой вспоминать остальные титулы знатных родственников своей госпожи. А фру Мэрта ласково, но повелительно взяла под руку потрясенную Регину и повела ее к своим покоям. Здесь суровая госпожа оставила ее одну. Однако уже в дверях Мэрта не преминула высказать Регине еще несколько поучений:

— Должна сказать тебе, друг мой, послушание куда лучше, чем

слезы; пташка, что распевает рано поутру, к вечеру уже попадает в когти ястреба. И в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Сейчас семь часов вечера. В восемь тебе подадут ужин, в девять ты ляжешь спать, в четыре утра встанешь. А если ты не умеешь ни чесать шерсть, ни прясть, тогда станешь шить белье, так что тебе не будет скучно. Потом мы побеседуем, а когда твоя служанка выучится держать язык за зубами, она снова вернется к тебе. Спокойной ночи! Не забудь прочитать вечернюю молитву. Молитвенник лежит на ночном столике.

С этими словами фру Мэрта заперла двери, и фрёкен Регина осталась одна. Одинокая, беззащитная, в плену, далеко-далеко в чужеземной стране, отданная на произвол жестокой тюремщицы! Мысли девушки были не из веселых. Упав на колени, фрёкен Регина стала молиться всем святым, но читала не молитвы из еретического молитвенника, а молилась, перебирая четки из рубинов, которые некогда подарил ей ее дядя-епископ. Она просила святых о помощи, она молила о победе истинной веры, об искоренении ереси; она молила также об обращении ума и души Густава Адольфа к единственной дарующей вечное блаженство церкви, о том, чтобы он, этот второй Савл, непременно стал бы вторым Павлом. А в конце она молила также о своей свободе и о защите... Время шло... ей принесли ужин, но она даже не заметила этого.

Фрёкен Регина выглянула в маленькое оконце. Там, освещенный золотыми лучами заходящего солнца, расстился мирный ландшафт: незнакомая местность, тихий залив, позолоченная гладь вод. Это не цветущая, зеленеющая Франкония, где уже начал созревать виноград. Это и не стремительный, бурный Майн, не богатый Вюрцбург с его плотными рядами монастырей и высокими шпилями башен. То была бедная Финляндия, нарождающийся маленький городок Васа с его древней церковью Мустасаари, старейшей в Эстерботтене. Солнце сверкало в маленьких готических остроугольных окошечках с витражами времен католичества. И Регине показалось, будто она видит просветленные лики и взоры святых, выглядывавших из своих прежних храмов. А разве заходящее солнце не было в этот миг оком святого, взиравшего с чувством блаженного покоя вниз на суетность мира и на все его битвы! Все было так тихо, так умиротворяюще: сияние солнца, яркая зелень, плотным ковром покрывавшая ландшафт, нивы, с которых совсем недавно был убран урожай, ряды копен, маленькие красные домики со сверкающими стеклами — все призывало к благоговению и покою.

И вдруг фрёкен Регина услышала в отдалении нежную меланхолическую песнь, простую и бесхитростную. Но этим пустынным безлюдным вечером песня, казалось, доносилась из глубин самой природы. Пели на берегу отдыхающего от дневных трудов моря, когда все самые сладостные, самые заветные воспоминания воскресают в тоскующей душе. Вначале Регина не прислушивалась к звукам этой песни, но песня все приближалась... и девушке чудилось, что поет ее то стена какой-то лачуги, то купа плакучих березок... А порой песня звучала вольно, высоко и звонко, можно было расслышать ее слова...

6. КАК ЛЮБЯТ НА ЮГЕ И КАК НА СЕВЕРЕ

Когда одинокий голос приблизился, Регина смогла разобрать слова. Мягкой и нежной была, должно быть, эта душа, изливавшая в бесхитростных, но сердечных песнях свои горести и свою страстную тоску на берегу тихого залива в сиянии чудесного августовского вечера в дальней-предальной северной стороне.

А солнце сияет над нашей землей
и радуется поле, моря и леса,
а вечером кроткая всходит луна,
чтоб вновь осветить небеса.
Но дева покинутой нечего ждать,
и солнца не в радость ей свет.
Ее гордый рыцарь забыл-разлюбил,
а счастья без милого нет.
А друг мой любезный, единственный мой,
он в замке живет неприступном своим;
оставил меня с моей горькой судьбой,
и нет мне покоя ни ночью, ни днем.
В веселье и неге мой милый живет,
есть сотни друзей у него.
А девица, слезы роняя, поет:
«Люблю лишь тебя одного!»
А вольная птица пустилась в полет
и мчится на запад к тебе,
на ветку опустится, песню споет
о девичьей горькой судьбе.
Он песню услышит, и сердце замрет,
к щекам прильет алая кровь.
Но песня забудется, вечер уйдет,
как счастье уходит, уходит любовь...

Чем дольше прислушивалась фрёкен Регина к этим немудреным звукам, таким чуждым для нее, тем сильнее трогало ее заключенное в них безысходное горе, так похожее на ее собственное. Ее охватило страстное желание подышать свежим вечерним воздухом; она долго не могла открыть маленькое оконце. Крючки оконца были изъедены ржавчиной, и в конце концов молодой девушке удалось его открыть.

Сердце Регины забилося сильнее, взгляд снова загорелся, в мысли закрались мечты. И Регина тихо, чтобы ее не услышала корсхольмская тюремщица, запела:

Дева Святая,
Тебе, страдая,
я поверяю мечту свою.
Люблю я славу
не для забавы,
но больше жизни его люблю.
Мой рыцарь милый
с волшебной силой
блистает ярче земных царей.
Велик в сражении
во всепрощении
и в искуплении вины своей.
Но коль посмеет
забыть он клятву
и мне изменит когда-нибудь,
я все забуду
и мстить я буду,
кинжалом острым ударю в грудь!
Святая Дева,
не дай мне гнева,
слепого гнева в пылу излить.
А коль он грешен,
молю, позволь мне
своею жизнью грех искупить!

Женщина-простолюдинка с некогда прекрасными чертами лица, покоряющими еще и сейчас своей добротой, приблизилась к стенам замка. Вне сомнения, она пыталась уловить слова песни, но это ей не удавалось, так как девушка пела приглушенно и на чужом языке. Тогда женщина села на камень неподалеку от стены и стала смотреть на оконце, у которого стояла пленница. Казалось, они полностью понимали друг друга, потому что их песни не нуждались в переводе: их пели на языке сердца. А быть может, им

обеим что-то говорило, что обе они любят одного и того же человека; и обе они пели о крушении своей любви, о мечтах, развеявшихся, как дым, на дальнем берегу.

На далеком севере летние светлые и ясные ночи стоят до самого начала августа, когда после заката солнца легкая прозрачная дымка начинает окутывать берега и заливы. Сейчас, в середине августа, эта дымка начинала уже сгущаться и набрасывала мягкую и нежную тень на окрестные рощи с их еще по-летнему зеленой листвой. А когда над этим миром зелени, которая скоро начнет увядать, восходит луна, то во всей природе не найдется ничего более скорбно-прекрасного, чем вот такой августовский вечер, ибо глаз, привыкший к бесконечно тянущемуся целых три месяца дню, вновь встречается с ночной мглой. И эта тьма подобна тихой грусти, озаренной блеском небесных светил. Это впечатление повторяется каждый год, сколько бы столетий ты ни прожил на свете: свет и тьма постоянно сражаются за обладание миром и человеческим сердцем.

Обе женщины тоже подпали под власть августовского вечера. Тихо, молча и неподвижно сидели они, разглядывая друг друга в надвигающейся темноте сумерек; ни одна из них не произнесла ни слова, и все же каждая ощущала малейшее биение сердца, понимала любую задушевную мысль другой.

Внезапно женщина, сидевшая за стенами замка, поднялась и прислушалась к звукам, неожиданно нарушившим благоговейный покой мирного вечера.

Фрёкен Регина внимательно следила за движениями незнакомки и высунулась из окна, чтобы лучше видеть. Вечер был тих и спокоен, только вдали, в море, слышались порой удары весел о воду да унылые звуки рожка. Эта тишина, помноженная на необычайность первого осеннего мглистого вечера, таила в себе нечто благоговейное, внушающее уважение. Тем более странным показался отдаленный гул, разорвавший тишину в той стороне, где был город. Это не был ни шум моря, ни грохот водопада, ни треск отдаленного лесного пожара. Скорее всего то был гул взволнованной толпы, охваченной бешенством и скорбью... А сразу же вслед за шумом далеко, в северной части города, появилось зарево пожара. С быстротой ветра помчалась одинокая фигура за стеной башни туда, откуда грозила опасность.

А нам хочется на миг опередить ее.

Прибытие военного брига, который должен был увезти рекрутов, привело этих молодцов в волнение и тревогу, которые все

росли и росли, приумножаемые гордостью, горечью расставания и пивом. Во главе со своим унтер-офицером теснились новобранцы вокруг кабачков. В те времена, когда слово «солдат» означало все самое главное на свете, приходилось часто смотреть сквозь пальцы на их выходки, чтобы поддержать в них бодрость духа. Высшее командование делало вид, будто не замечает, что двести молодых парней в боевом задоре, свойственном эстерботтенцам, напиваются сверх всякой меры. Это привело к тому, что едва сдерживаемые страсти окончательно разгорелись. Храбрый сержант Бенгт Кристерсон не пропустил удобного случая, чтобы удовлетворить свое честолюбие и воздать самому себе всяческую хвалу. Захваченный мыслью о своем высочайшем достоинстве и величии, он влез на стол и вполне обоснованно доказал своим новым братьям по оружию, что, во-первых, это он завоевал Германию, во-вторых, что он вообще уже давным-давно живьем загнал бы императора Фердинанда в реку Дунай, если бы тот не заключил союз с дьяволом и не заколдовал всю шведскую армию во главе с самим королем, в-третьих, что ночью после бала, который устроили в их честь франкфуртские горожане, Бенгт собственной персоной стоял на страже подле королевской опочивальни и своими глазами видел, как Вельзевул в обличье юной девушки учинил там адский переполох, а в-четвертых, — к этому выводу сержант пришел, само собой разумеется, под влиянием минутного вдохновения, — что благополучие и благосостояние всего их государства, а также всего света висит на волоске и зависит от этой самой мерзкой колдуньи, которая взята в плен и сидит сейчас за стенами Корсхольма.

— Как бы эта черноволосая ведьма не накликала на наш город чуму, — задумчиво вставил один растрепанный белобрысый житель Малаксбу.

— Да она — оборотень в обличье женщины!

— Убийца короля!

— Неужто мы потерпим, чтобы она сидела в мире и покое и заколдовывала и короля, и всю страну с помощью своих чар?! — закричал спившийся волостной писарь, присоединившийся ко всему этому почтенному обществу.

— Утопим ее в море! Забьем ее на месте дубинками! А если нам ее не выдадут, мы подожжем Корсхольм и одним махом уничтожим и сову, и ее гнездо! Уж лучше это, чем гибель всей страны! Пустим красного петуха! Факелы сюда! — закричали новобранцы.

— На Корсхольм! — зашумела толпа.

И подстрекаемые своими собственными словами, люди устремились к большому открытому очагу и стали растаскивать горящие головни. На беду, множество куделей льна было развешено по стенам лачуги. Один из рекрутов швырнул спяна свою головню в стену лачуги, да так высоко, что лен вспыхнул. Сильный порыв ветра из дверей раздул огонь, и через несколько мгновений весь кабачок был обжат пламенем.

Все, кто был там, успели выбежать за дверь, даже не поняв, что произошло.

— Это ее колдовские проделки! — кричал кто-то из рекрутов.

— Ну и поплатится же за это ведьма из Корсхольма! — подхватили другие.

И вся рассвирепевшая, беснующаяся орава поспешила бегом к древнему замку.

7. ОСАДА КОРСХОЛЬМА

Едва Мери (одинокая певица была именно она) поняла намерения разъяренной толпы, как с быстротой ветра кинулась окольными путями обратно в Корсхольм. При свете августовской луны Мери отчетливо различила в оконце замка темные локоны Регины. А под этими локонами сверкали глаза — мечтательные, глубокие, напоминающие мерцание звезд, отражающихся в черном зеркале ночного моря. Слова замерли на губах бедной Мери, все самые невероятные слухи воскресли в ее памяти и встали перед ней, словно призраки. Неужто эта сидевшая наверху в одиночестве в густой тени у окошка девушка в самом деле ведьма из южных краев? Неужели она оборотень в обличье женщины, неужто она колдунья, оплакивающая свою судьбу и вынужденная пережить в этих стенах семь лет подаренной ей красоты и только потом снова стать той, кем была?

Мери, словно окаменевшая, стояла у подножья холма. Между тем рокот обезумевшей толпы слышался все ближе и ближе, уже виден был отсвет пылающих головней, приближавшихся к замку. Тогда суеверная крестьянка, совладав с собой, возвысила голос настолько, чтобы ее могла услышать девушка в окошке:

— Бегите, ваша светлость, — быстро сказала она по-шведски, — бегите, вам грозит страшная опасность, солдаты совсем озверели

и ума решились. Говорят, вы хотели убить короля, и теперь они требуют взамен вашу жизнь.

Регина смотрела на гавань, озаренную бледным светом луны, и в ее воображении вставали легенды и предания, слышанные ею об этой стране колдунов. Пребывая уже целых десять месяцев среди шведов, она немного научилась понимать их язык; она не сразу уловила смысл того, что говорила ей женщина, но одного слова было достаточно, чтобы привлечь внимание Регины.

— Король? — переспросила она на ломаном шведском языке. — Кто ты такая и что можешь сказать мне о великом Густаве Адольфе?

— Не теряйте ни минуты, ваша милость! — продолжала Мери. — Они уже у ворот, и фру Мэрта со своими шестью стражниками не в силах защитить вас от двухсот человек. Быстрее! И если вам не выйти через дверь, то свяжите вместе простыни со скатертями и спускайтесь вниз через окошко, я подхватю вас.

Регина начала уже понимать, что ей грозит какая-то опасность, но не испугалась, а слушала слова Мери с тайной и смутной радостью. Ведь она была мученицей за веру, заброшенной в эту дикую страну за свое рвение и желание обратить в эту веру могущественнейшего врага ее церкви. Может статься, теперь настал час, когда святые удостоят ее венца мученицы, завоеванного ею ценой жизни. Зачем же бежать от этой чести, которую она совсем недавно воспевала сама? Уж не сам ли лукавый дьявол-искуситель явился к ней в образе этой бледной женщины, желая лишить ее непреходящей славы и блаженства? И Регина ответила:

— *Et dixit diabolus: da te praecipitem ex hoc loco, nam scriptum est: angelis suis mandavit de te, ut te tueantur: ne ullo modo laedaris**.

В тот миг, когда она произносила эти слова, луна выступила из-за угла крепости и проплыла, отбрасывая свой печальный свет на прекрасный лик девушки. Щеки ее пылали, глаза горели, озаренные блеском мечты. Мери, преисполненная изумления и страха, разглядывала Регину... и ей снова почудилось, что тут дело нечисто; разве земное существо может обладать столь необыкновенным взглядом? И произносить чуждые иноземные звуки? Охваченная неописуемым ужасом, Мери, сама не зная почему, помчалась обратно в город.

* И говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею (Мф. 4, 6).

Между тем наверху в своей каморке Регина услышала гул со двора замка. Пьяная толпа с шумом и криками остановилась перед крепко запертыми воротами, угрожая не оставить камня на камне, если им сейчас же не будет выдана мерзкая троллиха. Однако фру Мэрта, лишь недавно пробудившаяся от своего сладкого сна, была не из тех, кого можно легко запугать. В дни молодости ей довелось пережить немало осад, и, как умная комендантша, она понимала, что крепость не падет от одних лишь громких слов. «Кто выигрывает время, выигрывает все», -- подумала фру Мэрта и повелела вступить в переговоры о капитуляции, потребовав, чтобы осаждавшие крепость объяснили, что им, собственно говоря, надо. Тем временем в замке отыскиали полдюжины заправленных мушкетов, которыми и вооружили инвалидов замка; шестерым же солдатам-тюремщикам были выданы дубины и пики; даже служанкам приказали взяться за коромысла -- оружие, благодаря которому во времена Дубинной войны не один из конников Флеминга был обращен в бегство. Вооружившись таким образом, фру Мэрта подошла к воротам с внутренней стороны замка и начала отчитывать нападавших:

— Вы, ополоумевшие болваны! -- кричала храбрая госпожа, употребляя скорее крепкие, чем изящные выражения. -- Чтoб черт побрал вас всех, пропойцы несчастные, бездонные пивные бочки! Убирайтесь отсюда сию же минуту, а не то клянусь: не будь я Мэрта Ульфспарре, если мистер Ханс не прогуляется по вашим спинам. Архибестии вы окаянные, пьяницы безбожные, негодяи и бродяги ночные!

Мистер же Ханс был внушительных размеров хлыстом из плетеного тростника, который фру Мэрта редко выпускала из рук и к довольно выразительным поучениям которого все обитатели замка питали глубочайшее уважение. Но может статься, что галдящая толпа не ведала о превосходнейших качествах мистера Ханса, а может, слова фру Мэрты из-за страшного шума слышали лишь стоящие впереди, -- как бы то ни было, толпа с громкими выкриками продолжала папирать, и толстые сосновые доски ворот уже начали трещать и поддаваться.

— Выдать нам мерзкую колдунью! -- орали самые одержимые, а некоторые из них уже начали бросать головни в ворота, собираясь их поджечь.

На валу замка были две грубой, топорной работы пушки времен Густава I, и звались они «Ястребок» и «Голубка». Фру Мэр-

та совершенно справедливо рассчитала, что канонада со стороны вала не только произведет «приятное» впечатление на врагов, но и послужит призывом о помощи: вызовет подкрепление с военного брига и из города. Поэтому она приказала двум стражникам пробраться туда под покровом ночи, зарядить «Ястребка» и «Голубку» и как только начнется канонада, — разумеется, холостыми зарядами, как можно быстрее убраться назад, в замок.

Ответ на эти действия был мгновенным. Шум и крики внезапно стихли, а уж фру Мэрта никак не могла упустить такого удобного случая.

— Слышите вы, ворье окаянное! — закричала она, взобравшись на лестницу. — Если вы сию же минуту не уберетесь от замка его королевского величества, я прикажу расстрелять вас из пушек. Да так, что от вас мокрое место останется, свиньи пьяные! Вам, видно, невдомек, что со злых собак всегда спускают шкуру, а цыпленку, который сует голову в пасть лисы, потом долго приходится оглядываться, чтобы узнать, куда подевалась его голова! Я прикажу разрубить вас на мелкие куски, олухи вы поганые! — все более возбуждаясь, продолжала фру Мэрта. — Я сделаю из вас сусло и брошу вас...

К несчастью, отважной комендантше не удалось закончить свой героический монолог. Кто-то из толпы нашел на земле гнилую репу и с такой точностью швырнул ее в сверкающий белизной ночной чепец, что фру Мэрта, получившая удар прямо в лоб, была вынуждена убраться восвояси и впервые в жизни не смогла договорить последнюю фразу до самой точки. В толпе раздался такой неудержимый хохот, что с этой минуты почтению, которое питали к фру Мэрте, был нанесен непоправимый ущерб. Толпа с новыми силами начала штурмовать ворота: железные петли погнулись, доски поддались, и наконец одна створка ворот с ужасающим грохотом упала, а вся орава осаждавших замок ворвалась во внутренний двор.

Теперь можно было держать пари, что фру Мэрта будет вынуждена капитулировать. Но нет, она двинулась со своим войском во внутренние покои замка, заперла на засовы и забаррикадировала входную дверь и расставила стрелков в окнах, пригрозив убить первого же, кто сделает малейшую попытку ворваться в замок. Такая решительность и непоколебимое мужество в любом

другом случае произвели бы должный эффект, но уверенная в собственном превосходстве кричащая толпа ничего не видела и не слышала. Стоявшие в первых рядах начали железным багром наносить удар за ударом в запертую дверь...

Но тут в крайних рядах поднялся переполох, раздались крики... Вся дорога, насколько хватало глаз в неверном лунном свете, была заполнена солдатами; они двигались плечо к плечу, мушкет к мушкету. Казалось, будто из-под земли выросло целое войско, чтобы окончательно уничтожить дерзких нарушителей мира и спокойствия. А может статься, это были бесплотные, бескровные тени всех давным-давно почивших воинов Корсхольма, которые поднялись из своих могил — отомстить за произвол и насилие, учиненное в старой крепости.

Чтобы объяснить неожиданное зрелище, которое представилось взорам штурмовавших крепость, следует вспомнить, что большая часть простолюдинов из окрестных приходов потянулась в город, чтобы увидеть, как отчаливает бриг с новобранцами. Крестьянский король из Стурчюро тоже остался ночевать в городе, очевидно, в тайной надежде услышать от кого-нибудь из экипажа «Мария Элеонора» новости о Бертеле. Пожар в солдатском кабаке и поход беснующейся толпы на Корсхольм привели в движение весь город Васу. И когда Мери примчалась туда и стала умолять отца спасти пленную девушку, то множество ушей слышало ее слова. Эстерботтенцы всегда были готовы вступить в драку; а когда крестьяне услышали о бесчестии, недавно нанесенном Бертиле, первому среди них человеку, в них пробудилась прежняя злоба против солдат. Они забыли, что многие из крестьян — их собственные сыновья и братья — недавно надели мундир рекрута. И они никак не могли упустить такой великолепный случай, чтобы во имя человечности и в защиту королевского замка задать хорошую трепку солдатам. Человек сто во главе с Бертилой выступили в поход на подкрепление, чтобы помочь обитателям замка. А то, что при лунном свете можно было принять за пики и мушкеты, были колья и шесты, выдернутые из усадебных заборов — обычное оружие в крупных баталиях здешних мест.

Как только солдаты заметили, что на них нападают снаружи, они попытались скрыть свое замешательство под громкими криками и страшными угрозами. Не зная, насколько силен враг, мно-

гие из них начали уже подумывать об осторожном отступлении через частокол, увенчанный шипами; другие думали, что навлекли на себя целую армию призраков, вызванных сюда заклинаниями мерзкой иноземной колдуньи, что вселило ужас в души самых мужественных из них. Но вскоре они отказались от своего заблуждения, услышав хорошо знакомые звуки шведской речи обитателей Малаки и финской — жителей Лильчюро; ругательства и проклятия скорее всего могли срываться с уст людей, а уж никак не призраков. Когда неприятель заполнил ворота, с обеих сторон установилась, словно по обоюдному соглашению, тишина. И в этой тишине можно было ясно различить один голос, доносившийся из окон замка, и еще один — с вала за крепостными стенами; и оба голоса раздавались одновременно.

Ну, не говорила я вам! храбро кричала из окна фру Мэрта. -- Ну, не говорила я вам, пьяные вы рожи, ворье, бродяги, что надо семь раз подумать, прежде чем сунуть нос между клином и деревом, в которое клин забивают. А если хвост попадет в лисий капкан, то останется только откусить этот хвост, другого средства нет. Любишь кататься, люби и саночки возить! А теперь расхлебывайте кашу, которую сами заварили!

И с этими словами фру Мэрта отступила подальше в комнату, видимо, опасаясь нового приветствия в виде гнилой репы.

С вала за стенами замка был слышен могучий голос старика, кричавшего солдатам:

— Сложите оружие и выдадите зачинщиков, тогда остальные смогут беспрепятственно уйти! Если же нет, тут пойдут такие пляски, каких Корсхольм еще не видывал, а уж мы позаботимся о том, чтобы как следует наладить смычки скрипок.

— Пусть дьяволы заберут тебя, мужлан ты этакий, олух неотесанный! — ответил со двора голос, по которому сразу же можно было узнать веселого сержанта Бенгта Кристерсона. — Попадись ты мне в лапы, научил бы я тебя — Blitz-Donner-Kreuz-Parpenheim! — предлагать честным солдатам капитуляцию, достойную лишь трусов! Вперед, ребята, освободим ворота и прогоним весь этот сброд обратно, пусть возвращаются к своим котлам с кашей!

К счастью, ни у кого из солдат не было при себе огнестрельного оружия и лишь у немногих были шпаги либо мечи, а рекруты вообще не успели получить оружие. Большая же часть толпы была вооружена уже погасшими головнями и несколькими обломками оглобель, да еще поленьями, вытащенными наспех из

стоявших тут же на дворе пленниц. И вот, экипированная таким образом толпа принялась штурмовать ворота. При первом столкновении на солдат посыпался такой страшный град ударов кольями и палками, что многие были ранены и, окровавленные, отправились обратно в город. А вскоре давка в воротах стала настолько невыносимой, что ни одна рука не могла уже подняться, чтобы нанести удар. И только между стоявшими впереди возникла ожесточенная рукопашная, а задние напирали на них с обеих сторон и под конец сдавили так, что никто уже больше не мог двинуть ни рукой, ни ногой и многим грозило быть задавленными насмерть. Руки с железными мускулами тщетно пытались опрокинуть недруга, а широкие плечи — так же тщетно проложить себе путь через плотную массу людей. Наконец передние ряды крестьян подались. Они были рассеяны или опрокинуты, и примерно половина солдат проложила себе путь на более свободное пространство за валом, меж тем как другой половине, снова запертой сомкнувшимися рядами крестьян, пришлось остаться во внутреннем дворе замка.

И тут началась настоящая битва. Дрались кольями и поленьями, хлыстами и кулаками. Град ударов сыпался на противника; здесь совершалось множество подвигов, более уместных на поле битвы в Германии. Силы солдат, хотя и превосходившие силы крестьян, были отрезаны друг от друга воротами, и вскоре крестьяне стали одолевать своих недругов. Самые молодые из рекрутов обратились в бегство, других тоже одолели, хорошенько поколотив, крестьяне. А привычные к войне старые солдаты отступили к валу, чтобы за спиной не было неприятеля, и защищались с отчаянной храбростью. Победа, казалось, уже решительно склонялась на сторону крестьян, когда битва разгорелась с новой силой: часть солдат, запертых во дворе, вырвалась за ворота на помощь своим товарищам, а они еще яростнее напали на крестьян. Драка все разгоралась, уверенность в победе становилась все более прозрачной, и обе стороны старались отомстить за обиду. Ожесточение с обеих сторон росло.

А над всем этим зрелищем, над оглушительным шумом и стонами, над сетованиями, над победными криками, угрозами и безумной враждой, подобно небесному оку, ясный серебристый августовский месяц освещал землю с ее горем, страхом и бедами, которые она заслужила. Воды залива сверкали при свете месяца; в листьях деревьев и во влажной траве жемчужинами мерцали

миллионы капель росы, окаймленные зеленью позднего лета. Вся природа дышала покоем; мягкая прохлада, принесенная сверкающими волнами с запада, нежно оведала прибрежные селения. Издали слышался однообразный шум прибоя; волны ударяли о берег, а вечерние звезды, тихие и мерцающие, смотрели вниз в темные зеркала вод.

Когда двор опустел, фру Мэрта и ее слуги снова осмелились выйти из замка, чтобы наблюдать за битвой на валу. Храбрая госпожа считала себя, очевидно, обязанной принять участие в сражении, но только на свой лад. И все отчетливо услышали, как она кричит крестьянам:

— Молодцы, ребята! Бейте в барабан! Задайте работу вашим смычкам и палкам, многие плясали под музыку куда более скверных скрипок! — А солдатам она кричала: — Берегите здоровье, детки, угощайтесь, правда, ужин легкий! Корсхольм приглашает вас, чем богаты, тем и рады! Будьте спокойны, ваша колдунья под надежной охраной! Замки и засовы в Корсхольме — крепче не бывает. И для вас тоже замков хватит, негодяи вы этикие!

Но переменчивая фортуна пожелала уличить почтенную госпожу во лжи и подвергнуть осмеянию принятые ею меры предосторожности. В тот же миг все увидели на вершине одного из валов на фоне озаренного луной неба резкие очертания черной высокой фигуры.

Фру Мэрта почувствовала, как замерли от удивления слова на ее устах, когда в этой фигуре она узнала свою пленницу, находившуюся, по ее мнению, под надежной охраной! Как фрёкен Регине удалось выйти на свободу, несмотря на запертые двери и окна, было для добрейшей госпожи столь непостижимой загадкой, что она мигом уверовала в связь чужеземки с нечистой силой. Она совершенно забыла отдать приказ схватить беглянку и ждала, что вот-вот увидит, как огромные черные крылья вырастают на спине девушки, и Регина в обличье громадной вороны взмывает к усеянному звездами небесному своду. Однако читатель найдет более простое и вполне естественное объяснение происходящему. Оба пушечных выстрела донеслись даже до одинокой каморки Регины. Каждую минуту она ждала, что ее вот-вот схватят палачи и потащат на верную смерть. И таким прекрасным казался ей жребий умереть за свою веру, что она ждала этого с нетерпением, усиливавшимся при каждом бряцанье оружия. Однако прошел целый час, но никто так и не приблизился к ее дверям. Наконец в ее

мечтательной головке зародилась мысль, что князь тьмы завидует ее чудесному жребию и что битву внизу затеял он, чтобы вместо овечьей славой мученической кончины уготовить ей угасание в темнице без пользы и радости. Она вспомнила совет женщины, которая пела у нее под окном, спуститься вниз через открытое окно. Через несколько минут Регина уже стояла на валу на виду у всех.

Стоило сражавшимся заметить ее высокую фигуру, залитую лунным светом, как их охватил суеверный ужас, который только что точно так же заставил замолчать острую на язык фру Мэрту. Битва приостановилась сама собой и продолжалась еще только в самых отдаленных уголках; защитников замка и их недругов, казалось, охватил общий ужас, и вокруг вала воцарилась такая глубокая тишина, что слышно было издалека, как глухо бьются о берег морские волны, как шумит прибой. Регина заговорила таким громким и ясным голосом, что не будь ее шведский язык таким ломаным, его, вероятно, хорошо поняли бы все стоявшие вокруг.

— Вы, исчадия ада! — сказала она. Голос ее, вначале мягкий и дрожащий, вскоре окреп и стал тверже. — Вы, еретики, почему медлите, почему не отнимаете у меня жизнь? Я стою здесь перед вами безоружная, беззащитная; надо мной лишь высокое небо, а у ног моих лишь земля да море! И я говорю вам: ваш Лютер был лжепророком, вечное блаженство дарует только правоверная и единая католическая церковь. А потому обратитесь к Пресвятой Деве и всем святым, а также признайте папу — наместника Христа на земле, дабы хоть в какой-то мере отвратить от себя меч святого Георгия Победоносца, который уже занесен и готов поразить вас. Меня вы можете убить, я стою здесь, перед вами, почему вы медлите? Я готова отдать жизнь за свою веру!

К счастью фрёкен Регины, речь ее не была понята теми, кому она предназначалась. Ибо приверженность лютеранству в те горячие времена, когда целые государства и отдельные люди жертвовали своим благополучием и жизнью во имя этого учения, была столь сильна, что даже самые ничтожные и самые невежественные были пламенными поборниками этой веры и слепо ненавидели папу и его приверженцев... Если бы в разъяренной толпе — будь там крестьяне или солдаты — услыхали, как Регина превозносит папу и объявляет Лютера лжепророком, ее неминуемо разорвали бы на куски. Теперь же люди видели ее уверенную осанку и понемногу прониклись к ней уважением, которое всегда внушает

мужество человека, попавшего в беду. И все это не могло не оказать влияния на недавно столь возбужденную толпу, которая засыпала теперь в нерешительности и растерянности, не зная, что и думать и как поступить. Фрёкен Регина стояла неподвижно, тщетно ожидая, что ее потащат на казнь. Потом, спустившись с вала, она вошла в толпу, которая в страхе расступилась перед нею; каждый видел, что она совершенно беззащитна, и все-таки ни одна рука не поднялась, чтобы схватить ее.

- Это не человек из плоти и крови, это призрак, задумчиво сказал один. — Мне кажется, я вижу, как сквозь нее просвечивает луна.

- Это мы сейчас посмотрим! — воскликнул растрепанный крестьянин и положил свою тяжелую руку на плечо Регины.

Момент был критический. Молодая девушка обернулась и посмотрела прямо в лицо своего обидчика таким глубоким взглядом темных блестящих глаз, что тот, охваченный каким-то странным чувством, отдернул руку и пристыженно юркнул в толпу. За ним последовала большая часть стоявших поблизости. Никто не мог объяснить, в чем заключается сила этих черных глаз, озаренных лунным сиянием в темной ночи, но все испытали ее на себе.

Через несколько минут площадь вокруг Регины опустела, битва прекратилась, а подоспевший патруль положил конец беспорядкам, арестовав самых заядлых зачинщиков.

Но еще долго продолжалось это порожденное Дубинной войной соперничество между крестьянами и солдатами, между пресловутым трудолюбивым плугом, гордостью Финляндии, и всепобеждающим мечом, с которым шли в это время в поход, чтобы усмирить самого императора.

Нам остается лишь упомянуть, что Регина в тот раз охотно, однако не без вздоха сожаления по утраченному ею венцу мученицы, позволила отвести себя в мрачную одинокую тюремную каморку под надзор фру Мэрты. Бертила же со своей дочерью возвратились в Стурчуро: старик — с мыслями о грядущем величии, дочь — с воспоминаниями о былых радостях. И если дозволено будет напомнить, все это произошло в течение двух летних дней 1632 года, стало быть, незадолго до кончины короля Густава Адольфа, о которой рассказывалось в конце нашего первого повествования.

Шли дни, проходили месяцы, и человеческие судьбы меняли свои очертания, а беглое слово было вынуждено задержать свой

полет и смолкнуть на миг в ожидании грядущих вечеров. Ибо каждый рассказ фельдшера длился, подобно детским радостям и горестям, всего один-единственный вечер — достаточно краткий срок для тех, кто сочувственно слушал их, и, быть может, слишком длинный для других. Но никогда нить повествования не прерывалась на середине без того, чтобы и молодые, и старые не подумали: «Но ведь рассказ еще будет продолжен!..» И фельдшер должен был это обещать. Ему было что порассказать, чтобы спрясть нить судьбы двух родов, и если не до самого конца, то уж, во всяком случае, до тех пор, когда станет ясно, что пряжа достигла нужной длины.





ТРЕТИЙ РАССКАЗ ФЕЛЬДШЕРА



Прошло около шести недель, прежде чем большие и малые охотники до сказок снова собрались слушать фельдшера. Дело в том, что за это время со стариком Бекком случилась одна история. У каждого человека, в особенности у старого, есть своя прихоть. Бекк вбил когда-то себе в голову, что ему нужно устроиться поуютнее. Для этой цели он завел у себя в мансарде большущий мешок пуха, который попол-

нял после каждой осенней и весенней охоты на птиц. Как ему употребить этот пух, он и сам не знал. Когда его однажды об этом спросили, он ответил:

— Я сделаю, как Поссе во время Выборгской баталии¹⁰⁵: если Финляндия будет терпеть поражение, я поднимусь на башню и пушу пух из мешка по воздуху, и тогда у нас появится столько солдат, сколько пушинок в мешке.

— Ты, братец, рассуждаешь, черт возьми, как утка, — возразил капитан Сванхольм, почтмейстер. — В наши дни солдат надо делать из чего-нибудь попрочнее. Никак ты, холера меня возьми, считаешь нас, воинов, цыплятами?

Итак, погожим апрельским утром фельдшер отправился в шхеры,

прихватив с собой манки. Его сопровождал одноглазый капрал Ритси по прозвищу Фриц. Старики лавировали у кромки льда и время от времени стреляли, но безуспешно: зрение у обоих было скверное. И вот в утреннем тумане Бекк увидел двух прекрасных уток у самой воды, куда можно было добраться только в обход. Он отправился туда, подкрался поближе, зарядил ружье... выстрелил... утки встряхнулись, но не сдвинулись с места. «Ну и храбрые же бестии!» — подумал Бекк. Он присел снова, зарядил ружье и снова выпалил с тридцати шагов. Результат был не лучше. Немного ошав, Бекк подкрался еще ближе и лишь теперь понял, что стрелял в манки, которые ветер незаметно перегнал к кромке льда.

Старый охотник собрался было уже возвращаться домой со своей «добычей», но не тут-то было! Встром оторвало кусок льдины, на котором он стоял, и понесло в море. Старики, один из которых остался на берегу, а другой — на льдине, печально смотрели друг на друга. Расстояние между ними было не меньше пяти сажень, и капрал не мог помочь своему господину и хозяину, ведь лодки у них не было. Медленно и бережно льдина несла Бекка в море.

— *Huvasti nyt, kumppani!** — успел крикнуть фельдшер, пока капрал еще мог его слышать. — Передай Свенониусу и Сванхольму, что мое завешание лежит в правом запертом ящике бюро! Пусть в воскресенье хорошенько звонят по мне в церкви! О похоронах вам беспокоиться не придется, я их устрою себе сам!

— *Jumala siunakoon!*** — закричал капрал в ответ. И, как ни в чем не бывало, пошел домой.

К чести этого славного города нужно сказать, что прочие друзья фельдшера отнеслись к случившемуся не столь равнодушно. Почтмейстер ругался и проклинал себя, школьный попечитель отправился в поход со своими мальчиками, а старая бабушка послала двух бывалых лоцманов с надежными лодками лавировать между льдинами и охотиться за фельдшером. Чуть ли не весь город пришел в движение: люди били в набат, бегали, суетились, и те, кто громче всех кричал, делали меньше всех. Двухдневные поиски были напрасны. На третий день вернулись лоцманы, но тоже без результата. Все решили, что фельдшер погиб, и поиски прекратились.

* Ну прощай, приятель! — *Фин.*

** Спаси тебя Господь! — *Фин.*

В городе о нем искренне скорбели, ведь старик Бекк, этот старый уникум, каждому дядюшка, которому можно довериться во всем, был в городе чем-то вроде доброго домового, без которого благоденствие общества невозможно. Но что оставалось делать? Когда и на третье воскресенье после злосчастной утиной охоты о фельдшере все еще не было ни слуху ни духу, усердно отзвонил колокол по его бедной душе, и в церкви была прочитана заупокойная, испещренная перлами латинского и древнееврейского красноречия, а мудрый городской магистрат назначил на следующую неделю составление описи имущества так нелепо погибшего старого товарища.

Я надеюсь, что не слишком огорчил читателя или читательницу, пристально следящих за пересказом этой правдивой истории. В самом деле, было бы слишком жестоко, если бы фельдшер умер сейчас, когда Регина еще томится в Корсхольме под присмотром жестокой фру Мэрты, а Бертель истекает кровью на поле брани под Лютценом. А как мы узнаем, что станет с кроткой Мери, с крестьянским королем из Стурчюро и многими другими замечательными персонажами этих историй? Однако потерпите! Фельдшеру доводилось попадать и не в такие переделки — недаром он родился в один день с Наполеоном.

Для описи имущества все было готово. В мансарде Бекка царил удивительный порядок. Все его вещи были аккуратно сложены: с дорожной аптечки стерта пыль, чучела птиц расставлены в ряд, редчайшая коллекция яиц выставлена напоказ профанам. Испанская флейта с серебряными клапанами внушительно стояла в углу, старый парик висел за ненадобностью на гвозде, поблекшие от времени локоны — святая святых Бекка — были вынуты из бюро для оценки в рублях и копейках*, скорее всего за весьма малую сумму. Все, как уже говорилось, было приведено в порядок. Родман¹⁰⁶ и чиновник заняли места у старенького дубового стола, на котором фельдшер раскладывал обыкновенно плотницкий инструмент, а теперь лежала carta sigillata**. Писец, сидя напротив родмана, чинил перья. Предъявлять имущество Бекка явилась с мокрыми от слез глазами старая бабушка, хозяйка дома, поскольку у старика не было ни близкой, ни дальней родни.

Запертым и непросмотренным оказался лишь обитый потертой кожей сундук под кроватью. Взгляд родмана, думавшего о том,

* В Финляндии того времени, входившей в состав Российской империи, имело хождение рубли и копейки.

** Гербовая бумага. — Лат.

какой процент от наследства будет причитаться казне, то и дело останавливался на нем. Но что было в этом сундуке и кому он достанется, никто не знал.

Итак, все было готово к описи. Для оценки вещей пригласили Сванхольма и Свеноннуса. Родман откашлялся, состроил судейскую мину, открыл рот и заговорил:

— Поскольку высокому магистрату стало известно, что фельдшер армии его величества по имени Андреас Бекк во время охоты на птиц на льду лишился жизни, и хотя тело его не найдено, душой он, согласно закону и праву, считается мертвым...

— Никкак нет, прошу покорно извинить меня! — раздался вдруг голос в дверях, как громом поразивший присутствующих.

Представитель мудрого магистрата потерял самообладание и забыл о приличествующей его должности мине, волосы у него буквально встали дыбом, а красноречивый язык впервые отказался повиноваться. Писец со словами «Свят, свят...», позабыв про свое достоинство, пулей отскочил к стене и столкнулся головой со Свеноннусом, который был глуховат, а потому не слышал рокового голоса и не понял, что друг его воскрес. Но больше всего это поразило храброго Сванхольма. Он побелел как полотно и тщетно пытался скомандовать своей правой ногой повернуть налево. Одна лишь старая бабушка не потеряла присутствия духа. Она надела на нос очки, твердым шагом подошла к вошедшему и многозначительно покачала головой, словно хотела сказать, что мертвецу не годится так паяльаться.

Но старый Бекк не дал себя запугать. Он испытывал совсем иные чувства. Увидев, что его мансарда так бессовестно прибрана, сокровенные реликвии бесцеремонно выставлены, а высокочтимый магистрат занят в поте лица тем, что, по мнению фельдшера, вовсе его не касалось, он впал во вполне понятный и справедливый гнев. Он схватил обоих представителей закона за шиворот и бесцеремонно выставил их за дверь. Потом пришла очередь брата Свеноннуса, которого он также не пощадил, а под конец досталось и братцу Сванхольму, который тоже, не успев сказать ни слова, покатился с лестницы. Все это было сделано в мгновение ока. Территория была очищена, осталась одна старушка. Увидев в ее глазах мягкий упрек, Бекк пришел в себя и устыдился.

— Ладно, ладно, кузина, — сказал он, — я только проучил эти метлы и тряпки за беспорядок, который они устроили в моей комнате... Тут даже камень разгневался бы при виде подобных

глупостей. Вы только поглядите, как эти прохвосты намыли здесь пол и вытерли пыль с моих птиц. Скандал, да и только!

— Милый кузен, перебила его старушка, одновременно раздосадованная и обрадованная, — все это сделала я. Ведь мы думали, что вы утонули, что нам оставалось?!

— Ах, вот как, утонул! — вспыхнул фельдшер. — Сухой порох так легко не гаснет, скажу я вам. Правда, я целых трое суток метался туда-сюда на этой окаянной льдине. Ясное дело, что теплой постели и накрытого стола у меня не было, однако я не пропал. У меня с собой был дробовик, и я подстрелил нахально-го тюленя. От него сильно воняло ворванью, но я решил: на безрыбье и рак рыба. Огонек у меня при себе был, соль тоже. Я развел костер из охотничьей сумки и зажарил ростбиф. На четвертый день льдину прибило к берегу Вестерботтена¹⁰⁷, и я ступил на землю. Самое время топать домой, решил я, продал ружье и отправился в распутицу по дороге. И, скажу я вам, кузина, не пришлось бы им наводить беспорядок в моей комнате и рыться в моих вещах, кабы шведы не вздули в четыре раза плату за проезд в экипаже. Не успел я добраться до Хапаранды¹⁰⁸, как карман мой был пуст. Тут я решил: «А пошлю-ка я медицинскую коллегия ко всем чертям», — и взялся опять за свою практику, так что все бабы... Будьте здоровы, кузина, вы, кажется, чихнули... Так что все бабы дивились, неужто вернулись старые времена. С грехом пополам добрался я таким образом до дому... Вижу, немало поздновато, однако успел-таки спустить своих непрошенных наследников с лестницы.

Как видите, фельдшеру нелегко было простить друзьям их вторжение в его святая святых. Он простил бы их, если бы они разграбили его сокровища, замарали его имя, но то, что они прибрали в его комнате, он извинить был не в силах! Но постепенно с помощью бабушки, этой мудрой миротворицы, состоялось примирение во время третьего рассказа, с которым читатель и познакомится ниже.

Правда, эти темные люди смотрели на фельдшера как на привидение; правда, магистрат сомневался в его праве жить после того, как он был объявлен мертвым; правда, почтмейстер отчаянно ругался, потирая ноющую спину, носившую следы встречи с братцем Бекком; правда, Свенониус вздыхал, разглядывая дыру на своей старом, ношенном лет двадцать черном фраке, который он надел тогда по торжественному случаю и чуть не сломал себе шею. Но бабушка улыбалась так же ласково, Anne Софи была так

же приветлива, малыши так же шалили. И вот туман рассеялся, и на горизонте судьбы узницы Регины блеснуло солнце.

— Мои дорогие друзья, — начал фельдшер, — то, что я назвал эту историю «Огонь и вода», может показаться непонятным. Что такое королевский перстень и почему враждуют меч и плуг, каждый может понять без труда. Наперед скажу вам, что не собираюсь описывать пожары или наводнения, а выбрал это название лишь потому, что человеческие натуры подчас удивительно схожи со стихиями, одни с огнем, другие с водой, а некоторые с легким воздухом. Я намерен рассказать вам о четырех персонах, две из которых можно отнести к первой, а две — ко второй стихии. Я хотел было дать рассказу название «Герб», но понял, что с таким же успехом мог назвать его «Топор». Я мог бы испугать вас кошмарным названием «Проклятие», но, подумав хорошенько, решил, что столь же успешно мог бы назвать его «Благословение». Стало быть, довольствуйтесь названиями стихий. Я выразил то, что хотел сказать, об остальном предлагаю вам догадаться самим.

1. ТРОФЕЙ С ПОЛЯ БОЯ



ельдшер продолжал:

— Первое, что нужно запомнить, — это то, что все события предыдущего рассказа «Меч и плуг» произошли до битвы под Лютценом, которой заканчивается первый рассказ «Королевский перстень». Теперь вернемся назад в Лютцен в шестое ноября 1632 года, забыв на минуту про «Плуг и меч», и представим себе, что мы стоим у окровавленного ложа великого короля.

На левом берегу речушки Пунакс люди Паппенхейма застали финнов врасплох: это было великолепное и ужасное зрелище.

Закованные в железо, несокрушимые, ринулись они на Стольхандске; все зашаталось и рухнуло под их страшным натиском. Коня финнов, бесконечно уставшие от тяжелых боев, как и сами всадники, дрогнули и в беспорядке отступили. Но Стольхандске собрал своих бойцов плечом к плечу. Они дрались из последних сил, не страшась смерти. Свои и чужие смешались в кровавой каше. Здесь пал Паппенхейм, здесь пади самые храб-

рые его воины; половину рыцарей Стольхандске затоптали лошадиные копыта, и все же битва не прерывалась и продолжалась дотемна.

Бертель скакал рядом со Стольхандске, и вышло так, что он встретился с Паппенхеймом. Рука двадцатилетнего юноши была слишком слаба, чтобы сразиться с этой железной рукой. Страшный удар длинного меча фельдмаршала пришелся юноше по шлему, и он потерял сознание. Падая, он невольно ухватился за гриву Лаппена, своего верного коня. И Лаппен, перепуганный боем, помчался галопом прочь, унося своего хозяина, который одной ногой упирался в стремя, а руками судорожно цеплялся за гриву.

Когда Бертель открыл глаза, вокруг была темнота. Он смутно помнил жаркую битву. Последнее, что он видел, поднятый меч Паппенхейма. Ему пришло в голову, что он умер и лежит в могиле. Он приложил руку к сердцу — оно билось, укусил себя за палец — больно. Бертель понял, что еще жив, но где он, угадать было невозможно. Он протянул руку и нащупал несколько соломинок. Земля под ним была влажная. Он попытался встать, но голова была тяжелая, точно налитая свинцом. Он еще не оправился от удара меча.

И вдруг где-то рядом послышался голос; кто-то, не то жалуясь, не то насмехаясь, говорил по-шведски:

— Силы небесные! Ни капли вина! Эти жулики валлоны украли мою флягу. Проклятые курокрады! Эй, вы, кто-нибудь, турок или еврей, все равно, притащите хоть каплю вина!

— Это ты, Ларссон? — спросил Бертель слабым голосом, потому что почти онемел от жгучей жажды.

— Что это за сурок шепчет мое имя? — отвечал голос из темноты. — Привет, ребята, отпустите узду и скачите галопом! Если не осталось пуль, бросайте их и колотите шпагой! Рубите головы этим разбойникам, как репы! Молотите их, мелите в крупу! Король погиб... Черт побери, какой король! Умрем сегодня, но сначала отомстим! Вперед, ребята! Ура-а-а!.. Рубите их, эстерботтенцы!

— Ларссон! — повторил Бертель, но товарищ его не слышал. Он продолжал в бреду призывать к бою своих финских головорезов.

Немного погодя в окне жалкий лачуги, где оказался Бертель, забрезжила полоска позднего осеннего утра. Он уже мог разглядеть солому, набросанную прямо на земле, потому что пола в лачуге не было, и двух человек, спящих на ней.

Дверь распахнулась, и вошло несколько бородатых дикого вида солдат. Они грубо растолкали спящих ружейными прикладами.

— Raus!* — крикнул один из них на нижненемецком. — Трубят в поход!

За окнами рыцари услышали знакомые звуки трубы, означавшие сигнал к маршу.

— Пусть меня подденут на копье, как жабу, если я понимаю, что наш высокочтимый отец собирается сделать с этими неверными собаками. Неужто он не мог отправить их сразу к дьяволу, их господину и учителю!

— Не знаешь ли ты, что ли, дурья башка, что смерть короля-еретика станут праздновать с большой помпой в Ингольштадте? Достопочтенный отец желает украсить этот праздник большим аутодафе.

Оба спавших на полу поднялись полусонные, и при слабом утреннем свете Бертель узнал маленького толстого Ларссона и своего верного слугу Пекку. Но на объяснения времени не было. Всех троих вывели из лачуги, связали и бросили на крестьянскую телегу, после чего длинный обоз с ранеными в сопровождении хорватов медленно двинулся в путь.

Бертель понял, что они попали в плен к людям императора. Вскоре память у него проявилась, и с помощью товарищей по несчастью он сообразил, как все случилось. Когда он отпустил поводья, верный Лаппен галопом понес бесчувственного седока назад в лагерь. Но лагерь в это время грабила толпа жадных хорватов. Увидев, что лошадь тащит полуживого шведского офицера, они схватили его, надеясь получить хороший выкуп. Вместе с Бертелем был взят и Пекка, не желавший бросить своего господина. Храбрый Ларссон во время атаки Паппенхейма пробрался слишком далеко в ряды врагов, получил укол пикой в плечо, удар по руке и был унесен людским потоком. Кто победил, Ларссон с уверенностью сказать не мог. Сейчас шел уже третий день после сражения, и обоз целые сутки двигался на юг, пока не остановился на несколько часов в заброшенной и разграбленной деревне.

— Проклятый сброд! — воскликнул маленький капитан, жизнерадостный характер которого не изменял ему, даже когда он трясся на крестьянской телеге. — Если бы только не украли мою флягу, мы могли бы сейчас выпить за Финляндию. Но эти хорваты — воровская шайка, против которых наши цыгане — невин-

* Выходи! — Нем.

ные ангелы. Повесить бы пару сотен их на валах Корсхольма, как на финских чердаках развешивают юбки.

Тем временем обоз продолжал двигаться еще три или четыре дня, и раненые сильно страдали. Перевязанные кое-как, они не могли помочь друг другу. Вначале они ехали по разграбленным местам, где с трудом можно было получить даже самый жалкий харч. Жители этого края бежали. Но вскоре они оказались в краю побогаче, жители которого, католики, показывались лишь, чтобы проклинать еретиков и ликовать по поводу смерти их короля. Весь католический мир разделял их радость. Известно, что в Мадриде был поставлен великолепный спектакль, в котором Валленштейн, второй святой Георгий, побеждает Густава Адольфа, второго дракона.

Поздним вечером после семидневного тяжелого путешествия повозка с пленными финнами проехала по подъемному мосту и остановилась на тесном крепостном дворе. Ослабевших от ран пленных повели по наполовину засыпанной гравием лестнице и заперли в башенной комнате в форме полуротонды. Бертелю показалось, что он уже видел этот каземат, но темнота и слабость не позволили ему различить комнату отчетливо. В зарешеченное окно заглядывали ночные звезды. Пленным дали для бодрости по кубку вина, и Ларссон радостно воскликнул:

— Держу пари, это воры украли это вино из наших погребов в Вюрцбурге. Благороднее напитка мне с тех пор пить не приходилось!

— Вюрцбург! — осенило вдруг Бертеля. — Регина! — добавил он почти бессознательно.

— И винный погреб! — вздохнул Ларссон, как бы передразнивая Бертеля. — Вот что я скажу тебе, мой мальчик:

Ты — глупец, если веришь девичьему слову.
Коли сердце твое вновь влюбиться готово,
На здоровье влюбляйся и пей, веселись,
Обручайся с девчонкой, но на рюмке женись.

А что касается Регины, так эта черноглазая девица сидит и вяжет чулки в Корсхольме. Да, да, фру Мэрта не из тех, кто плачет, глядя на луну. После того как мы в последний раз виделись, передал мне один чужак, сержант Бенгт Кристерсон, привет из Васы. Он схватился однажды с твоим отцом, однако со стариком шутики плохи! Это было у вас дома в Стурчюро, отец твой поднял нашего дорогого Бенгта и выкинул за дверь. Бенгт ругался на чем свет

стоит, клялся, что посадит старика и его двенадцать батраков в мельницу и сметет их в муку, да Мери просила за них. Лихой парень Бенгт Кристерсон: дерется, как драгун, а врет, как шкипер. Твое здоровье!

— А что еще слышно об Эстерботтене? — прервал его Бертель. Он смутился и покраснел, оттого что невольно выдал весьма прозаично настроенному другу тайну своей любви к темноглазой красавице Регине фон Эммериц.

— Ничего нового, кроме того, что урожай плох, военные налоги велики и народу призывают в армию много. Старики наши дома в Бертиле, твой отец и мой, все ссорятся да мирятся. Мери плачет по тебе и поет печальные песни. Ты помнишь Катри с торпа? Отменная девчонка, круглая, как репа, румяная, как рябина, а ущипнешь за подбородок — мягкая, как кусок масла. Выпьем, мой мальчик! Она сбежала с кнехтом.

— И больше ничего нового?

— Ничего! Да какого черта ты хотел бы узнать, когда тебя не интересует самая аппетитная девка во всем Стурчюре? Да, *posh etwas**, как говорят немцы. Под Корсхольмом была большая драка. Рекруты вбили себе в голову, что фрёкен Регина задумала убить короля заколдованной пулей. Они взяли Корсхольм штурмом и сожгли девицу живьем. Вот потеха! Выпьем за еретиков! Мы тоже умеем устраивать аутодафе!

Бертель вскочил, забыв про раны, но боль была слишком сильна, и он упал замертво на руки Ларссону.

Честный капитан рассердился и растерялся одновременно. Он смочил виски Бертеля остатком благородного напитка из кубка. Когда же наконец юноша пришел в себя, капитан выразил свои чувства следующей тирадой крещендо от пиано до форте, сначала в миноре, потом в мажоре:

— Ну, ну, Бертель! Черт тебя побери! Никак ты влюблен в эту девчонку? Ай, ай, ай! В жилах у тебя не кровь, а молоко! Падать в обморок, как камеристка! Успокойся! Разве я сказал, что ее сожгли? Нет, мой мальчик, только слегка поджарили. А после, как рассказывал Бенгт Кристерсон, она выцарапала глаза фру Мэрте и вскарабкалась, словно белка, на крышу замка. И не стыдно тебе, парень, вести себя как фарфоровый горшок! Ведь ты солдат! Хорош солдат! Банка с помадой ты, а не солдат! Тыфу, тысяча чертей, и кубок к тому же пуст!

* И еще кое-что. — Нем.

Маленький толстый вояка, без сомнения, еще долго продолжал бы давать волю своему скверному настроению, тем более что не мог найти утешение в кубке. Но тут отворилась дверь, и перед узниками предстала женщина. При виде ее широкое, несколько бледное и опухшее сейчас лицо капитана слегка прояснилось. Он подался вперед, чтобы получше разглядеть вошедшую, но в результате, по-видимому, остался недоволен.

— Монахиня! Проклятье... она пришла обращать нас в свою веру!

— Мир вам! — прозвучал из-под покрывала молодой приятный голос. — Меня послала к вам досточтимая настоятельница монастыря Пресвятой Девы перевязать ваши раны и, если Господу будет угодно, залечить их.

— Клянусь честью, добрый друг, мне весьма отрадно. Давайте же познакомимся поближе! — воскликнул капитан, уже несколько смягчившись, и протянул руки, собираясь приподнять покрывало монахини.

Монахиня мгновенно отпрянула, а в дверях показались двое солдат весьма грозного вида.

— Та-а-к! Ясно! — сказал растерявшийся Ларссон. — До чего же чопорные монахини здесь у вас... Когда мы стояли у францисканцев под Вюрцбургом, я получал по крайней мере поджожины поцелуев в день от молодых сестер монастыря. Такие грехи всегда отпускаются. Однако я надеюсь, вы простите солдату вольные слова. «*Nunquam nemo nascitur cavallerus*», — говорят испанцы: честный солдат рожден кавалером*. Как видите, ваше святейшество, хоть я и неверный еретик, по-латыни говорю, как правоверный монах. Когда мы стояли в Мюнхене, был я в интимной дружбе с одной упитанной баварской монахиней двадцати семи лет от роду с карими глазами и римским носом...

— Заткнись! — шепнул ему Бертель нетерпеливо. — Из-за тебя монахиня уйдет.

— Не скажу более ни слова. Проходите, ваше благородие, не бойтесь, проходите. Держу пари, двадцать семь лет вам давно минуло и вы, ваше святейшество, старая баба.

Монахиня начала молча осматривать кое-как перевязанную голову Бертеля.

* Приводимое Ларссоном латинское изречение в переводе звучит так: «Рыцаря не рождаются».

Красивая белая рука взяла ножницы и выстригла юноше волосы вдоль широкой отметины, оставленной боевым мечом Паппенхейма. Через двадцать минут рана Бертеля была перевязана опытной рукой. Тронутый таким участием, юноша поднес эту руку к губам и поцеловал ее.

— Клянусь честью, прекрасная матрона, — сказал Ларссон, — я завидую другу, который на пятнадцать лет моложе меня. Соблаговолите же вашей нежной ручкой залечить руку храбреца, победившего благочестие многих благочестивых сестер...

Все так же молча монахиня стала снимать грязную повязку с раны Ларссона. Ее рука при этом касалась его руки.

— Черт побери! — воскликнул удивленный капитан с видом знатока. — До чего же красива и мягка эта маленькая ручка! Прошу прощения, любезная госпожа докторица. «*Eх ungue leonem*»*, — говорит святой Гомер, один из отцов церкви. Ведь я тоже изучал писания отцов церкви, правда, на хорошем шведском: «По лапе узнают льва». Ставлю десять бутылок старого рейнвейна против ломаного стремени, что этой маленькой белой ручке больше пристало ласкать щеку рыцаря, чем перебирать четки.

Монахиня на секунду отдернула руку. Галантный капитан испугался последствий своей галантности.

— Не скажу более ни слова, молчу, как давший обет монах.

— *Tempus est consummatum, itur in missam*** — раздался в дверях громовой голос, и монахиня поспешила закончить перевязку. Вскоре узники снова остались одни.

— Этот голос я слышал раньше, — задумчиво сказал Бертель. — Неужели нас окружают сплошные тайны?

— Да этот монах просто плешивый ревнивец, — возразил капитан. — Заставлять страдать такую маленькую хорошенькую ручку!

2. СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

На следующее утро Бертель подошел к узкому зарешеченному окну. Отсюда открывался великолепный вид. Внизу у подножья башни извивалась красивая река, на противоположном берегу высились шпили тридцати городских башен, а за городом еще зеленели виноградники.

Бертель с первого взгляда понял, что они — узники замка

* Букв. «по когтю льва (узнают)». — Лат.

** Время кончилось, пора идти к обедне. — Лат.

Мариенбург, который после отступления шведов вновь перешел в руки князя-епископа. Но по соображениям безопасности его княжеская светлость не торопился переезжать сюда и жил в основном в Вене. При последнем штурме замок был разграблен и сильно пострадал: одна башня рухнула, а ров во многих местах был засыпан. Сейчас гарнизон замка составлял всего пятьдесят человек, было много раненых и больных, за ними ухаживали милосердные сестры из городского монастыря. Хорошенько оглядев свою тюрьму, Бертель решил, что это комната Регины, из этого окна прекрасная девушка со своими служанками наблюдала за битвой. Сюда в оконную нишу влетело ядро шведов, которое разнесло на куски образ Девы Марии. Он ошибался: та комната рухнула вместе с башней, но это якобы сделанное им открытие было для влюбленного юноши неоценимым. Она стояла здесь, эта прекрасная и несчастная княжеская дочь; здесь она смыкала очи в последнюю ночь перед штурмом. Для Бертеля эта комната была священной. Он прижался губами к холодной стене, словно целая следы ее слез.

И вдруг его, как громом, поразила мысль: а что, если монахиня, посетившая их вчера, — переодетая принцесса... если эта прелестная белая рука была рукой Регины! Это было бы чудом... но любовь верит в чудеса. Сердце Бертеля бешено колотилось. Бережный уход врачевательницы уже немного улучшил состояние его запущенной раны. Он чувствовал, что его силы удвоились.

Его товарищи по несчастью еще спали, устав от долгого пути. Вдруг дверь медленно отворилась, и в комнату тихими шагами вошла монахиня, она принесла раненым укрепляющее прохладительное питье. Голова у Бертеля закружилась. Охваченный душевным волнением, он упал перед вошедшей на колени.

— Назови свое имя, ангел милосердный! Ведь ты узнала пленников? Назови свое имя и открой лицо! О... я узнал бы тебя из многих тысяч... Ведь ты Регина!

— Вы ошибаетесь, — отвечал тот же звонкий голос, что и вчера.

Голос был ему знаком. Чей же он?

Вскочив, Бертель сорвал с головы монахини покрывало. Перед ним стояла, улыбаясь, кроткая красавица Кэтхен. Растерянный Бертель отступил.

— Как вы неосторожны! — воскликнула Кэтхен и быстро закрыла лицо. — Я от души желала врачевать вас, а вы вынуждаете меня уступить свое место другой.

Кэтхен исчезла. Вечером того же дня к раненым снова пришла

монахиня. Ларссон держал красноречивую речь, потом поднес ее руку к губам, громко чмокнул и тут же принялся чертыхаться: кожа руки походила на столетний пергамент.

— Поистине, дражайший Бертель, — сказал обманувшийся капитан с философским смирением, — в природе еще существуют непостижимые для человека загадки. К примеру, эта рука — *manus* на выразительном языке древних римлян, — эта рука несомненно заняла бы достойное место в «Метаморфозах» греческого поэта Овидия¹⁰⁹, которого мы когда-то читали в кафедральной школе Або в ту пору, когда я собирался выучиться на пастора. Вчера я готов был прозакладывать душу дьяволу, что это прекрасная девичья рука, а сегодня готов выбрить тонзуру и пойти в монахи, если это не рука семидесятилетней прачки. *Sic unde ubi apud unquam post**, как говорили древние. То есть не успеешь оглянуться, как красивая девушка становится старой каргой.

Благодаря уходу монахинь раны узников быстро заживали. За стенами башни мрачно завывали осенние шторма, и в маленькие окна ударяли капли дождя. Зелень виноградников поблекла, над Майном поднимался густой холодный туман, закрывавший вид на город.

— Я больше не вынесу, — возмущался Ларссон. — Ни вина не дают нам, ни в кости сыграть. И, да простит меня святая Брита**, пусть лучше дьявол целует ее монахинь хоть в руку, хоть в губы, но только не я, ибо *habeo multum respectum pro matronibus* — я слишком уважаю баб. Нет, я больше не могу, выпрыгну в окно...

— Прыгай, — с досадой отвечал Бертель.

— Нет, в окно я прыгать не стану, — возразил капитан. — Нет, друг мой, *micus amicus****, как любим выражаться мы, ученые, лучше я удостою своего однополчанина партией в корону и решку.

И находчивый капитан, чтобы убить время, стал в тридцатый раз развлекать Пекку нудной игрой в монетку.

— Скажи-ка мне лучше, — продолжал Бертель, — что это там сооружают в Вюрцбурге на берегу Майна?

— Кабак строят, — отвечал Ларссон. — Корона!

— По-моему, они, скорее, раскладывают костер.

— Решка! — монотонно повторил Ларссон. — Вот не везет! Чертов парень выиграл у меня лошадь, седло и стремена.

* Бессвязный набор латинских слов.

** То есть святая Биргитта. Ларссон в шутку называет ее уменьшительным именем.

*** Друг мой. *Искаж. лат.*

— В первое утро нашего плена я слышал что-то про аутодафе в честь победы в битве при Лютцене. Что ты об этом думаешь?

— Я? Разве я против того, что они сожгут дюжину ведьм к нашему великому удовольствию?

— А если они хотят сжечь нас? Если они ждут лишь возвращения епископа?

Ларссон вытаращил свои маленькие серые глазки и схватился за эспаньолку.

— Проклятье!.. паршивые иезуиты! Они зажарят нас, как репу... Это нас-то, покорителей «Священной Римской империи»!.. Я полагаю, друг мой Бертель, что при таких отчаянных обстоятельствах нельзя будет упрекнуть честного солдата за то, что он втихую улизнул. Ну, например, через окно.

— Оно на уровне семидесяти футов над Майном, и внизу река.

— А дверь? — спросил, подумав, капитан.

— Охраняется день и ночь двумя вооруженными солдатами. Честный капитан погрузился в печальные раздумья.

Время шло, наступил вечер, потом ночь. Монахиня с ужином не появлялась.

— Праздник начинается с поста, — мрачно пробормотал капитан. — Я буду не я, если не сверну шею этой лентяйке монахине, пусть только покажется.

В это самое мгновение дверь отворилась, и к узникам вошла монахиня, на этот раз одна. Ларссон бросил на своих друзей многозначительный взгляд, быстро приблизился к монахине, схватил ее за горло и прижал к стене.

— Молчи, ни слова, досточтимая аббатиса, — прошипел капитан. — Посмеешь вскрикнуть, тут тебе и конец. Но я помилую тебя. Скажи мне лишь, что это за костер разжигают на площади? Кого собираются поджаривать?

— Ради всего святого, тише, — еле слышно пошептала монахиня. — Я Кэтхен и пришла спасти вас. Вам грозит большая беда. Завтра ожидают приезда князя-епископа, и отец Иероним, заклятый враг всех финнов, поклялся сжечь вас заживо в честь всех святых.

— О моя маленькая прекрасная мягкая ручка! — восторженно выпалил Ларссон. — Какая же я скотина, что сразу не узнал ее. О мой очаровательный дружок, я сейчас же поцелую тебя...

Но Кэтхен вырвалась из его объятий и торопливо сказала:

— Если вы, юнкер¹¹⁰, не будете вести себя подобающе, гореть вам на костре. Сначала привяжите меня к ножке кровати и завяжите рот платком.

— Привяжать тебя... -- лукаво повторил капитан.

— Быстрой! Стражи напильсь и спят, но через двадцать минут сюда придет сам святой отец. Забирайте свои мундиры и выходите отсюда скорей! Пароль: «Петр и Павел».

— А ты сама? — спросил капитан.

— Меня они должны найти связанной. Вы напали на меня и завязали мне рот платком.

— Достоянная девушка! Лучшая из всех католических монахинь! Кабы я не поклялся никогда не жениться... Ну, ну, Бертель, живее! Быстрее, Пекка, ленивый увалень! Будь здорова, милая плутовка! Еще один поцелуй... Прощай!

И все трое выбежали из темницы.

Но едва они очутились за дверью на темной винтовой лестнице, как были схвачены железными руками, сбиты с ног и связаны.

— Отведите этих собак в арсенал! — прозвучал знакомый голос.

Это был голос иезуита Иеронима.

3. ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА

Вскоре связанные по рукам и ногам узники очутились в темном и сыром подземелье, где князь-епископ Вюрцбурга хранил свои сокровища до того, как шведы освободили его от этих хлопот. Под эти темные своды не проникал ни один луч света, а с влажных стен сквозь трещины монотонно падали капли.

— Гром и молния! Чтоб тебя побрала нечистая сила, проклятый безухий монах! — воскликнул капитан, снова почувствовав твердую почву под ногами. — Запереть нас, офицеров армии его королевского величества, в такую крысоловку! Тысяча чертей! Ты жив, Бертель?

— Жив, чтобы завтра быть заживо сожженным.

— Неужто ты думаешь, что нас сожгут?

— Мне знаком этот арсенал. С трех сторон скала, с четвертой -- железные ворота. А человек, повелевший запереть нас здесь, тверже скалы и железа. Никогда более не увидать нам Финляндии! Никогда мне более не увидать ее...

— Послушай, Бертель, ты -- парень бойкий, но иногда говоришь, как трус. Ну ты влюблен в темноволосую фрёкен, ничего об этом не скажу, amor est lurifaxius -- любовь -- разбойница, как справедливо замечает Овидий. Но я терпеть не могу, когда хнычут.

Будем живы — найдутся девицы для поцелуев, помрем — пусть катятся к черту. Так ты в самом деле думаешь, что они собираются зажарить нас, как ошипанных глухарей?

— Это зависит от вас самих! — послышался голос из темноты.

Трое узников в испуге вздрогнули.

— Сам дьявол среди нас! — воскликнул Ларссон.

Пекка стал читать молитву. Тут темноту прорезал луч фонаря, и связанные узники увидели иезуита Иеронима, стоявшего рядом.

— Это зависит от вас самих, — повторил он. — Ваш король погиб, войско разбито, весь мир признает власть церкви и императора. Вас ждет костер. Но святая церковь милостива, она позаботилась о том, чтобы продлить дни ваши, и послала меня сюда объявить о своей милости.

— Неужто? — насмешливо воскликнул Ларссон. — Придите ко мне, досточтимый патер, снимите с меня узы и дайте обнять вас.

— Я предлагаю вам помилование, — холодно продолжал иезуит, — на трех условиях, которые, я уверен, вы примете. Первое: вы отречетесь от своей еретической веры и принесете клятву святой церкви.

— Никогда! — вспыхнул Бертель.

— Молчи! — оборвал его капитан. — Ну, допустим, мы отречемся от лютеранского учения.

— Затем, — продолжал иезуит, — вас как военнопленных обменяют на высокородную фрёкен, княжну Регину фон Эммериц, которую по приказу тирана, вашего короля, увели в плен на север.

— Да будет так! — с готовностью ответил Бертель.

— Молчи! — возразил ему Ларссон. — Ну далее, допустим, мы поможем освобождению высокородной фрёкен?

— За сим останется лишь пустяковое дело. Я требую, чтобы лейтенант Бертель отдал перстень Густава Адольфа.

— Вы требуете то, чего у меня нет, — ответил Бертель.

Иезуит посмотрел на него с недоверием.

— Король приказал герцогу Бернхарду отдать вам кольцо, и вы должны были получить его.

— Об этом мне абсолютно ничего не известно, — искренно сказал Бертель; в душе он удивился и обрадовался этому неожиданному известию.

Иезуит снова заговорил ледяным тоном:

— Коли так, любезные дети мои, про перстень говорить мы более не будем. Что же касается вашего обращения к правоверной церкви...

Бертель хотел было ответить, но капитан, успевший сделать несколько резких движений, опередил его:

— Что касается этого дела, — поспешил вставить он, — то знайте же, досточтимый патер, тут с какой стороны посмотреть...

Иезуит шагнул к двери и сухо оборвал его:

— Так вы предпочитаете костер?

— Лучше костер, чем позор отречения! — воскликнул Бертель, не замечая жестов и выражения лица Ларссона.

— Досточтимый патер, — поторопился сказать капитан, — давайте обсудим этот вопрос. Допустим, мы станем добрыми католиками и поступим на службу к императору... Однако прошу вас подойти немного поближе: мой друг Бертель почти оглох после знакомства с Паппенхеймом.

Иезуит осторожно приблизился к узнику на несколько шагов, убедившись сначала, что путь к отступлению открыт.

— Это мне решать, как вам отречься... Да или нет?

— Ну да, разумеется, — быстро ответил Ларссон, продолжая освобождаться от пут. — Прошу прощения, досточтимый патер, я не скажу более ни слова, я на все согласен. Однако, — продолжал капитан, понизив голос, — я должен сообщить вашему святейшеству, что мой друг — большой плут, извольте взглянуть на его указательный палец. Думаю, что сильно ошибусь, если стану утверждать, будто королевский перстень и в самом деле не у него.

Охваченный любопытством иезуит приблизился к узникам еще на несколько шагов. Ларссон, которому из-за пут было не встать, быстро, как угорь, прополз к двери и перетер об острый выступ стены веревку, связывавшую его правую руку. Когда же священник хотел ретироваться, капитан схватил его за ногу и перебросил через себя. Патер Иероним отчаянно пытался вырваться, фонарь разбился, свет погас, и дерущихся поглотила густая темнота. Бертель и Пекка, не в состоянии встать на ноги, покатались наугад, но промахнулись. Тут храбрый капитан почувствовал острую боль в плече и вслед за этим горячую струю крови. С проклятием выхватил он кинжал из руки своего врага и нанес ответный удар. И тут пришла очередь иезуита просить пощады.

— С превеликим удовольствием, сын мой! — с издевкой ответил капитан. — Только ставлю тебе три условия: во-первых, ты отречешься от Лойолы¹¹¹, своего господина и учителя, а также объявишь его никчемным болтуном.

— Я согласен на все, — вздохнул иезуит.

— Во-вторых, ты пойдешь и повесишься на первом крюке, вбитом в потолок.

— Ладно, ладно, только отпусти.

— В-третьих, ты отправишься к сатане, твоему покровителю... — С этими словами Ларссон со страшной силой швырнул своего врага о каменную стену, и тот умолк. Затем узники поспешно разрезали пути кинжалом. Теперь оставалось лишь найти выход.

Выйдя в темный ход, ведущий в верхние покои замка, они заперли дверь в арсенал на засов и остановились на минуту, чтобы держать совет. Положение их было незавидное. Они знали, что лестница ведет к бывшей опочивальне епископа: оттуда, пройдя через два или три покоя, они попадут в большой гербовый зал и только потом окажутся на дворе замка, после чего им предстоит перейти охраняемый стражей подъемный мост. Все покои, кроме опочивальни, в которой, по-видимому, располагался сам иезуит, были два часа тому назад, когда по ним вели пленников, заняты солдатами и монахинями.

— Одно лишь огорчает, — сказал Ларссон, — что я не содрал шкуру с лиса, когда держал его за уши. В этой шкуре благочестия я, второй *Saulus inter prophetos**, прошел бы невредимым сквозь огонь чистилища. Но теперь, Бертель, скажи ты мне, простофиля, как нам выбраться отсюда?

— Пробьемся, солдаты спят, ночная тьма нас укроет.

— Должен сказать, друг мой, что если кто-нибудь, будь то даже я сам, Ларссон, назовет тебя трусом, я скажу, что этот человек — враль. Ш-ш!.. Кто-то спускается по лестнице... Нет, никого. Пошли, но только осторожно. Нужно ступать, как женщины, а этот болван Пекка топаёт сапожищами, будто эскадрон кавалерии.

Беглецы поднялись на тридцать или сорок ступенек, и лестница еще не кончилась, как они увидели наверху луч света. Поднявшись еще выше, они подошли к приотворенной двери и остановились, затаив дыхание. Не было слышно ни звука. Храбрый капитан осмелился сначала сунуть в дверь голову, потом ногу, а под конец и все свое грузное тело.

— Мы на верном пути, — шепнул он. — А теперь, отряд, марш в чулках, у кого они есть. Вперед!

Опочивальня епископа, куда они вошли на цыпочках, представляла собой просторное и когда-то роскошное помещение.

* Савл среди пророков. — *Лат.*

Мерцавшая лампа слабо освещала гобелены на стенах, золоченые лики святых и инкрустированную перламутром кровать черного дерева, на которой богатый прелат некогда засыпал после кубка рейнского вина.

Здесь не было ни души, но из окна можно было видеть, что замковая часовня напротив ярко освещена и полна народа. При падавшем из часовни свете было видно, что и на дворе толпятся люди и что у многих из них восковые свечи в руках.

— Пусть меня засолят, как огурцы в бочке, если я понимаю, что люди делают здесь среди ночи, — с досадой пробормотал капитан. — Неужто они собрались, чтобы поглядеть, как трех славных финских солдат зажарят на медленном огне, как аландскую салаку?

— Мы должны найти оружие и умереть, как подобает мужчинам, — сказал Бертель, осматривая комнату. Прекрасно! воскликнул он. — Вот три меча — это все, что нам нужно!

— И три кинжала, — добавил Ларссон, который в большой нише за образом святого нашел целый арсенал всевозможного оружия.

— Я хочу сказать, — вставил обычно молчаливый Пекка, обнаруживший в углу солидную бутылку, — я хочу сказать, что раз сегодня почти что Рождественская ночь...

— Славный малый, — прервал его капитан, вдохновленный видом бутылки, — у тебя отличный нюх на выпивку. Благочестивый иезуит, ты все же совершил хоть что-то доброе в этом мире! Так ты говоришь, Рождественская ночь? Что ж ты, скотина, не сказал об этом раньше? Ясное дело, весь Вюрцбург стекается в замок, чтобы послушать, как патер Иероним будет служить мессу. Клянусь честью, святого отца придется подождать. Погоди, друг мой, дай выпью за тебя. Офицеру должно подавать пример своим воинам. Выпьем, ребята... Проклятый монах подло обманул нас, я выпил яд, сейчас умру! — воскликнул капитан, сильно побледнев.

Но Бертель и Пекка, несмотря на критический момент, с трудом удержались от смеха, увидев, что Ларссон не только побледнел, но и почернел.

— Сделай еще глоток, тогда, поди, не захочешь больше пить чернила, — сказал Бертель.

— Чернила! Надо было думать, что безухий бумагомаратель припасет для нас какую-нибудь гадость. Нынче ночью две вещи удручают меня больше, чем все на свете аутодафе: что Кэтхен с ее нежными ручками обманула нас и что я выпил самую паршивую и бесполезную дрянь — чернила! Тьфу, черт поberi!

Бертель поспешно перелистывал на письменном столе ворох бумаг. Вот послание епископа... Он прибудет завтра. . Нас торжественно сожгут... но сначала уговорят отречься от своей веры, пообещав помиловать... А после все равно сожгут! Какая низость!

Тем временем Ларссон нашел три монашеских сутаны, узники надели их и продолжили прогулку по опасной территории.

Следующие два покоя были пусты. Здесь стояло несколько грубо сколоченных кроватей, на которых, верно, спали монахи, отправившиеся к мессе.

— Bravo! шепнул Ларссон. Нас примут за овец в волчьих шкурах и подумают, будто мы спешим к мессе. Ш-ш... Слышали? Женский голос! Тихо!

Они остановились и услышали в темноте голос молодой женщины:

— Пресвятая Дева! Прости мне этот грех и избавь от смерти, — молилась она. — Обещаю завтра утром принять постриг и буду служить Тебе до самой смерти!

— Это голос Кэтхен, — продолжал капитан. — Неужели она не виновата, бедное дитя? Клянусь честью, было бы подло со стороны кавалера не помочь столь хорошенькой девице с нежными ручками!

— Живее, бежим отсюда! — прошептал с досадой Бертель.

Но капитан уже обнаружил маленькую дверь, запертую снаружи на задвижку. За дверью находилась небольшая келья, а в келье стояла дрожащая девушка. Ее глаза, привыкшие к темноте, различили монашеское облачение, она бросилась в ноги капитану и закричала:

— Смилуйтесь, святой отец, смилуйтесь надо мной! Я признаюсь во всем! Я помогла узникам бежать, я напоила стражу. Но пощадите меня ради милосердных святых, я еще молода и не хочу умирать.

— Кто, черт побери, сказал, что ты должна умереть, моя проворная девица? — прервал ее капитан. — Нет, девушка с такими нежными руками и горячими губами должна жить. Это такая же истина, как и то, что я не иезуит, а Ларс Ларссон, капитан войска его королевского величества, а ныне беру тебя... в законные жены и стану любить тебя в горе и в радости, — продолжил капитан, решив, что необходимо выпалить до конца эту всем знакомую фразу. — Скажи мне, моя девочка, ведь ты еще не давала монашеский обет? Ты еще не постриглась? Впрочем, мне это безразлично. Ты будешь моей законной... если я вообще когда-нибудь женюсь. Вот тут лежит сутана, накинь ее и не бойся ничего.

— Это не сутана, это облачение для мессы, — прошептала Кэтхен, едва успевшая прийти в себя.

— К чертям облачение! Пстой, надень-ка ты мою сутану, а я напялю это облачение!

Голоса в гербовом зале прервали разглагольствования капитана на церковные темы.

— Они хватились иезуита, они ищут его, мы погибнем из-за твоей глупой болтовни, — взволнованно пошептал Бертель. — Теперь главное не выдать себя. Итак, вперед!

— И не забудьте про латынь! — добавил капитан.

Они двинулись вперед. В гербовом зале стояло около тридцати кроватей для больных, за которыми ходили всего две монахини.

Они успокоились, но испугались еще больше, столкнувшись в дверях с двумя взволнованно беседовавшими монахами. При виде Ларссона в полном облачении и следовавших за ним монахов в сутанах святые отцы отпрянули, явно удивленные. Капитан поднял руку, благословил их торжественным «*Rex vobiscum!*»* и хотел было величественно прошествовать мимо, когда шедший впереди монах остановил его:

— Ваше преподобие, — сказал он, оглядывая незнакомого прелата с головы до ног, — чем обязан наш замок вашему посещению в столь неурочный час?

— *Rex vobiscum!* — благоговейно повторил капитан. — Благочестивый патер Иероним приказал вам служить мессу... его преподобие нездоров... Он мучается от зубной боли...

— Давайте навестим его преподобие, — сказал один монах и направился в маленькую комнатку. Но другой схватил Ларссона за сутану и утащил на него так, что это не понравилось храброму капитану.

— *Quis es et quid vultis?*** — спросил монах, сверля его взглядом.

— Чего мы хотим? — возмутился Ларссон. — Катись ко всем чертям, паршивый павиан! — прорычал он, не в силах долее сдерживаться. Он втолкнул назойливого монаха в келью и запер дверь на засов.

Все четверо тут же пустились бежать по двору. Позади них монахи орали во все горло, им вторили монахини. Толпившийся во дворе народ стал прислушиваться.

* Мир вам! — *Лат.*

** Кто ты? Чего ты хочешь? — *Лат.*

— Если только не выйдем черным ходом к подъемному мосту, мы пропали.

Они поспешили туда. Шум позади нарастал. Они приблизились к страже у главных ворот.

— Halt werda?*

— Петр и Павел, — быстро ответил Бертель.

Их пропустили. К счастью, подъемный мост был опущен. Но в замке уже подняли тревогу.

— Прыгнем в реку, ночь темна, они нас не найдут! — крикнул Бертель.

— Нет! — воскликнул Ларссон. — Я свою девчонку не брошу, даже если это будет стоить мне головы!

— Здесь стоят три оседланные лошади, скорее!

— Ах, ты моя самая прекрасная из папских монахинь! Быстро, по коням!

И проворный капитан в одно мгновение поднял Кэтхен и посадил ее перед собой на спину лошади. Они помчались во весь опор в ночную тьму. А позади них слышались крики и громкий шум. На всех башнях били в колокола, и жители Вюрцбурга были немало удивлены: что же такое могло случиться в Рождественскую ночь?

4. ГЕРЦОГ БЕРНХАРД И БЕРТЕЛЬ

Три месяца спустя в один прекрасный день мы находим лейтенанта Бертеля в одном из покоев маленького воинственного двора герцога Бернхарда Веймарского, который пребывает то в Касселе¹¹², то в Нассау¹¹³, то еще где-нибудь, куда его приводят военные заботы. Была весна, шел март 1633 года. Туда-сюда сновали адъютанты, вестовые мчались во все концы, потому что герцогу была подвластна большая часть южной и западной Германии, а времена были довольно беспокойные.

После довольно долгого ожидания молодого офицера проводили к герцогу. Последний рассеянно разглядывал карты и бумаги и, казалось, ожидал, когда вошедший к нему обратится. Но Бертель молчал.

— Кто вы? — сухо и коротко спросил герцог.

— Густав Бертель, лейтенант кавалерии его королевского величества.

* Стой, кто идет? — Нем.

— Чего вы хотите?

Юноша сильно покраснел и не ответил. Герцог заметил это и бросил на него недовольный взгляд.

— Понятно, — сказал наконец герцог, — вы, как водится, подрались с немецкими офицерами из-за девиц. Я не терплю подобных выходов. Солдат должен беречь свою шпагу для отечества.

— Я не дрался, ваше высочество.

— Тем хуже. Вы пришли просить разрешения вернуться в Финляндию. Я его вам не дам. Мне нужны люди. Вы останетесь, лейтенант. Прощайте!

— Я пришел не для того, чтобы просить увольнения.

— Тогда какого дьявола вам надо? Вы что, онемели? Пусть церковники молятся, а краснеют барышни.

— Вы, ваше высочество, получили перстень от покойного короля...

— Я не припомню такого.

— ...который его величество просил вас передать офицеру из его охраны.

Герцог провел рукой по своему высокому лбу.

— Этот офицер убит, — сказал он.

— Этот офицер — я, ваше высочество. Я был ранен под Лютценом, потом попал в плен к людям императора.

Герцог Бернхард сделал знак Бертелю подойти поближе, пристально посмотрел на него и, казалось, остался доволен тем, что увидел.

— Закройте дверь! — приказал он. — И встаньте рядом со мной.

Бертель повиновался. Щеки его горели от волнения.

— На вашем лбу, юноша, печать вашего происхождения, и других доказательств мне не требуется. Ваша мать — дочь крестьянина из Стурчюро в Финляндии, ее имя Эмерентия Аронсдоттер Бертила.

— Нет, ваше высочество; та, кого вы назвали, — моя старшая сестра по отцу от его первого брака. Я никогда не видал своей матушки.

Герцог посмотрел на него с удивлением.

— Ну хорошо, — сказал он, помедлив и быстро просмотрев какое-то бумаги в своем портфеле. — Так вот, о вашей сестре Эмерентии Аронсдоттер. Ее отец оказал Карлу IX большие услуги, и ему было предложено просить о любой милости. Он попросил разрешения послать свою дочь, в то время его единственное

дитя, в Стокгольм, чтобы она воспитывалась при дворе вместе с дворянками — фрейлинами королевы.

— Об этом мне известно очень мало.

— Юной крестьянской дочери было тринадцать лет, когда ее отвезли в Стокгольм, где благодаря тщеславию и богатству отца она жила, одевалась и воспитывалась намного лучше девушек из ее сословия. Бертилу снело тщеславие, и коль скоро сам он не мог получить дворянский герб, то сослался на дворянское происхождение дочери по материнской линии, ибо его первая жена была сиротой из семьи Шернкорс, потерявшей наследство в результате Дубинной войны, а затем отвергнутой чванливыми родственниками из-за брака с богатым крестьянином.

— Мне об этом ничего не известно.

Юная Эмерсентия много страдала от зависти и насмешек своих ровесниц, многие из которых были беднее ее, но не желали знаться с простолюдинкой, которую к тому же ставили вровень с ними. Но ее красота была столь же замечательна, как доброта и ум. За два года она приобрела самые изысканные манеры, сохранив при этом сельскую сердечность и простоту. Это редкостное сочетание сердечности и обаяния напоминало старым людям прелестный образ из их молодости — Карин Монсдоттер.

Произнеся эти слова, герцог бросил на молодого офицера пронзительный взгляд, но выражение лица юноши не изменилось. Все это было для него ново и непонятно.

— Итак, — продолжал герцог, — эта красавица недолго оставалась незамеченной. Очень молодой человек знатного рода вскоре влюбился в прекрасную фрейлину, которой в то время было всего пятнадцать лет, и она ответила ему взаимностью со всей пылкостью первой любви. Это было замечено в окружении высокородного юноши. Политическая обстановка была тревожной, и гордости дворян претило внимание к девушке низкого происхождения. Было решено выдать ее замуж за офицера, который, как и она, не был дворянином, но отличился воинской доблестью во время войны с датчанами. Юным влюбленным это стало известно. Бедные дети, они были так молоды: ему семнадцать, ей пятнадцать, оба неопытны и влюблены. Вскоре юноша уехал на войну в Польшу; из замужества девушки ничего не вышло, и оскорбленные дворяне отослали ее с позором назад к финским лачугам. Вы хотите знать, что было дальше, лейтенант Бертельс?

— Я не понимаю, ваше высочество, какую связь имеет рассказ о судьбе моей сестры с...

— ...с кольцом, которое вы желаете получить? Терпение. Когда юноша уходил на войну и в последний раз тайно встретился с возлюбленной, она дала ему кольцо, историю которого я не знаю, но говорят, будто его сделал финский колдун и что оно имеет свойства амулета. Она заклинала возлюбленного носить его на пальце, не снимая, и сказала, что оно будто бы охранит его от всех бед и опасностей войны. Дважды забыл он об этом, однажды под Диршау...¹¹⁴

— Боже правый!

— ...а второй раз под Лютценом.

Душевное волнение Бертеля было столь велико, что кровь отхлынула от его щек, и он стоял бледный, как мраморное изваяние.

Вы узнали теперь, юноша, лишь часть того, что вам надлежит знать. Мы говорили о вашей сестре, а теперь поговорим о вас. Его величество король пожелал присвоить вам дворянский герб, которого ваша храбрая шпага вполне достойна. Но старый Арон Бертила, возненавидевший дворян, принял как милость все, чем наградил вас король, но не позволил вам принять дворянский титул. Король не мог пренебречь просьбой вашего отца... и потому вы до сих пор не имеете дворянского титула. Но я не связан никакими обещаниями с вашим отцом и потому, молодой человек, дарую вам то, чего вы доселе были лишены: рыцарские шпоры и герб.

— Ваше высочество... у меня просто отнялся язык. Чем я заслужил вашу милость?

Герцог Бернхард как-то странно усмехнулся.

— Чем? Друг мой, вы, видно, не вполне поняли мои слова.

Бертель молчал.

— Так вот, желаете вы этого или нет, для меня вы уже дворянин. Но об этом мы поговорим в другой раз. Ах да, ваш перстень. Я совсем забыл про него. Вы помните, как он выглядит?

И герцог стал усердно рыться в своих портфелях.

— Говорят, что король носил медный перстень, на внутренней стороне которого были магические знаки и буквы: R.R.R.

— Возможно, я куда-то задевал его, никак не могу найти. Может быть, перстень украли из моей потайной шкатулки. Если найду, вы его получите. Если нет, знайте, что вы получили больше, чем перстень. Ступайте, юноша, и будьте достойны моего доверия и памяти великого короля! Никто не должен знать того, о чем я рассказал вам. Прощайте, мы еще увидимся.

5. НЕНАВИСТЬ И ЛЮБОВЬ ПРИМИРЯЮТСЯ

И вот мы снова возвращаемся из весны в Германию назад, в северную зиму. Прежде чем идти далее кровавыми дорогами Тридцатилетней войны, мы хотим вернуться на север, в Эстерботтен, и проведать двух главных персонажей этого рассказа.

Стоял адвент¹⁵ 1632 года. Свирепая снежная буря замела старые укрепления Корсхольма и гнала холодные волны Ботнического залива на скованные льдом берега. Суда уже не ходили, и морем никто не прибывал. Эстерботтенские новобранцы отправились в июле через Стокгольм в Штральзунд, и родные с нетерпением ожидали известий о войне. И вот в середине ноября в стране поползли слухи о смерти короля; они витали в воздухе, появляясь неизвестно откуда. Но подобные слухи ходили и перемалывались уже не раз: люди верили в счастье Густава Адольфа, и когда слух не подтвердился, о нем забыли, решив, что это выдумка.

В жизни часто случается, что ненавидишь того, с кем поступил несправедливо, и испытываешь симпатию к тому, кому тебе однажды случилось сделать добро. Фру Мэрта из Корсхольма немало гордилась тем, как храбро она вела себя с пьяными солдатами, и приписывала спасение своему мужеству и стойкости. То, что она спасла жизнь Регине, было в ее глазах поступком огромной важности. Однако она не могла не восхищаться мужеством и готовностью к самопожертвованию, которые проявила при этом девушка. Знатная узница была ее гордостью. Она продолжала, как Аргус¹⁶, следить за каждым шагом Регины, но поместила ее в лучшую комнату, позволила старой Дорте прислуживать ей и кормила их довольно щедро. Регина тоже умерила свою гордость и холодность. Она даже иногда отвечала фру Мэрте словом или кивком. Безразличная ко всему, она истово молилась, перебирая четки, и так проходил день за днем. Фру Мэрта пребывала в полной уверенности, что ее узница если не дочь самого римского императора, то принцесса крови. И потому ей в голову пришла пагубная мысль заставить столь важную персону отречься от ложного папского учения. Она думала, что этим совершит нечто важное, что это принесет большую пользу, когда война закончится и Регину обменяют. И вот Регину пытались теперь обратить в другую веру, что в свое время пыталась проделать с Густавом Адольфом она сама. Но фру Мэрта действовала грубее и примитивнее. Она завалила бедную девушку лютеранскими облатками, книгами псалмов и про-

поведей, время от времени уговаривала ее, держала целые речи, пересыпая их пословицами, а когда и это не помогло, послала за священником. Но узница не поддавалась на уговоры. Регина была достаточно тверда в своей вере, чтобы терпеливо выслушивать все это, однако пребывание в Корсхольме становилось для нее с каждым днем все невыносимее, и кто может осудить ее за то, что она, вздыхая, с тайной тоской ждала дня, когда снова обретет свободу. Дорте же, напротив, вскипала каждый раз, когда этот еретик-пастор или храбрая фру принимались за свои проповеди. Она начала читать молитвы на латыни или нижненемецком и сыпать проклятиями, за что обыкновенно ее на несколько дней запирали в карцер замка, и она сидела там до тех пор, покуда тоска по ее милой фрёкен не заставляла ее смириться. Так Регина провела в неволе целых полгода.

Регине удалось получить от фру Мэрты разрешение заниматься рукоделием, и осенью ей выписали из Стокгольма красивые принадлежности для вышивания. Она стала вышивать золотом и серебром на полотнище шелка образ Девы Марии с младенцем Христом. Фру Мэрта по своей простоте думала, что Регина вышивает покрывало для потира¹¹⁷, которое захочет подарить церкви в Васе как свидетельство того, что принимает истинную веру. Но глаз воина быстро увидел бы в этом шитье будущее знамя, хоругвь католической веры, которую девушка тайно готовила в ожидании дня, когда она будет развешиваться впереди католического войска.

Однако фру Мэрта была не вполне довольна вышитым образом Святой Девы. Ей казалось, что нимб вокруг головы Матери Божией слишком велик для истинно лютеранского образа. И поэтому она стала подумывать о более подходящем занятии для узницы. Случилось так, что в город приехала Мери, дочь крестьянского короля из Стурчюро. Ей нужно было зайти в замок, и чтобы потрафить хозяйке замка, она принесла ей несколько мотков тончайшей льняной пряжи, которую никто не умел прясть так прекрасно, как она. Фру Мэрте пришлось в голову научить Регину прясть и попросить Мери обучить ее этому искусству. А Мери только того и надо было. Близкие узы, связывавшие узницу с королем, вызывали у нее огромный интерес. Она хотела услышать что-нибудь о нем. Великий незабвенный герой, в ее глазах он был окружен неземным сиянием. Ей хотелось знать, что он говорил, что делал, что любил и что ненавидел на земле; ей хотелось ощутить его славу во всем блеске, чтобы самой умереть потом в безвестности. Бедная Мери!

Так состоялось второе знакомство Мери с фрёкен Региной из Корсхольма. Вначале она была принята холодно и равнодушно, да и рукоделие мало радовало гордую фрёкен. Но мало-помалу кроткая и покорная Мери завоевала расположение Регины, и естественное желание узницы общаться с людьми за пределами тюрьмы заставило ее быть откровеннее. Правда, они пряли довольно мало, но много беседовали как госпожа и служанка, и Мери пригодились то, что прежде, в лучшие времена, она немного знала немецкий. Мери умело переводила все разговоры на жизнь короля. Она была умна и скоро разгадала романтическую любовь Регины. Регина же понятия не имела о прошлом Мери и объясняла ее вопросы естественным любопытством, которое важные персоны вызывают у человека необразованного. Иной раз ее поражало изящество выражений и благородство мыслей простой крестьянки. Порой Мери казалась ей личностью загадочной и полной противоречий, и тогда она спрашивала себя, не подослана ли к ней эта женщина. Но в следующее мгновение она уже раскаивалась, что подумала о ней дурно. Когда пряха смотрела на нее добрыми ясными глазами, что-то подсказывало ей — эта женщина не может лицемерить.

Так они сидели однажды в начале декабря. Они были такие разные, эти две женщины, которых свела здесь судьба, и все же в одном их интересы сходились. Одна из них — молодая, красивая, гордая, темноволосая, пылкая, княжна даже в тюрьме; другая — уже немолодая, светловолосая, бледная, изящная, кроткая, покорная и в то же время независимая. Семнадцатилетняя Регина выглядела двадцатилетней; в облике Мери, которой минуло тридцать шесть, было нечто детское и невинное, и иногда ей можно было дать семнадцать. Она годилась Регине в матери, и все же эта женщина, на долю которой выпало так много испытаний, казалась ребенком рядом с рано созревшей южанкой.

Фрёкен Регина начала прясть и оборвала много ниток, потом она с досадой отпихнула лен и занялась вышиванием. С ней такое случалось не раз, и ее учительница к этому привыкла.

— Красивая вышивка, — сказала Мери, поглядев на шелковое полотнище. — Что на ней будет изображено?

— Святая Божия Матерь, — ответила Регина, осеняя себя крестным знаменем, как она делала всегда, произнося имя Святой Девы.

— И что это будет? — спросила Мери с наивной доверчивостью.

Регина посмотрела на нее. В душу ей тут же снова закралось подозрение, но быстро улетучилось.

Я вышиваю хоругвь Святого трона для Германии, — открыто и дерзко сказала Регина. — В тот день, когда она будет развешиваться, еретики обратятся в бегство, страшись гнева Божией Матери.

— Когда я думаю о Божией Матери, то представляю ее себе доброй, милостивой и спокойной. Я думаю о ней как о матери, для которой существует только любовь.

Мери произнесла эти слова с нежностью в голосе.

— Матерь Божия — царица небесная, она карает безбожников.

— Но когда Матерь Божия пойдет в бой, король Густав Адольф встретит ее с обнаженной головой и опущенным мечом, преклонит перед ней колено и скажет: «Я сражаюсь не за Тебя, а за Твоего Сына, Спасителя нашего». А Дева Мария улыбнется и скажет: «Тот, кто сражается за Моего Сына, сражается и за Меня. Потому что Я — Мать!»

— Твой король — еретик! — гневно ответила Регина. Знаешь ли ты, Мерхен, как я ненавижу твоего короля?

— А я люблю его, — еле слышно произнесла Мери.

— Да, — продолжала Регина, — я ненавижу его, как смерть, как грех и погибель. Будь я женщиной, будь у меня рыцарские доспехи и меч, я почитала бы целью жизни своей разбить его войско и обратить в прах все, сотворенное им. Ты счастливая, Мерхен, тебе неизвестно, что такое война; ты не знаешь, что сделал Густав Адольф с бедными католиками. А я это видела, и моя страна, моя вера жаждет отмщения. Порой я готова убить его.

— А когда фрёкен Регина занесет свою белую руку с блестящим кинжалом над головой короля, он обнажит свою грудь, в которой бьется большое сердце, и величественно промолвит: «О прекрасная белая ручка, та, что вышила образ Божией Матери, вонзай кинжал, вот мое сердце, горящее лишь одним желанием: нести миру свет и свободу». И тогда белая рука медленно опустится, кинжал незаметно выпадет из нее, и Матерь Божия улыбнется, ибо с нею самой было то же самое. Никто не может ненавидеть, никто не может убить короля Густава Адольфа, ангел небесный идет рядом с ним и превращает ненависть в любовь.

Эти слова Мери сильно удивили и насторожили Регину. Она сказала:

— У короля есть амулет.

— Да, у него есть амулет, но это вовсе не медный перстень, о котором говорят люди, а его благородное сердце, которое жертвует собой ради всего высокого на земле. Когда он был еще совсем юным и не имел ни громкого имени, ни славы, а лишь

белокурые волосы и высокий лоб, он не носил никакого амулета, но и тогда благословение Божие, любовь и счастье сопутствовали ему. Все ангелы на небесах и все люди на земле любили его.

Черные глаза Регины затуманились слезами.

— А ты видела его молодым?

— Видела ли я его тогда? О да!

— И ты любила его, как все люди?

— Больше, чем все люди, фрёкен.

— И любишь до сих пор?

— Да, люблю... очень люблю. Как вы. Но вы хотите убить его, а я — умереть за него.

Регина резко поднялась, заплакала, обняла Мери и поцеловала ее.

— Не думай, что я хочу убить его... Я, о Святая Дева, тысячу раз готова была отдать свою жизнь, чтобы спасти его. Но ты не знаешь, Мерхен, какое это мучение, когда приходится бороться с собой, когда любишь человека, героя, олицетворение всего высокого и прекрасного на земле, а твоя святая вера велит тебе ненавидеть его, убить, преследовать до могилы! Тебе это неизвестно. Ты, счастливая, можешь только любить и благословлять его. Ах, однажды ночью мне захотелось примирить свою любовь со своей верой и повести его, могущественного, по пути к блаженству. И если бы святые угодники дали тогда моему слабому голосу силу, чтобы я смогла обратить его в веру истинную... Но святым не было угодно удостоить меня такой чести, и потому я сижу здесь узницей своей веры и своей любви. И если бы ангел небесный разрушил стены моей тюрьмы и сказал мне: «Беги! Твоя страна ждет тебя», я ответила бы: «Это воля моего любимого, ради него я страдаю и ради него останусь здесь». А ты думаешь, что я хочу убить его!

И Регина отчаянно зарыдала со всей силой жаркой, не находившей выхода страсти. Мери убрала черные локоны, упавшие на лоб девушки, посмотрела кротко и ласково в заплаканные глаза и сказала с вдохновением прорицательницы:

— Не плачь. Придет день, когда ты сможешь любить его, не проклиная.

— Этот день не придет никогда, Мерхен!

— Этот день придет, когда Густав Адольф умрет.

— О, пусть он не придет никогда! Лучше уж мне страдать всю свою жизнь... из-за него.

— Нет, фрёкен, этот день настанет. И не потому, что ты молода,

а он старше тебя. Разве ты не слышала, что говорят о младенце, который лучше и умнее других? Он не жалец на этом свете, он слишком хорош для этого мира! Так и Густав Адольф. Он слишком велик, слишком благороден, слишком хорош, чтобы жить долго. Поверь мне, они отнимут его у нас.

Регина со страхом глядела на нее.

— Ты не та, за кого выдаешь себя. Кто же ты? Как горят твои глаза! О Святая Дева, защити меня!

И Регина вскочила, объятая суеверным страхом. Возможно, она не отдавала себе отчета, не понимала, чего боится, но слова Мери показались ей странными, как могла говорить их простая крестьянка в этой варварской стране?

— Кто я? — повторила Мери так же кротко. — Я женщина, которая любит. Вот и все.

— И ты говоришь, что король умер?

— Один Бог властен над людскими судьбами. И самый великий из людей все же человек.

В это мгновение в комнату вошла фру Мэрта. Она выглядела торжественнее и бледнее обычного. Вместо пестро-полосатого шерстяного платья на ней был траурный убор, и вся она как-то переменилась.

Мери побледнела, как смерть, подошла к фру Мэрте и, пристально взглянув ей в лицо, монотонным голосом, с большим трудом выдавила из себя:

— Король умер!

— Так ты уже знаешь? — удивилась фру Мэрта. — Помилуй нас, Боже, час назад курьер привез письмо из Торнео.

Регина бессильно опустилась на стул.

Сердце у Мери бешено колотилось.

— Король погиб на поле брани, побеждая? — спросила она.

— На поле брани под Лютценом шестого ноября после славной виктории, — подтвердила фру Мэрта, еще больше удивляясь осведомленности Мери.

— Придите в себя, милостивая фрёкен, он жил и умер, как герой, достойный восхищения всего мира. Он пал в миг победы в ярчайшем сиянии своей славы; имя его будет жить в веках, и это имя мы обе будем благословлять.

Регина открыла глаза, сложила руки для молитвы.

— О Святая Дева, — сказала она, — благодарю Тебя за то, что ты позволила ему уйти из мира во всем величии и сняла проклятие с моей любви!

Мери опустилась на колени рядом с ней и тоже стала молиться.

А на дворе замка стоял высокий седовласый старик, на лице которого застыли боль и отчаянье.

— Проклятье тяготеет надо мной! — сказал он. — Все мои планы рухнули, даже не начав осуществляться. Цели, ради которой я жил, уже не достичь. О я глупец, как мог я надеяться, что он не умрет! Как мог верить, что король признает своих близких и будет жить долго, что внук Арона Бертилы, сын его дочери, покрывший себя славой на войне, получит как наследник шведскую корону! Король мертв, а мой отпрыск — никому не известный несовершеннолетний юнец! Не хватает только, чтобы он получил дворянский герб и встал вместе с прочими кровопийцами между теми, кто составляет подлинную силу государства — королем и народом. Ах, какой я глупец, какой глупец! Король умер! Отправляйся, старый Бертила, в могилу, к братоубийце королю Юхану¹¹⁸ и королю Карлу, преследовавшему дворян¹¹⁹, и отдай свои планы на съедение тем же червям, которые съели принца Густава и Карин Монсдоттер!

В это время во двор вышла Мери, старик в сердцах схватил ее за руку и сказал:

— Идем отсюда, больше нам нечего делать на этом свете!

— Нет, — отвечала Мери с затаенной болью, — не забывай, что у нас есть сын.

6. БИТВА ПОД НЁРДЛИНГЕНОМ

До сей поры шведский лев под началом Густава Адольфа и его приближенных мчался от победы к победе, и его огромные лапы повергали всех противников. Но вот пришла беда: в грандиозном кровопролитном сражении шведскому оружию было нанесено сокрушительное поражение.

Валленштейн, ненасытный и коварный, пал смертью предателя в Эгере. Галлас¹²⁰, этот сокрушитель армий, устремился в среднюю Германию, взял Регенсбург и пошел к вольному городу-государству Нёрдлингену в Швабии. Герцог Бернхард и Густав Хурн поспешили со шведским войском на его защиту. У них было лишь семнадцать тысяч солдат, у Галласа — тридцать три тысячи.

— Наступаем, — сказал герцог.

— Подождем, — сказал Хурн.

И они стали ждать. Пять тысяч солдат пришло им на подкреп-

ление. Так прошло четырнадцать дней. Шведы рвались в бой, не сомневаясь в победе, ибо постоянный успех сделал их самоуверенными.

Сражение разыгралось двадцать шестого августа 1634 года. Под Нёрдлингеном есть лесистый холм, называемый Аренсбергом, а между ним и городом — холм пониже, на котором солдаты императора возвели три редута. Шведские войска стояли на Аренсберге: Хурн на правом, а герцог на левом фланге. Пароль был тот же самый, что и под Брейтенфельдом и Лютценом: «С нами Бог!»

Ранним утром пошел сильный дождь. Еще раз мудрый Хурн предложил помедлить, но главнокомандующим был герцог, и он велел наступать. Хурн повиновался, и правый фланг ринулся вниз в долину между двумя высотами. Битву начала кавалерия. И это тут же обернулось неудачей. Императорские пушки пробили частые бреши в ее рядах, и превосходящие силы противника заставили конников отступить. Хурн послал две бригады штурмовать среднее укрепление. Они взяли его и стали преследовать врага, пока их не остановил Пикколомини. И тут вдруг загорелся склад боеприпасов. С оглушительным грохотом укрепление взлетело на воздух, а с ним множество шведов и финнов.

На левом фланге герцог вступил в бой с артиллерией и кавалерией. В первые минуты императорское войско дрогнуло, немецкая кавалерия герцога смяла ряды противника и продвинулась вперед. Но, казалось, боевой дух Тилли овладел в этот день солдатами императора. Они восстановили порядок, сомкнули ряды и, превосходя нападающих в числе, остановили их и отбросили назад с потерями.

Дело шло к полудню. Солдаты Хурна, которые восемь часов подряд находились под огнем врага, падали с ног от ран и усталости. С каждым часом теряли они надежду на победу, но их мужество было не сломить.

Наконец Хурн предложил отступить на Аренсберг, и герцог, положение которого было отчаянное, вынужден был согласиться. Почти два часа было у него на размышление, и за эти часы он позднее готов был отдать половину своей жизни.

В тылу у шведских полков в ложбине между двумя холмами протекала речушка с крутыми берегами, вздувшаяся от обильного дождя. Через нее был перекинут мост. Первой по мосту пошла артиллерия, чтобы занять надежную позицию на Аренсберге. Передние ряды фланга Хурна также успели войти в селение, а остальные

ные были оттуда всего на расстоянии двух ружейных выстрелов, когда стряслась новая беда.

Герцог Бернхард взялся задержать врага силами левого фланга, пока Хурн со своими людьми переправляется через речку. Увы, он скоро понял, что руководствовался храбростью, но не разумом. Ряды врагов смыкались все теснее, а атаки становились все сокрушительнее. Фронт герцога был прорван. Герцог послал эскадрон атаковать врагов с двух сторон. Но все было напрасно. Его смельчаки полегли, коня под ним застрелили, знамя вырвали из рук. Раненый, он чуть было не попал в плен, но тут сопровождавший его молодой офицер отдал ему своего коня, и он с трудом спасся. Смятые ряды его пехоты уже бежали, не в силах противостоять кавалерии на равнине. И когда герцог, истекая кровью, помчался галопом прочь, отпустив поводья, весь его фланг обратился в паническое бегство, уверясь в том, что все потеряно.

Как раз в этот момент кавалерия Хурна проходила по узкому мосту. И вдруг в ее задних рядах раздались беспорядочные крики, что битва проиграна и враг преследует их по пятам. Сначала отдельные всадники, а после и целые толпы кавалеристов герцога бросились к мосту. Они врзались в ряды пехоты, многих затоптали, а среди прочих посеяли панику. Хурн громовым голосом приказывал им опомниться, его ближайшие помощники пытались остановить бешено мчавшихся всадников, но безуспешно. На узком мосту все смешалось в кучу: люди, повозки, кони, мертвые и живые, и под конец у этого проклятого места сбился весь фланг герцога. За отступающими кинулись в погоню. На холм втащили несколько легких пушек, и они заговорили, осыпая ядрами плотную массу людей. Каждое ядро оставляло груды убитых и раненых. Всяк швед и финн был обречен на гибель.

Густав Хурн, смелый и умный финский полководец, которого Густав Адольф называл своей правой рукой, с остатками трех полков занял позицию у входа на мост, и поток бегущих мимо не смог увлечь его за собой. Со всех сторон на Хурна нападал враг, кольцо сужалось. Ему предложили жизнь, если он сдастся, он отвечал ударами меча — таков же был ответ его людей. Ни один из них не попросил пощады. Под конец, когда почти все вокруг него пали, его схватили и вместе с немногими оставшимися в живых рыцарями увели в плен.

Когда шведское войско, стремительно отступая, миновало Аренсберг, герцог Бернхард Саксонский-Веймарский стал рвать на себе свою длинную шевелюру и в отчаянье кричать, что он — безумец,

а Хурн — мудрый человек. Позднее герцог утешился Эльзасом, но в тот день у него были причины раскаяться в своей поспешности. Шесть тысяч шведов, финнов и их немецких союзников полегли на забрызганных кровью высотах под Нёрдлингеном; шесть тысяч были взяты в плен, в том числе Хурн и Виттенберг¹²¹, которым неприятель оказал известные почести. Из оставшихся десяти тысяч половина были ранены, а большинство оставшихся в живых солдаты дезертировали. Армия потеряла четыре тысячи обозных повозок, триста знамен и всю артиллерию. Жалкие ее остатки потянулись, грабя и терпя лишения, к Майнцу. Потеря свыше десяти тысяч людей значила для Швеции утрату военной славы, а для врага — уверенность в возможности победы. Битва под Нёрдлингеном стала поворотным пунктом в Тридцатилетней войне. В Европе одни ликовали, другие недоумевали до тех пор, покуда гений войны и удача не вернули шведскому оружию былую славу.

В числе тех, кто сражался рядом с Хурном у моста, были эстерботтенцы и знакомый нам капитан Ларссон. Приземистый, толстый капитан на этот раз и рта не открыл, что редко случалось с этим болтуном. Ему было не до того. Он сражался с раннего утра и не получил ни царапины на своем жирном теле. К чести его нужно заметить, что под Нёрдлингеном он мало думал как о рейнских винах, так и о баварских монахинях, а честно рубил и колол изо всех сил. Тем не менее позволим себе усомниться в том, что он насадил на свой меч тридцать императорских воинов, как он позднее вполне искренне рассказывал. Он был одним из тех, кто попал в плен вместе с Хурном, но более всего досадовал храбрый капитан не на то, что его пленили, а на то, что хорваты вмиг разграбили винные запасы шведской армии, которые они захватили вместе с обозом.

Другой наш приятель, лейтенант Бертель, сражался весь день рядом с герцогом. Это он отдал герцогу свою лошадь, когда коня герцога застрелили. Герцог не забыл этой услуги, и в дальнейшем мы об этом узнаем. Бертель, как и Ларссон, был в самой гуще боя, но ему повезло меньше. Он получил много ран, и поток отступающих шведов увлек его с собой на Аренсберг. Сам не зная как, он на следующий день оказался далеко от поля битвы и с отступающими остатками армии герцога был перевезен в Майнц.

7. БЛУДНЫЙ СЫН

Теперь перенесемся с вами в Крещение 1635 года, то есть в разгар зимы. В доме Арона Бертилы в Стурчюро в просторной печи горит, потрескивая, бревно. За окном бушует непогода, метет снег, завывает ветер; на льду реки воют волки; в расщелине прячется голодная рысь.

Через час-другой стемнеет. Крестьянский король из Стурчюро сидит возле печки на стуле с высокой спинкой и рассеянно слушает, как его дочь Мери при свете огня в печи громко читает главу из финского Нового Завета Агриколы¹²². Сильно сдал старый Бертила с тех пор, как мы его видели в последний раз. Высокие мысли постоянно роятся в его полысевшей голове, не давая ему покоя, хотя после смерти короля от всех его тщеславных планов мало что осталось. Так от потерпевшего крушение в бурном ночном море корабля остаются лишь качающиеся на волнах обломки. Все злоключения и беды бурной жизни не смогли одолеть его железную волю. Но горе от утраты блистательной надежды, тщетные усилия снова возвести рухнувший воздушный замок, горечь сознания, что его близкие сами разрушили дело его жизни, терзали его.

Одна мысль за два года состарила его на двадцать лет. Эта мысль доводила его почти до безумия: «Почему один из моих близких не стал королем Швеции?»

Время от времени Мери отрывает взгляд от Святой книги и с тревогой смотрит на своего старого отца. Она тоже изменилась. Тихая печаль подобна осени на зеленеющих лугах: не ломит человека, не убьет, но заставит поблекнуть свежую листву на древе жизни. Взгляд Мери полон тихой покорности. Одна лишь мысль озаряет ее душу, как отсвет заходящего солнца: «Когда я лягу в могилу, я увижу гордость своего сердца, в том мире он уже не носит земной короны».

Рядом с ней, чуть левее, сидит старый Ларссон, маленький и кругленький, как и его сын. Его добродушное морщинистое лицо приняло сейчас торжественное выражение, как и подобает при чтении Святой книги. Он молитвенно сложил руки и лишь изредка старательно поворачивает головни, чтобы Мери лучше были видны буквы. За ним сидит и благоговейно слушает часть многочисленной дворни, и эту освещенную огнем печи группу дополняют мурлыкающий серый кот и большой лохматый дворовый пес, свернувшийся клубком рядом с Мери и гордый тем, что служит ей скамеечкой для ног.

Когда Мери дошла до того места в 15-й главе Евангелия от Луки, где говорится про блудного сына, в глазах старого Бертилы загорелся мрачный огонь.

— Выродок! — пробормотал он себе под нос. — Растратить наследство — это еще можно простить! Но забыть старого отца... Видит Бог, это позор!

Мери продолжала читать и дошла до раскаянья блудного сына: «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его...»

— Что за слюняй этот отец! — воскликнул Арон Бертила вполголоса, снова как бы про себя. — Ему надо было бы связать его веревкой да отхлестать розгами, а после выгнать из дому, пусть идет назад к бесстыдным шлюхам да опорожненным винным кубкам.

— Отец! — прошептала Мери с мягкой укоризной. — Будь милосердным, как милосерден Отец Небесный, принимающий в свои объятия блудных детей.

— А если когда-нибудь вернется твой сын... — начал было Ларссон таким же тоном.

Но старик прервал его:

— Закрой свой рот и не печалься обо мне! — гневно ответил он. — У меня больше нет сына... который бы упал в раскаянье к моим ногам, — быстро добавил он, увидав при свете очага, как две больших прозрачных жемчужины заблестели на щеках Мери.

Мери продолжала:

— «Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим...»

— Довольно! — мрачно воскликнул старик. — Постели мне постель да вели людям идти отдыхать — уже поздно.

В это мгновение под окном заскрипел под копытами снег. Не доумевая, кто бы это мог быть в праздничный вечер, Ларссон подошел к окну и, дохнув на замерзшее стекло, увидел, как разгулялась на дворе пурга. Ко двору подъехали сани, запряженные парой лошадей, которые еле тащились по сугробам. Из саней вылезли две закутанные в овчины фигуры.

Ларссона тут же осенила догадка, и он бросился встречать прибывших. Мери молнией метнулась за ним. Дверь со скрипом захлопнулась за ними и снова отворилась, но не сразу.

И вот в дом вошел с опущенной головой юноша в военном мундире, стряхнул снег со шляпы с плюмажем; он подошел к старому Бертиле, опустил на одно колено, низко склонил красивую кудрявую голову и сказал:

— Отец, я пришел просить твоего благословения!

Мгновение Бертила, казалось, боролся с самим собой, губы его слегка задрожали, и рука невольно потянулась, чтобы поднять юношу, склонившегося к его ногам. Но тут же его лысый затылок закинулся, рука отдернулась, в зорких глазах замечались темные молнии, и губы больше не дрожали.

— Уходи, — строго сказал он, — уходи, блудный сын, возвращаясь к своим братьям-дворянам и сестрам — знатым барышням! Что тебе надо в доме простого крестьянина, которого ты презираешь? У меня нет больше сына!

Но юноша не ушел.

— Не гневайся, отец, — сказал он, — если по молодости лет я жаждал славы и ослушивался иной раз твоей воли и приказа. Но кто послал меня к знатым и великим мира сего и велел завоевывать почести и славу? Кто послал меня на войну, чтобы я прославил свое крестьянское имя рыцарскими подвигами? Кто послал меня туда, где рядом с великим королем я подвергался искушениям, видя вокруг блестящие примеры для подражания? Ты и только ты, мой отец. А теперь ты отталкиваешь своего сына, который ради тебя дважды не принял дворянской грамоты.

— Ты! — гневно воскликнул старик, еще сильнее распаляясь. — Это ты отказался от дворянской грамоты, ты, кто, стыдясь своего честного крестьянского имени, взял себе другое, которое тебе кажется благороднее? Нет, ты на коленях вымаливал дворянский герб. Не знаю, что тебе предлагали, какое мне до этого дело. Знаю лишь, что с младенчества пытался внушить тебе, выродок, что нет другой законной власти, кроме королевской и народной. А все, что стоит между ними, будь то дворянство или духовенство, что угодно, — это лишь злая сила, погибель, проклятие для отечества, для королевства... Вот что я пытался втолковать тебе. И боюсь, что плодом моей науки стало лишь то, что ты пролез в круг дворян, коих я ненавижу и презираю, добиваясь их никчемных титулов, ослепленный их пагубным для королевства блеском, впитывая их предрассудки, а сейчас стоишь в родительском доме с ложью на устах и дворянской спесью в сердце. Уходи, худородный крестьянский сын. Арон Бертила был и остается крестьянином! Я изгоняю и проклиная тебя, изменник!

С этими словами старик повернулся и широкими шагами, с высоко поднятой головой направился в маленькую каморку, оставив Бертеля коленопреклоненным.

— Послушай меня, отец мой! — крикнул Бертель ему вслед,

быстро распахнув мундир и вытащив свернутую бумагу. — Вот это я хотел разорвать у твоих ног!

Но старик уже не слышал его. Бумага упала на пол, и когда Ларссон секунду спустя развернул ее и стал читать, оказалось, что это выданное регентским правительством в Стокгольме по ходатайству герцога Бернхарда Веймарского представление ротмистра лейб-гвардии драгунского полка Густава Бертеля на получение дворянской грамоты и герба с именем Бертельшёльд.

Пока все еще пребывали в растерянности из-за непоколебимой жестокости старого Бертиса, в дом ворвались два кнехта фру Мэрты из Корсхольма.

— Здорово, ребята! — крикнули они работникам. — Вы не видели ее? Можете неплохо заработать. Двести далеров серебром получит тот, кто схватит и привезет назад живой или мертвой фрёкен Регину фон Эммериц, государственную узницу в Корсхольме!

Услышав это имя, Бертель страхнул с себя охватившее его ощущение и, вскочив на ноги, схватил говорившего за ворот.

— Что ты сказал, негодяй? — крикнул он.

— Ну, ну, милостивый юнкер, поосторожнее, когда имеешь дело с людьми его королевского величества. Я сказал, что немецкой изменнице и папской колдунье фрёкен фон Эммериц удалось сегодня ночью бежать из замка Корсхольм и что тот, кто откажется помочь доставить ее назад, есть государственный изменник и...

Он не успел договорить. Сильная рука Бертеля повергла его на пол.

— Что ж, отец, ты сам этого хотел! — воскликнул юноша.

В одно мгновение он распахнул дверь, сел в сани и помчался навстречу бушующей вьюге.

8. БЕГЛЯНКА

А сейчас посмотрим, где находится фрёкен Регина и что заставило ее пренебречь трогательной опекой фру Мэрты и предпринять рискованную попытку бежать среди зимы в незнакомой стране, в краю дремучих лесов и вересковых пустошей, не зная ни дорог, ни тропинок, даже не умея объясниться на языке живущих здесь людей.

Мы не должны упускать из виду, что события в этом рассказе происходят во времена, когда между католицизмом и лютеран-

ством шла непримиримая вражда, когда даже лютеране, распалые жестокостью войны, проявляли не больше, чем католики, терпимости к инакомыслящим. Вбив однажды себе в голову, что ее долг обратить фрёкен Регину в лютеранство, фру Мэрта продолжала оставаться в этом искреннем заблуждении, и никто не мог ее переубедить. Поэтому она упрямо мучила бедную девушку то книгами, то пасторами, то угрозами, обещая свободу и не скупясь на угрозы. А когда Регина отказалась читать книги и слушать пасторов, фанатичная старуха велела каждое утро читать молитвы в ее комнате, а по воскресеньям служить там обедню. Все эти старания обращались, по словам фру Мэрты, в прах из-за упрямства Регины. Чем больше фру Мэрта изощрялась, тем спокойнее, холоднее, недоступнее была ее узница. Регина считала себя мученицей за веру и ради святого дела стойко переносила все унижения.

Но в жилах девятнадцатилетней девушки текла горячая южная кровь, и она с трудом сохраняла внешнее спокойствие. Иногда Регине хотелось взорвать Корсхольм. Но ее тихая ярость разбивалась о старые серые стены, и единственным средством спасения оставалось бегство. День и ночь думала она об этом и наконец нашла способ обмануть бдительную фру Мэрту.

В замок Кайянеборг¹²³ был заточен в то время печально знаменитый Юханнес Мессениус¹²⁴. Юность он провел среди иезуитов в Браунсберге и был послан ими как апостол католицизма в языческую Швецию. Арестованный за оскорбительные сочинения и козни в пользу партии Сигизмунда¹²⁵, он вот уже девятнадцатый год сидел здесь, как крот в норе. Слухи о его учености, о его несчастной судьбе и преданности католической вере дошли до фрёкен Регины. И в уме узницы созрел смелый и дерзкий план. Однажды под Новый год пришел в Корсхольм бродячий немецкий знахарь с аптечкой за плечами. Такие доктора и аптекари в одном лице имели неплохой доход. Зачастую им доверяли даже знатные люди, ибо во всей стране не было ни одного дипломированного врача, а аптека всего одна — в Або, да и та небогатая. Фру Мэрта, которая каждый раз, поколотив своих работников, жаловалась на колики и одышку, была весьма милостива к чужеземному доктору. За два дня он почувствовал себя здесь как дома. Случилось так, что его позвали и к фрёкен Регине, жаловавшейся на головную боль.

Чутье фру Мэрты на этот раз изменило ей. Через день юная фрёкен, ее старая Дорте и лекарь убежали из замка. Выломанная снаружи оконная решетка и брошенная веревочная лестница не

оставляли никакого сомнения в том, что именно лекарь помог узникам беспрепятственно миновать стены и валы. От ярости и изумления фру Мэрта позабыла и про колики, и про одышку. Она перевернула все вверх дном и в замке, и в городе, и немедленно послала своих кнехтов во все концы ловить беглецов. Насколько ей это удалось, мы скоро узнаем.

Но вернемся ненадолго к Бертелю, который, обуреваемый противоречивыми чувствами, мчитя в бурю вместе со своим верным слугой Пеккой. Этот честный малый никак не мог понять такой глупости: зачем, только что прибыв в родной дом, ехать прочь от теплого очага и кипящего котла с кашей в дремучий лес, где одни сугробы да волки. Бертель и сам не понимал, что с ним. Только что приехав северным путем через Торнео¹²⁶ в отпуск из Германии, где армия стояла на зимних квартирах, он поспешил через Стурчюро в Васу, что и было тайною целью его поездки. И что же он нашел? Гнев отца и пустые стены, где она находилась и где ее больше нет.

— А куда ехать-то? — сердито спросил Пекка, когда они выехали на проезжую дорогу.

— Куда хочешь, — так же сердито ответил его господин.

Пекка повернул в сторону Васы, туда было не более трех миль пути. Бертель заметил это.

— Осел! — воскликнул он. — Ведь я приказал тебе ехать на север.

— На север! — повторил Пекка и со вздохом повернул к Нью Карлебю, куда было целых семь миль пути.

В то время не было приличных постоянных дворов с перекладными для удобства проезжающих, но крестьянские усадьбы по пути встречались, и тот, кто ехал по государственным делам, мог сменить лошадей. Остальным же приходилось всю дорогу ехать на своих. В пасторских усадьбах всегда можно было заночевать, на каждом пасторском дворе был странноприимный дом с соломой на постелях и холодной едой на столе для всякого знакомого и незнакомого. И вполне естественно, что Пекка, мечтавший о котле каши, осмелился спросить: нельзя ли заночевать на пасторском дворе в Вёро?

— Гони в Юлихэрмэ! — отвечал ротмистр с досадой, закуты-ваясь поплотнее в овчину от ледяного пронизывающего ночного ветра.

— Дьявол разберет капризы этой знати! — пробормотал Пекка себе под нос и свернул на узенький проселок.

Сугробы здесь намело в сажень, и путники могли продвигать-

ся вперед лишь фут за футом. Через час вконец измотанные лошади стали останавливаться через каждые десять шагов. Бертель, погруженный в свои мысли, ничего этого не замечал. В этой глухомани их со всех сторон окружила тишина, прерываемая лишь завыванием вьюги, далеко окрест не было видно человеческого жилья.

Некоторое время Пекка шел рядом с саними, подставляя свои широкие плечи, чтобы приподнять сани там, где они увязали глубоко в снегу и лошадям было не под силу сдвинуть их с места. Но под конец и его жилистые руки не выдержали. Сани остановились посреди огромного сугроба.

— Ну? — крикнул нетерпеливо Бертель. — Что там стряслось?

— Ничего, спокойно отвечал Пекка. Могилы нам уже готова — не надо искать ни звонаря, ни пастора.

— Далеко отсюда до ближайшего хутора?

— Думается мне, с милю.

— А ты не видишь вон там, в лесу, не огонь ли это?

— Хм. Вроде похоже на огонь.

— Выпрягай лошадей, поедem туда верхом.

— Да Господь с вами, милостивый господин. Здесь дело нечисто. В этом лесу привидения так и бродят — я это давно знаю. С тех самых пор, как крестьяне убили здесь фогта¹²⁷ во время Дубинной войны и сожгли его усадьбу вместе с невинными детьми.

— Чушь! Говорю тебе, едем туда!

— Будь по-вашему.

Через несколько секунд лошадей распрягли, и оба путника отправились верхом на огонь, который то исчезал, то снова мерцал за заснеженными соснами.

— А скажи-ка мне, Пекка, — начал Бертель, — что ты знаешь об этой глухомани? Здесь прежде жили поселенцы?

— Большое было поселение. И все это забрал фогт, огородил канавами длиной в несколько миль во времена покойного короля Йёсты¹²⁸. Отец мой сказывал, что здесь снимали урожай не одну сотню бочек зерна. Фогт выстроил себе большую новую усадьбу и жил здесь что твой принц. И тут, как говорят, пришли ночью крестьяне и сожгли усадьбу вместе с людьми и скотиной. Лишь молодую фрёкен спас ваш батюшка, а после взял ее в жены. Он был тоже замешан в этом деле, батюшка-то ваш.

— А отстроили после усадьбу?

Да уж, владения фогта были лакомый кусочек, и нашлись

люди, пожелавшие переехать сюда, подразнить черта. Но черт-то их перехитрил. Тут стало блазнить день и ночь, да так сильно, что люди опасались за свою жизнь, не говоря уже о грешных душах. Я как вспомню, что мы едем по тому же самому лесу... Ой, ой, ой!

Тут Пекка, обычно не отличавшийся болтливостью, внезапно замолчал и придержал лошадь.

— Что еще опять стряслось? — нетерпеливо спросил Бертель.

— Я больше не вижу огня.

— И я не вижу. Его загораживают деревья.

— Нет, милостивый господин, вовсе не деревья загородили его, он провалился под землю, заманив нас сюда, в глухой лес. Говорил я, что так оно и будет. Теперь живыми нам отсюда не выйти.

— Да езжай ты, дьявол тебя подери, не стой на месте, а то замерзнешь до смерти вместе с конем. Мне кажется, там что-то вроде дома.

— Хорош домик: большой серый валун. Спаси нас Бог!

— Помалкивай и езжай вперед. А вот мы выехали на луговину с молодым леском, вон там что-то виднеется.

— Святые угодники, смилуйтесь над нами! Это как раз то место, где стояла усадьба. Разве вы не видите, что старые очаги торчат из-под снега? Ни шагу дальше, господин...

— Так и есть... Это домишко...

Бертель и его спутник с трудом продвигались вперед. Лошади то и дело спотыкались о большие камни или проваливались в глубокие ямы, засыпанные снегом. Сугробы высотой в человеческий рост и поваленные на землю стволы делали эту местность почти непроходимой. Приблизиться к покосившейся торпарской лачуге¹²⁹ трудно было еще и потому, что перед ней росли, возможно, намеренно посаженные, две огромные косматые ели со свисающими до земли ветвями. У единственного окошка лачуги снаружи был прилажен ставень, и ветер то распахивал, то захлопывал его — оттого-то свет в окне то был виден, то исчезал.

Бертель спрыгнул с лошади, привязал ее к ели и подошел к окну, чтобы заглянуть в дом. Он полагал, что беглецы отправились на север, и они не пошли по большой дороге, а старались выбирать проселки, чтобы укрыться от преследователей. Но кто сказал ему, что беглецы выбрали именно эту дорогу?

Тем не менее сердце у него сильно билось, когда он приблизился к окну. Из четырех квадратов окна два были из рога, который применялся еще до стекла. Один был разбит и заткнут кукушки-

ным льном, и только в четвертом было вставлено стекло, но оно до того замерзло, что вначале он ничего не мог различить. Бертель подышал на стекло, но, к своей досаде, увидел, что намерзший изнутри лед мешает ему удовлетворить любопытство. В это мгновение его лошадь заржала.

Тут Бертель уже хотел было постучать в дверь, как свет в окошке закрыла тень, и лед на окне быстро оттаял от дыхания человека, которому не терпелось узнать, что творится за окном. Вскоре Бертель смог различить лицо с горящими глазами.

Вид этого лица поразил ночного всадника. Мечтая о прекрасной Регине, Бертель надеялся увидеть нечто более приятное. Однако перед ним предстало смертельно-бледное лицо, обремененное плотно прилегающим черным кожаным капюшоном, отчего оно казалось еще бледнее. Бертель уже где-то видел его. Он напряг свою память, и ему вспомнилась кошмарная ночь в баварских лесах. Он невольно отпрянул и на мгновение остановился в нерешительности.

Пекка, продолжавший сидеть на лошади и готовый к отступлению, заметил это.

— Быстрее прочь отсюда! — крикнул он. — Говорил я вам, в этом лесу живет сам дьявол!

— Да, ты прав, — ответил Бертель, смеясь над своим испугом. — Если дьявол и принял человеческий облик, то он живет в этой лачуге. Но именно потому мы поглядим на этого милостивого господина и заставим его пустить нас на ночлег. Эй, там! Отворите дверь проезжающим!

С этими словами он несколько раз с силой ударил в запертую дверь.

9. ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

После долгого ожидания дверь дома отворилась, и на пороге показался сгорбленный старик с белоснежной бородой. Привыкший по закону войны брать силой то, что тебе не дают добровольно, Бертель оттолкнул старика и без лишних церемоний вошел в покосившуюся лачугу. К своему великому удивлению, он увидел, что она пуста. Догорающая лучина, воткнутая в стену, бросала неверный свет на это бедное жилище. Другой двери, кроме входной, не было. Ни души, кроме седобородого старика и большой косматой собаки, которая разлеглась у печи и оскалилась при виде непрошеного гостя.

— Где человек в черном кожаном капюшоне, который только что был здесь? — резко спросил Бертель.

— Упаси Бог вашу милость, — смиренно, но уклончиво отвечал старик. — Кому тут еще быть, кроме вашей милости?

— Говори правду! Кого ты здесь спрятал? Под кроватью?.. Нет. За печкой?.. Нет. И все же тут только что горел огонь в печи. Ты залил его водой? Отвечай!

— Здесь холодно, ваша милость, и избу продувает.

Но возникшие подозрения не оставляли Бертеля. Обшарив глазами комнату, он заметил какой-то маленький предмет, упавший за скамью. Это была изящная мягкая дамская перчатка на заячем меху.

— Признавайся, старый мошенник! — гневно воскликнул юноша.

Старик, казалось, растерялся, но лишь на мгновение. Он с хитрым видом кивнул на угол возле печки. Бертель направился туда, и тут пол разверзся под ним. Он ступил в открытый подпол в тени от печи. Тут же крышка подпола захлопнулась над ним и послышался лязг мощного крюка, который и лишил юношу возможности оттуда выбраться.

Бертель упал в яму, в которой бедные люди хранят овощи и пиво. Яма была неглубока, и падение не причинило ему вреда, тем не менее можно понять его гнев. Маленькая перчатка сказала ему все. Должно быть, она здесь, прекрасная, гордая и несчастливая княжеская дочь, которой он так долго мысленно поклонялся. Может, она попала в лапы жестоких разбойников, сидит, томится в плену в такой же крысиной норе, и надо же, чтобы именно теперь, когда он, тосковавший по ней не один год, оказался так близко от нее, когда она, возможно, нуждается в его помощи и защите, он пал жертвой гнусной хитрости, сидит взаперти в этой дыре, еще более жалкой, чем лачуга, под полом которой он сейчас находится. Тщетно пытался он поднять могучими плечами половицы — они были неумолимы, как судьба, которая уже давно пытается обмануть его самые светлые надежды.

Тем временем он стал различать какие-то тихие голоса и шаги, будто по полу прошло несколько человек. Потом снова наступила тишина.

Бертель надеялся теперь лишь на Пекку, который побоялся войти в дом. Но того тоже не было слышно. Так в томительной неизвестности прошло три или четыре часа. Неужели ему суждено умереть от голода и холода?

Но тут наверху снова слышались шаги, крюк был снят и крышка откинута. Окоченевший Бертель вылез из сырой ямы, надеясь, что это Пекка вызволил его наконец из ловушки. Но вместо Пекки он увидел старика с белоснежной бородой, такого же кроткого, послушного, каким он показался ему и при встрече. Старик подал ему руку и помог выбраться. Разгневанный юноша схватил старика за костлявое плечо и хотел уже было жестоко расправиться с ним.

— Негодяй! — воскликнул он. — Тебе что, жизнь надоела? Понимаешь ли ты, что делаешь, безумец? Что стоит мне разбить твою голову, жалкое создание, о камни твоего же собственного очага?

Старик поглядел на него с тем же смирением.

— Давай, сын Бертилы, — отвечал он. — Убей меня, верного слугу твоей матери. К чему мне дольше жить?

— Что ты сказал? Верного слугу моей матери?

— Да. Я последний из тех, кто жил в этих местах, превратившихся ныне в леса и пустоши. Это я сказал Арону Бертиле, когда усадьба моего господина была сожжена и залита кровью: «Спаси нашу фрёкен!» И Бертила спас ее, будь проклято и благословенно его имя! Он вынес мою нежную и благородную фрёкен из огня, и она, дворянская дочь, стала послушной женой этого спесивого крестьянина.

— Что же ты, спятил, что ли? Если ты верный слуга моей матери, зачем ты запер меня в этой проклятой яме? Хороша верность!

— Убей меня, господин. Мне девяносто лет. Убей меня, я... католик!

— Ты? Клянусь своим мечом, я начинаю понимать тебя.

— Я последний католик в этой стране. Вот уже двадцать лет, как я не слушал мессу, не был окроплен святой водой. Но, слава Создателю, час назад я причастился.

— Здесь был монах?

— Да, один из наших.

— И с ним была молодая девушка и ее старая дуэнья? Отвечай!

— Да, господин. Они ушли вместе с ним.

— А когда я пришел, ты спрятал их?

— Да, господин, на чердаке.

— А после заманил меня в эту мерзкую крысиную яму и дал этим женщинам и монаху убежать?

- Да, не стану вас обманывать.
- И какую же ты награду ждешь от меня за это?
- Любую. Может быть, даже смерть.

— Нет, старик, я не палач: король научил меня уважать верность. — И Бертель растроганно пожал старику руку. — Но скажу тебе только одно, — продолжал он. — Ты, может быть, думаешь, что я явился, чтобы отвезти их назад в тюрьму. Так ты ошибаешься. Клянусь рыцарской честью, я пришел сюда, чтобы пролить кровь и отдать жизнь за свободу фрёкен Регины и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ей бежать. Можешь ты теперь показать мне, куда они убежали?

— Нет, ваша милость, — спокойно ответил старик. — Молодую женщину охраняют святые и мудрый человек. Вы молоды, кровь у вас горячая, вы можете лишь навлечь на них гибель. Поэтому поворачивайте лучше назад — следы беглецов вам не найти!

— Вот упрямый осел! — пробормотал Бертель с досадой. — Прощай, найду их и без тебя!

— Оставайтесь здесь до утра, ваша милость! Сегодня вам придется идти пешком, а до ближайшего жилья не меньше мили. А завтра поедете верхом.

— Грабитель! Так ты угнал моих лошадей?

— Да, ваша милость. Вы, верно, голодны. Вот котел с вареной репой. Откушайте.

«Ах, — думал Бертель, меряя шагами комнатуху, — и за десять бутылок рейнского не хотел бы я, чтобы Ларссон увидел меня сейчас. Он сравнил бы меня со странствующим рыцарем из Ламанчи, с которым случались всякие смешные приключения. Как мне выбраться отсюда, когда кругом сугробы высотой в человеческий рост?»

— Однако, — сказал он вслух, — я кое-что придумал. Не поможет ли мне то, чем я любил заниматься в детстве? Скажи, старик, где ты хранишь лыжи?

— Лыжи? — смущенно переспросил старик. — Нет у меня лыж.

— Есть. Я вижу по твоему лицу. Ни один финн не живет в лесу без лыж. Неси их сюда, быстро!

Не слушая отговорки старика, Бертель распахнул крышку лаза, ведущего на чердак, и через минуту спустился вниз с парой превосходных лыж.

— Ну, старик! — воскликнул молодой ротмистр. — Как тебе мои новые лошадки? Я называю их моими, потому что ты, держу

пари, продашь мне их за эти звонкие серебряные далеры. Лошадки послушнее этих вряд ли бегали по высоким сугробам. Если желаешь передать привет монаху и фрёкен Регине, я охотно передам.

— Негоже вам идти по лесу одному, молодой господин, — ответил старик. — Ведь там ни дорожки, ни тропинки. Лес тянется на много миль, и в нем полно волков. Это верная смерть.

— Ты ошибаешься, дружок, — возразил Бертель. — Там есть два следа: один от моих лошадей, другой от лошадей беглецов. Скажи-ка мне, они поехали верхом или в санях?

— По-моему, верхом.

— Значит, точно в санях. Ох и шельма же ты. Но я прощаю тебя за эти прекрасные лыжи. Через два часа я их догоню.

С этими словами Бертель поспешил прочь.

Было еще очень рано, до восхода солнца оставалось часа два-три. Буря, к счастью, утихла, небо прояснилось, и на бледном небосводе засияли, мерцая, зимние звезды. Мороз крепчал, осыпая ветки и сугробы алмазными льдинками, которые одновременно очаровывали и слепили глаза. Вид заснеженного леса и снега ясным звездным зимним утром вызывает в душе северянина особые чувства. Блеск, чистота и свежесть этой возвышенной картины заставляют вспомнить детство и блистательные надежды юности. Здесь все беспредельно, возвышенно и свободно. Можно сказать, в этом безмолвьи зимней ночи надежда мертва, и все же в груди путника она живет, теплая и прекрасная. Как будто здесь, в глуши, она сосредоточила в этой крохотной точке, одиноком сердце всю свою трепещущую жизнь лишь для того, чтобы она была еще ярче и прекраснее на фоне ледяного безмолвия, тишины и света звезд.

Бертель тоже ощутил эту свежесть, эту затаившуюся жизнь. Он был молод и впечатлителен. Проносясь, словно ветер, между стволами деревьев и сугробами, он снова чувствовал себя прежним мальчиком, который летал по снегу на равнинах Стурчуро и ставил в лесу силки на тетеревов. Правда, сначала ноги с непривычки не слушались. На оледенелых склонах лыжи разъезжались и натывались на преграды, но вскоре он обрел прежнюю ловкость и уверенно шел, обходя все кочки и коряги.

Теперь нужно найти следы беглецов, а это было нелегко. Целый час он искал их в направлении Юлихэрмэ, но безуспешно. Недавно утихшая буря замела все следы. Он различал лишь свежие следы волков, да изредка с тяжелых от снега веток взлетали

куропатки. От бессонницы, голода и усталости силы юноши стали убывать. К восходу солнца мороз стал крепчать и посеребрил инеем темные усы Бертеля и плюмаж на шляпе.

Наконец на лесной дороге, где косматые ели были преградой ветру, он увидел свежие следы санных полозьев и конских копыт. Он помчался по ним с удвоенной силой. Следы то терялись в снегу, то появлялись снова там, где дорога была защищена от ветра деревьями. На юго-востоке над верхушками деревьев показался оранжевый диск солнца. Утро было ясное и морозное, вокруг — ничего, кроме леса и снежных сугробов.

Но вот далеко на севере показался столбик дыма, тянувшийся к ясному золотистому утреннему небу. Бертель повернул туда и прибавил шаг. Дорога здесь была поровнее, и вскоре усталый путешественник подкатил к одинокой усадьбе, стоявшей рядом с большим трактом. Первым, кого он встретил, был Пекка, задававший корм лошадям.

— Болван! — крикнул Бертель, приятно изумившись. — Кто послал тебя сюда?

— Кто? — радостно повторил Пекка. — Видно, сам дьявол. Я ждал, ждал возле этой проклятой развалюхи, а после веки мои отяжелели, и я заснул прямо в сугробе. Проснулся, слышу конское ржанье — и что же я вижу? По лесной дороге катят прочь сани, похожие на наши, запряженные парой скачущих галопом лошадей. «Это либо мой господин, либо сам черт», — сказал я себе, но все-таки решил ехать следом. Голодный, как собака, я все же взгромоздился лошади на спину и поехал за ними. Вскоре лошадь устала, сани я потерял из виду, а после попал сюда, в эту усадьбу, съел миску горячей каши и возблагодарил всех католических и лютеранских святых. Ведь если под Лютценом и Нёрдлингеном было жарко, то здесь, в Юлихэрмэ, черт знает как холодно.

— Хорошо, — сказал Бертель, — они не уйдут от нас. Но знаешь, Пекка, бывают минуты, когда голод и сон сильнее любви. Пошли в дом.

Бертель велел вскипятить молока, выпил кружку и бросился, изнемогая от усталости, на солому постели. Там мы и оставим на несколько часов нашего странствующего рыцаря.

10. КАЙЯНЕБОРГ

Далеко на севере в больших и глубоких озерах под оковами льда шумят водопады. Они не замерзают никогда, никогда не вянут зеленые иглы сосен, никогда не отступают серые скалы, теснящие в узких ущельях пенистые реки. Здесь силы природы ведут тысячелетнюю борьбу без отдыха и перемирия. Река не устает бороться с утесами, утесы не устают дразнить реку. Скалы не стареют. Огромные пространства болот борются с пашнями. С незапамятных времен колышется синева прозрачного морозного неба волнами северного сияния и смотрит с невозмутимым величавым покоем на редкие домишки по берегам водопадов.

Это край ночи и страха. Это тень на золотых картинах финской поэзии. Здесь мрачное колдовство ловит в сети легковверных людей. Здесь могила героев, здесь гора мучений. Здесь последние неуклюжие великаны растрчивали свою силу в каменных пустынях. Здесь стоял замок Хиниси¹³⁰, где каждая ступень лестницы была высотой в сажень. Здесь вынашивали древние времена свои мрачные мысли, сюда они отступали шаг за шагом, прячась от света новых времен, и здесь они таились в бессильной ярости. Язычество, утратившее свое величие, крадется здесь к селениям, напав на овечью шкуру христианства, оно не дает людям покоя и отравляет им жизнь жалким ночным кладбищенским суеверием.

Великие северные воды, разъяренные борьбой в сотнях водопадов, впадают для короткого отдыха в озеро Улео. До этого они еще раз изливают свой гнев в двух огромных водопадах Койвукоски и Эмме возле маленькой Кайяны. Двумя огромными валами бешено обрушиваются они в тесные ущелья, и человек, привыкший дерзать, бороться с природой и в конце концов побеждать, останавливается, пораженный, и сознает свое бессилие. До самого последнего времени люди, плывущие по водопадам вниз к Улеаборгу, вынуждены были высаживаться здесь на берег, и лошади тащили лодки по улицам Кайяны.

Между водопадами Койвукоски и Эмме возвышается посреди протока гладкая скала, на которую с обоих берегов можно перебраться по мосту. На скале высятся развалины серых стен древней крепости, и о них плещутся волны. Эта крепость Кайянеборг была заложена в 1607 году при Карле IX для обороны от русских. История ее коротка, в ней лишь одно блистательное событие, и оно связано с ее падением. Возможно, придет время, и мы поговорим об этом в нашем рассказе.

А сейчас мы вернемся в 1635 год. Крепость еще молода и сильна. По форме она напоминает стрелу, указывающую, куда течь потоку. Считается, что взять ее невозможно, разве что заморить ее защитников голодом или затащить на вершины скал тяжелую артиллерию. Но как вражеским войскам найти дорогу к Кайянеборгу? Вокруг бескрайние леса и пустоши, ни одной большой дороги, по которой может проехать колесный транспорт. Летом сюда ведут пешеходные дорожки да конные тропы, а зимой олени мчат пулку¹³¹ по замерзшим льдам.

Стоит зима, толстая корка льда у берегов и стен крепости говорит о том, что морозы были сильные, но все же не смогли сковать бурный поток. Несколько солдат в овчинных полушубках везут дрова из ближнего леса. В стране царит мир, подъемный мост опущен, и по мосту через проток стучат лошадиные копыта. И тут на крепостном дворе начинается перебранка. Рослая пожилая женщина с резкими неприятными чертами лица расталкивает солдат, подходит к возу и начинает набирать охапку дров, велев женщине помоложе делать то же самое. Солдаты принимают ся честить ее худыми словами, но она не удостоивает их ответа. Подошедший на шум унтер-офицер, узнав у солдат, в чем дело, строго велит женщине положить дрова на место. Женщина отказывается повиноваться, унтер-офицер приказывает отобрать дрова силой. Тогда женщина занимает позицию у стены, поднимает полено и грозит размозжить череп первому, кто подойдет к ней. Солдаты ругаются и смеются, унтер-офицер стоит в нерешительности, дерзость женщины заставляет всех отступить.

Тут на лестнице появляется пожилой человек, перед которым все почтительно расступаются. Это королевский наместник Вернстедт. Увидев его, женщина, разразившись потоком слов, сообщает ему, как несправедливо с ней поступают.

— Да, милостивый полковник, — говорит она. — Вот так осмеливаются обращаться с человеком, который является гордостью Швеции, ее украшением. Мало того, что его бессовестно заперли в этом Богом забытом углу, так еще оставляют замерзать насмерть. Вы бы посмотрели, какие нам дали дрова! Боже милостивый, сырые, гнилые поленья, которые только дымят, а тепла вовсе не дают, даже чернила у него на столе не оттаивают. Но я скажу вам, полковник, я, Люсия Гротхусен, не позволю больше так издеваться надо мной. Это хорошие дрова, и я возьму их, господин полковник, из-под носа у этих бездельников, которых стоило бы повесить на самой высокой сосне в лесу Палдамо. А ну, прочь с

дороги, лоботрясы! Постыдитесь меня и полковника! Дрова мои — и все тут!

Комендант улыбнулся.

— Пусть она берет эти дрова, — сказал он солдатам. — А не то никому в замке покоя не будет. А ты, Люсия, прикуси-ка свой злой язык, из-за которого столько шума. А не то я снова могу посадить тебя и твоего мужа в ту самую камору, где вода протока шумит под самым полом. Это в благодарность мне за послабление ты все время затеваешь свару в замке? Позавчера шумела из-за того, что тебе дали мало мыла на стирку, вчера чуть не с бою взяла в кухне овечью лопатку, сегодня скандалишь из-за дров. Берегись, Люсия, мое терпение может кончиться.

Женщина посмотрела коменданту прямо в лицо.

— Ваше терпение! повторила она. А как вы думаете, на сколько хватит моего? Скоро девятнадцать лет, как мы сидим в этом волчьем логове. Девятнадцать долгих лет это позорное пятно лежит на Швеции оттого, что самый великий ее человек сидит в тюрьме, как злодей!.. Запомните, что я говорю: самый великий в Швеции, ибо придет день, когда мы с вами и все эти боровы двуногие, эти пивные бочки, станем добычей червей и о нас не вспомнят, как о свинье, которую вы сегодня закололи, но имя Юханнеса Мессениуса будет сиять в веках. Ваше терпение! А у меня хватало терпения все эти нескончаемые годы сражаться с вами за кусок хлеба, за полено дров, за подушку для этого великого человека, с которым вы так жестоко обращались? Я была единственной, кто поддерживал силы в этом хрупком теле и укреплял его душу для большого труда, который он в эти дни завершил! Знаете ли вы, что такое страдать, как я, терпеть лишения, как я? Быть оторванной от своих детей, жить с отчаяньем в сердце и горькой улыбкой на устах, делая вид, что у тебя еще есть надежда, когда она уже потеряна... знаете ли вы, что это такое, полковник? А вы мне говорите про свое терпение!

Громкие насмешки солдат прерывают ее. Только теперь она замечает, что комендант счел благоразумным удалиться. Уже не в первый раз Люсия Гротхусен заставляла коменданта обращаться в бегство! Она не побоялась бы погнать ко всем чертям и целый гарнизон. Однако, к своей досаде, она не может этим облегчить свое сердце. Она швыряет полено в самого злостного из своих обидчиков и спешит скрыться вместе с дровами за низенькой дверью. Солдат, которому удар полена пришелся по ноге, хватается за руганью кидает ей вслед. Оно ударяет Люсию по пятке, она

вскрикивает от боли и гнева и исчезает за дверью под хохот и насмешки солдат.

Во время этой перепалки по западному дворцовому мосту в замок входит группа незнакомцев. Они просят провести их к коменданту. Солдаты смотрят на них с любопытством. На незнакомцах простая крестьянская одежда, но все обличье выдает в них иностранцев. Впереди идет пожилой человек с изжелта-бледной кожей, лицо его еле видно из-под лохматой шапки-ушанки из собачьего меха, скрывающей почти всю голову. За ним следует молодая женщина в домотканой полосатой шерстяной юбке и плотно облегающей фигуру шубе из новой красивой телячьей шкуры. Ее лицо тоже почти полностью скрыто под капюшоном из грубого фетра, отороченным беличьим мехом, запорошенным инеем. Из-под капюшона необычайным блеском сияют темные глаза. Третья в этой компании — маленькая старушка, закутанная в шубу. Их проводят к коменданту. Человек в шапке из собачьего меха показывает бумагу, из которой следует, что он, Альбертус Симонис, назначен правительством его королевского величества военным лекарем при войске, отбывающем весной в Германию, а в настоящее время направляется из Данцига северным путем через Выборг и Кайяну в Стокгольм. Комендант внимательно смотрит на человека, проверяет его бумаги и решает, что они настоящие, после чего велит проводить путников в комнату в восточном крыле замка, хорошенько накормить и напоить их после долгой дороги в столь суровое время года.

11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК

Комната, в которую мы сейчас входим, расположена в южной башне замка и не отличается уютом. Она большая и темная. Хотя окно выходит на юг, его толстые железные решетки скупно пропускают косые лучи зимнего солнца. Один угол комнаты занимает огромный открытый очаг из серого гранита, в другом — высокий угловой шкаф, под окном стоит стол; несколько стульев, грубо сколоченная кровать и рядом с ней сундук — вот и вся обстановка. Все вещи в комнате выглядят новыми и от этого не кажутся такими грубыми. К тому же комната напоминает нечто среднее между кухней и кабинетом. Наука поселилась ближе к окну. Стол, заляпанный чернильными пятнами, завален пожелтевшими рукописями и большими фолиантами в переплетах из пергамента;

дверцы углового шкафа распахнуты, и видно, что его приспособили под библиотеку. Та часть комнаты, что ближе к очагу, выглядит совсем иначе. Возле мешка с мукой стоит корыто; в горшке несколько сушеных шук и кусочки шпига, тут же стоит чан с водой, а полка уставлена грубой глиняной посудой.

Таково жилище, отведенное комендантом Вернстедтом государственному преступнику Юханнесу Мессениусу, его жене и служанке. Ранее они много лет ютились в убогой лачуге. Эта комната по крайней мере сухая, с высоким потолком, а мебель в ней — любезный подарок коменданта. Мессениус занимает часть комнаты, прилегающую к окну, женщины — другую ее половину.

За большим заляпанным чернилами столом сидит закутанный в шубу сгорбленный седой человек. На ногах у него сапоги из оленьей кожи, на голове толстая шерстяная шапка. Тот, кто видел этого человека в счастливые дни его могущества, когда он громко выступал в консистории Упсалы или гордо, по-королевски, распоряжался сокровищами шведского государственного архива, с трудом узнал бы в этом высохшем от лет и горя сгорбленном старике человека дерзкого ума, противника Рудбекка¹³² и Тегеля¹³³, ученого, талантливого, высокомерного проповедника католицизма и заговорщика Юханнеса Мессениуса. Но стоит взглянуть пристальнее в эти зоркие беспокойные глаза, взгляд которых, очевидно, всегда устремлен в будущее, чтобы проникнуть в его тайны, так же как он проник в тайны прошедшего, стоит прочесть слова, только что выведенные на бумаге его дрожащей рукой, слова, исполненные сознания собственного достоинства, граничащего с самодовольством, и станет ясно, что в этой жалкой обители трудится душа, не сломленная временем и судьбой, гордая, с негибимой, как и прежде, волей и энергией.

Старик перестал писать, но не отрывает взгляд от бумаги.

— Да, — говорит он задумчиво и проникновенно, — так оно и будет. Пока я жив, они топчут меня, как червяка в пыли, но когда я умру, они поймут, кого топтали. *Gloria, gloria in excelsis!** Придет тот день, хотя бы и через сотню лет, когда этого жалкого узника, ныне забытого миром и прозябающего в глуши, станут с почетом и уважением называть отцом шведской истории... Тогда, — продолжает он с горькой усмешкой, — тогда они уже ничего не смогут сделать со мной. Тогда я буду мертв. Как это, однако, удивительно. Мертвый человек, давно сгнивший в могиле, живет в своих

* Слава, слава в вышних! — *Лат.*

трудах. Его дух, оживляющий и облагораживающий, остается на века. Все его страдания при жизни, оскорбления и гонения, тюремные решетки — все будет забыто, лишь имя его будет сиять столетия, и мир, отличающийся короткой памятью и неблагодарностью людской, скажет в легкомысленном восхищении: «Это был великий человек!»

В эту минуту в комнату входит женщина, с которой мы уже познакомились на крепостном дворе. Она тихо открывает дверь, идет на цыпочках, словно боится разбудить спящего ребенка. Потом осторожно и медленно кладет тяжелую охапку дров. Без шума не обойтись. Старик вздрагивает, очнувшись от своих мыслей, и сердито набрасывается на нее:

— Ты позволяешь себе беспокоить меня, женщина! -- восклицает он. -- Разве я не говорил тебе многократно, чтобы ты не таскала сюда всякую дрянь. Понимаешь ли ты это... *Iura?**

— Дорогой старичок, я только принесла тебе немного дров. Ты мерз все эти дни. Не сердись, теперь тебе будет хорошо и тепло, дрова преотличнейшие.

Люсия Гротхусен была особа крайне вспыльчивая, злая, готовая спорить со всем белым светом, но на этот раз она промолчала. Как сильно изменилось ее положение в доме! Она всегда обожала своего мужа, но когда он был полон сил и находился на вершине славы, она, личность сильная, заставляла его подчиняться своей воле и гнуться, как камыш под ветром. В те времена досточтимый и грозный Мессениус был полностью под башмаком у жены. Теперь же роли поменялись. По мере того как его физические силы ослабевали и жизнь приближалась к концу, безмерная любовь к нему у его жены вступала в противоречие с ее вспыльчивой властной натурой и делала то, что прежде было немыслимым: ее необузданный характер сменился ласковой покорностью. Она ходила за ним, как мать за больным ребенком; из страха потерять его предпочитала терпеть все, старалась ласкою смягчить его ворчливый нрав и никогда не сердилась на его вспышки гнева. Вот и сейчас только легкое дрожание губ выдавало, чего ей стоило сдержаться.

— Ну ладно, ладно, — ласково сказала она, делая несколько шагов ему навстречу, — не сердись, мой старичок, ведь ты знаешь, что тебе это вредно. В следующий раз положу под дрова половик,

* Волчица. -- *Лат.*

чтобы не расстраивать тебя. А на ужин приготовлю тебе отменную баранью лопатку... Знаешь, мне нелегко было ее раздобыть. Я чуть не силой вырвала ее у коменданта на кухне...

— Неужто, женщина, ты осмелилась клянуть подачки у тирана? Клянусь Юпитером, ты, верно, считаешь меня собакой, коли думаешь, что я стану лакомиться объедками с его стола? К тому же я вижу, ты хромаешь. Отчего это? Отвечай, почему ты хромаешь? Видно, опять носилась по замку, клянула и поскользнулась где-нибудь на лестнице!

— С чего ты взял, что я хромаю? — спросила Люсия с деланной улыбкой. — Верно, я и в самом деле где-то ушибла ногу. Неблагодарный! — пробормотала она себе под нос. — Ведь это из-за тебя я так страдаю.

— Ступай и дай мне закончить свою эпитафию.

Но Люсия не ушла. Она приблизилась к нему с полными слез глазами и обвила его шею руками.

— Твою эпитафию! — повторила она таким слабым голосом, какой никогда не исходил из этих увядших уст, созданных, казалось, лишь для того, чтобы поизносить колкости и ругательства. — О Господи, — медленно продолжала она, — неужто все самое великое и прекрасное на земле должно в конце концов обратиться в прах? Но тот день еще далек от нас, мой друг, должен быть далек. Позволь мне взглянуть на надгробное слово великого Юханнеса Мессениуса!

— Разумеется, — ответил польщенный старик, хотя польстила она ему от всего сердца, — ты — хозяйка дома, и тебе следует прочитать мою эпитафию, поскольку ты велишь начертать ее на моей могиле. Взгляни, друг мой, что ты об этом скажешь?

«Здесь покоятся кости доктора Юханнеса Мессениуса.

Душа его в Царстве Божием, а слава гремит по всему миру».

— Никогда еще, — всхлипнула Люсия, — не было столь правдивых слов на могиле великого человека. Но не будем больше об этом. Давай лучше поговорим о твоём великом труде, о твоей «Скандии». Знаешь, я предчувствую, что ее слава вскоре завоюет тебе свободу.

— Свободу! — с грустью повторил Мессениус. — Да, ты права, свободу мертвеца гнить, где он пожелает.

— Нет! — продолжала Люсия с жаром и восторгом. — Твои глаза еще узрят свою славу. Люди будут читать твою «Scandia

illustrata»*, и твое имя будет вытиснено на ней золотыми буквами... Весь мир будет кричать с восторгом: «Никогда не было на Севере равного ему!»

— Неужели этот час настанет! — с сомнением воскликнул Мессениус. — О, кто вернет мне свободу, чтобы я смог увидеть плоды своих трудов и восторжествовать над врагами своими? Кто вернет мне свободу, свободу и десять лет жизни, дабы я мог увидеть плоды своих трудов?

— Я! — ответил глухой голос из глубины комнаты.

При звуке этого голоса Мессениус и его жена обернулись с суеверным страхом. Тюремное одиночество и дикая природа во все времена служили благодатной почвой для суеверия. Не раз колебался Мессениус, желая углубиться в заманчивый лабиринт каббалы и черной магии. Лишь упорный труд, вера в Бога и уговоры жены удерживали его от этого. А сейчас на его вопрос прозвучал неожиданный ответ — с небес ли, из преисподней ли, но все же ответ, соломинка для его утопающей надежды.

Короткий зимний день подходил к концу, сумерки уже сгустились в той части его комнаты, что была ближе к двери. Из этого мрака вышел человек с изжелта-бледным лицом, в котором мы узнаем того же, кто несколько часов назад проник в замок под именем военного лекаря Альбертуса Симониса. Очевидно, его как лекаря и допустили к узнику, поскольку весь медицинский персонал замка состоял, между прочим, из цирюльника, практиковавшего как хирург, и старой солдатской вдовы, способности которой излечивать внутренние болезни были всеми признаны, в особенности когда она подкреплялись заговорами и колдовством. Это было запрещено духовенством, но она постоянно прибегала к ним, чаще всего в жарко натопленной бане.

— *Rax vobiscum!*** — торжественно произнес незнакомец, подходя ближе к окну.

— *Et tecum sit Dominus****, — ответил Мессениус столь же торжественно, с любопытством, смешанным с беспокойством.

— *Procul sit a consula lingua mulieris*****, — продолжал тем же тоном незнакомец.

Люсия, учившая латынь в юности, как все дочери образованных отцов, и знавшая ее лучше, чем в девятнадцатом веке девицы

* «Иллюстрированная Скандия» (Швеция). — *Лат.*

** Мир вам! — *Лат.*

*** Да пребудет и с тобой Господь. — *Лат.*

**** Пусть язык женщины не мешает нашим переговорам. — *Лат.*

знают французский, не стала ждать, когда ее попросят выйти, и, бросив испытующий взгляд на таинственного незнакомца, удалилась.

Мессениус подал знак гостю сесть с ним рядом. Весь последующий разговор они вели на латыни.

— Приветствую тебя, великий человек, которого несчастье лишь возвысило! — начал незнакомец, хитро затрагивая самую слабую струну в душе Мессениуса.

— Храни Бог тебя, кто удостоил посещения всеми покинутого! — отвечал Мессениус с необычной для него любезностью.

— Юханнес Мессениус, знаешь ли ты меня? — продолжал незнакомец, повернувшись к окну.

Думается, я где-то видел твое лицо, — неуверенно ответил узник. — Но то было очень давно.

— Помнишь ли ты мальчика в Браунсберге¹³¹, на несколько лет моложе тебя, который, как и ты, воспитывался в школе святых отцов? Вы вместе посетили Рим и Ингольштадт.

— Припоминаю... Мальчик, обещавший со временем стать опорой церкви... Иеронимус Матие.

— Я и есть Иеронимус Матие.

Мессениус вздрогнул. О, как же время, жизненный опыт и самоубийственное учение иезуитов изменили некогда прекрасные черты мальчика! Отец Иероним, ибо это был он, заметил выражение лица Мессениуса и поспешил добавить:

— Да, мой досточтимый друг, тридцатипятилетняя борьба на благо единой святой церкви заставила розы на этих щеках увянуть навсегда. Я трудился, я страдал все это тяжелое время. Как и ты, великий человек, я, хотя и не удостоенный столь великого дара, неустанно трудился на винограднике, не ожидая другой награды, кроме венца святых мучеников в раю. В годы моей юности ты проявил ко мне искреннюю дружбу, и я хочу отблагодарить тебя, как могу. Хочу вернуть тебе свободу и жизнь.

— Ах, досточтимый отец, — отвечал старик, тяжело вздыхая, — я недостоин того, чтобы ты, верный сын святой церкви, протягивал руку мне, жалкому отступнику. Ты, видно, не знаешь, что я отрицал нашу веру, что я рукой и устами поклялся в верности окаянному лютеранскому учению, которое втайне презираю; что было время, когда я оскорблял святой орден безбожными словами.

— Как мне не знать этого, мой досточтимый друг! Ведь слава о трудах и деяниях великого Мессениуса облетела на крыльях всю

Германию! Но то, что ты сделал, было только для видимости, чтобы втайне творить добро для нашей святой римской церкви. Разве не учит нас Священное Писание отвечать хитростью на хитрость в это безбожное время? *Perinde ac serpentes estate* — будьте мудрыми, как змеи. Святая Дева простит вас, и церковь отпустит грехи, если вы трудились ради нее. Да, достойнейший человек, если ты семь раз отрекался от своей веры и семьдесят раз погрешил против всех святых и догматов церкви, то это зачтется тебе в заслугу, а не в вину, если ты мысленно совершал это ради доброго дела. Если твой язык лгал, а рука убивала, то это было богоугодно и свято, коли речь идет о том, чтобы вернуть заблудшие души в лоно церкви. Мужайся, великий человек, я отпускаю тебе грехи во имя церкви.

— Да, святой отец, учение, которое досточтимые отцы-иезуиты в Браунсберге заронили в мою юную душу, я продолжал исповедовать. Но теперь, на закате жизни, кажется мне, что совесть моя не все приемлет...

— Сие есть искушение дьявола и не что иное! Гони его прочь!

— Может, ты и прав, святой отец! И все же, чтобы успокоить свою совесть, я письменно признал лютеранское учение, а как же теперь я стану открыто прославлять правоверную католическую церковь?

— Спрячь это признание, не показывая его ни одному смертному! — торопливо прервал его иезуит. — Его время еще придет.

— Не понимаю твоей цели, святой отец!

— Слушай меня внимательно. Ты, верно, не думаешь, старик, что я без важной цели решился идти сотни миль по этой глухомани, ежедневно подвергаясь опасности голода, холода, нападения хищных зверей и еще более хищных людей, которые сожгли бы меня живьем, узнав, кто я и зачем пришел сюда. Ты думаешь, что если у меня, благодаря моим скромным способностям, есть широкое поле деятельности, я не хочу свершить еще больше? Итак, хочу вкратце пояснить тебе: вопрос в том... А нас никто не слышит? В этих стенах нет тайных ходов?

— Будь спокоен. Ни один смертный не слышит нас.

— Знай же, — продолжал иезуит тихим голосом, — что сейчас мы снова взялись осуществлять наш старый план, от которого мы никогда не отказывались: вернуть еретическую Швецию в лоно римской церкви. Есть две силы, противостоящие нам; слава Богу, они с каждым днем становятся все более безвредными. Дом Стюартов в Англии опутан нашими сетями и втайне делает все нам

на пользу. Швеция еще не опомнилась после битвы под Нёрдлин-
геном и не в силах долее сохранять сильную позицию в Германии.
Время настало, планы созрели. Мы должны воспользоваться бес-
силием врага. Через несколько лет Англия упадет в наши руки,
как зрелый плод. Швецию, еще не утратившую славу былых побед,
мы заставим сделать то же самое. Средством для этого будет но-
вый король.

— А Кристина, дочь короля Густава?..

— Она лишь девятилетний младенец, и к тому же женщина. У нас
нет недостатка в сторонниках в Швеции, которые еще помнят из-
гнанную королевскую семью. Слабый Сигизмунд мертв. Владислав,
его сын, тянет со всей нетерпеливостью юности руки к короне
предков. И она будет принадлежать ему.

12. ИСКУСИТЕЛЬ

— Владислав на шведском троне? Сомневаюсь, что мы дождем-
ся этого дня, — усомнился Мессениус.

— Дослушай до конца, — продолжал иезуит, вдохновленный
далеко идущим планом, созревшим в его коварном уме. — Ты сам,
Мессениус, сотворишь это чудо.

— Я?.. Жалкий узник? Это невозможно.

— Для святых и гениев нет невозможного. Швед любит коро-
лей. Он следует за ними и в хорошем, и в плохом. Особое почте-
ние питает он к старому королю Йёсте. Если теперь доказать, что
король Йёста на смертном одре раскаялся и объявил лютеран-
скую веру еретической, осудил и проклял Реформацию и прика-
зал своему младшему сыну Юхану, склонному к папизму, испра-
вить со временем заблуждение отца...

— Как ты можешь говорить такое? — воскликнул Мессениус
с неподдельным удивлением. — Да это явная ложь, противореча-
щая последним словам короля Йёсты, сказанным в присутствии
свидетелей...

— Успокойся, досточтимый друг! — холодно перебил его иезу-
ит. — Далее, если доказать, что второй столп лютеранства Каро-
лус Девятый также, умирая, провозгласил Реформацию кощунством
и бедою...

На бледных щеках Мессениуса выступил румянец.

— Тогда, — продолжал иезуит с той же непоколебимой дерзо-
стью, — из рода Васы остаются лишь слабоумный Эрик XIV¹³⁵,

приверженец папы Юхан III¹³⁶ и явный католик Сигизмунд¹³⁷, с которыми у нас не будет никаких хлопот. С глаз шведского народа, уверенного в том, что его величайший король, да и все его последние короли в конце жизни признали католицизм, спадет пелена, он с раскаяньем признает свою вину и вернется в лоно правоверной римской церкви.

— А как ты, святой отец, собираешься вопреки всем свидетельствам доказать отречение шведских королей от своей веры?

— Я уже говорил, — вкрадчиво продолжал иезуит, — что главную достойную роль здесь может сыграть лишь гениальный Юханнес Мессениус. Все знают, что ты самый ученый в Швеции человек и величайший летописец. Известно, что в твоих руках были и сейчас находятся такие исторические документы и тайны, каких нет ни у кого во всем королевстве. Воспользуйся своим положением тонко и умно. Напиши документы, каких никогда не было, выдумай события, которые никогда не происходили.

— Как ты смеешь мне это предлагать! — воскликнул Мессениус, побагровев.

Иезуит не понял, насколько сильно его душевное волнение.

— Да, — продолжал священник, — дело это трудное, но выполнимое. К тому же, быстро бежав в Польшу, ты будешь в безопасности...

— И ты предлагаешь это мне... мне?

— Да, — добавил Иероним прежним тоном. — Я считаю, что Густав Адольф представил бы для тебя наибольшую трудность, и поэтому я беру его на себя. Стало быть, тебе остается представить лишь Густава I и Карла IX в нужном для нашего дела свете на пользу святой церкви...

— Изыди, нечистый дух! — закричал Мессениус в ярости, которой иезуит, несмотря на всю свою хитрость, никак не ожидал. — Ах ты подлец, ах ты негодяй, ах ты лжец! Да как ты посмел посягнуть на самое святое, как смел подумать, что я, Юханнес Мессениус, работавший столько лет и заслуживший честь быть величайшим летописцем Скандии, вдруг столь позорно, столь неслыханно стану исказить историческую правду, которую я неустанным трудом восстанавливал! Сию минуту убирайся прочь... быстро... прочь, в геенну!

С этими словами старик, вне себя от гнева, принялся швырять в голову иезуита все, что попадалось ему под руку: книги, бумаги, чернильницы, песочницу — с силой, заставившей дерзкого монаха отпрянуть.

Изжелта-бледные щеки священника стали на мгновение еще бледнее, потом он отступил на несколько шагов, выпрямился во весь рост и распахнул полы испанского шелкового камзола. В сгущающихся сумерках на груди его вдруг засверкал бриллиантовый крест в терновом венце из рубинов.

Это произвело на Мессениуса магического действие. Его гневный голос умолк, ярость почти мгновенно сменилась страхом, колени задрожали, он зашатался и, верно, упал бы, если бы не успел с трудом ухватиться за высокую спинку стула, стоявшего возле письменного стола.

Иезуит снова приблизился к нему, пронзая узника ледящим душой взглядом, словно гремучая змея.

— Помнишь ли ты еще, старик, — сказал он надменным тоном повелителя, делая паузы после каждого отчеканенного слова, чтобы усилить впечатление, — помнишь ли ты, какое наказание налагают церковь и законы нашего святого ордена за грехи? За отречение — смерть! А ты отрекался семь раз! За кошунство — смерть! А ты кошунствовал семь раз. За непослушание — смерть! А ты ослушался семь раз! За прегрешение против Святого Духа — проклятие! И ты заслужил его! За ересь — костер! И ты заслужил его! За строптивость и неуважение к святыням — вечный огонь! А ты продолжаешь упорствовать!

— Пощади, святой отец, пощади! — воскликнул Мессениус, извиваясь, как червяк, от страшных угроз иезуита.

— Так вот, — продолжал величественно и надменно иезуит, — я в последний раз предлагаю тебе выбирать между славой и проклятием, хотя ты и не заслужил этого. Неужто ты думаешь, жалкий отступник, что я, глава немецких и северных иезуитов, не подчиняющийся никому, кроме святого отца в Риме, пренебрег тысячью опасностей, отыскивая тебя в этом жалком углу, чтобы позволить тебе так просто отделаться от меня, незримого властителя Севера, стерпеть твоё непослушание и трусость? Во имя нашего святого ордена я снова спрашиваю тебя, согласен ли ты исполнять клятву, которую дал в юности, и беспрекословно повиноваться моим, твоего господина и судии, советам и приказам?

— Да, святой отец, — дрожа, ответил узник, — согласен.

— Слушай тогда, какое наказание я налагаю на тебя. Ты говоришь, что всю жизнь стремился достичь одной цели — заслужить у потомков имя величайшего летописца Севера, и думаешь, что достиг этой цели.

— Да, святой отец, это моя цель, и я достиг ее.

— Твоя цель ложна! — снова громогласно воскликнул иезуит. — Твоя цель греховна, ибо она от нечистого. Ты трудился для собственной славы, а не для святой церкви. И посему велю тебе низвергнуть свой кумир — мирскую посмертную славу и служить цели сегодняшней — победе римской церкви на Севере. Я хочу, чтобы ты описал жизнь Густава I и Карла IX таким образом, чтобы из этого явствовало, будто все, что они сделали для Реформации, стало погибелью и проклятием и для них самих, и для королевства. И я желаю, чтобы ты подкрепил сию новую историю надежными документами, чтобы народ поверил им, невзирая ни на какие доказательства противного. Документами, которых нет, я это хорошо знаю, но которые ты напишешь. Быть может, через полвека люди обнаружат, что они фальшивы, но в данный момент они должны принести пользу.

— И, стало быть, — сказал Мессениус голосом, в котором, дрожа, слились самые различные чувства: страх, гнев и унижение, — стало быть, для потомков я буду подлым лжецом, бесчестным оквернителем священной правды истории...

— И что с того? — перебил его с усмешкой иезуит. — Что с того, что ты, жалкое орудие, пожертвуешь своим именем, если церковь одержит большую победу? Чего будет стоить людская похвала, если душа твоя станет гореть в преисподней? И что тебе людское презрение, если благодаря ему ты заслужишь мученический венец на небесах?

— Но дело правды... справедливый суд истории!

— Ха! Что значит историческая правда? Это рабыня, которая плетется по следам человеческих заблуждений, попугай, бессмысленно повторяющий их глупости? Нет, это скорее действительность, какой она должна быть, очищенной от заблуждений, освобожденной от преступлений и нелепостей, Царствием Божиим на земле, столь же мудрой, сколь могучей, сколь добродетельной, столь святой и мудрой.

— Но тогда мы сами должны предписывать Богу, что хорошо и мудро? Разве не сам Он сказал вам, какова она есть на самом деле?

— Так ты, малодушный отступник, еще осмеливаешься торговаться и спорить со своим господином о том, что справедливо и что несправедливо?! Выбирай и повинуйся! Либо конец брэнной жизни и вечная смерть, либо райское блаженство и ликование святых. Еще одно слово, от которого будет зависеть твоя судьба: будешь ты повиноваться мне?

— Да, я повинуюсь! — отвечал дрожащий и подавленный узник.

Тут иезуит умолк и удалился, подав холодным взглядом своего рабу знак, что он прощен.

13. ABI, MALI SPIRITUS*

Прошло около недели после тайного разговора, который мы с вами слышали. Все это время иезуит не выпускал узника из виду. Он приходил к нему каждый день под видом врача, незаметно прокрадывался в комнату Мессениуса и проводил там по несколько часов. Он был слишком умен, чтобы полагаться на неуверенное обещание узника. Что они там делали, никто в замке не знал, и у коменданта не возникало никаких подозрений. Оторванность Кайянеборга от мира усыпляла бдительность Вернстедта. Напротив, он находил удовольствие в общении с врачом-иностранцем, который выказал большую ученость, опытность и знание мира.

И все же был один человек, который пристально следил за каждым шагом незнакомца. Этим человеком была Люсия Гротхусен, жена Мессениуса. Католичка по воспитанию и убеждению, она постоянно поддерживала мужа в его папистских интригах. Иезуит это хорошо знал и был уверен в ее поддержке, хотя из осторожности не посвящал ее в свои планы, опасаясь женского языка. Однако самый хитрый план часто разбивается о тайные пружины в человеческом сердце, в особенности в женском, которое действует совсем не так, как велит холодный рассудок. При всей своей хитрости иезуит ошибся в Люсии. Он не учел того, что когда фанатизм в ее голове взывал: «Действуй!», любовь взывала еще громче: «Погоди!» А любовь у женщины всегда берет верх.

Люсия была удивительно прозорлива. Она разгадала иезуита прежде, чем он это понял. Она заметила, что в груди Мессениуса бушует смертельная борьба между фанатизмом, требовавшим пожертвовать репутацией и славой ради церкви, и тщеславием, постоянно нашептывавшим ему: «Неужто ты сам погубишь труд всей жизни? Неужто ты слепо осквернишь святыню истории? Неужто ты отдашь на поругание свое славное имя, которое даже в мрачной темнице составляет твоё богатство и гордость?»

* Изыди, нечистый дух. — *Лат.*

Все это Люсия видела зорким взглядом любви. Она видела, что человек, которого она любила, которому посвятила всю свою жизнь, переноса все лишения, вот-вот будет сломлен, не в силах выдерживать этой внутренней борьбы, и решила спасти его, предприняв смелый, решительный шаг.

Однажды поздно вечером, когда лампа еще горела на столе Мессениуса и он продолжал вместе с иезуитом работу, начатую рано утром, Люсия получила разрешение лечь в свою постель возле двери. Она легла и притворилась спящей. Мужчины за столом кончили работать и тихо разговаривали. Говорили они, как всегда, на латыни, которую Люсия неплохо понимала.

— Я доволен тобой, друг мой, — сказал иезуит с явным удовлетворением. — Эти документы выглядят абсолютно подлинными и полностью доказывают обращение Густава и Карла в католическую веру. А подписанное тобой предисловие прибавляет им достоверности. Теперь я отправлюсь через Швецию назад в Германию и через своих сторонников отпечатаю эти документы в Стокгольме, а ежели сие будет невозможно, то в Любеке или Лейдене.

Мессениус невольно протянул руку, словно желая вырвать драгоценное сокровище из рук грабителя.

— Святой отец! — воскликнул он в замешательстве. — Неужто нельзя немного повременить? Мое имя... моя репутация... Сжалось надо мной, святой отец, верните мне мое имя!

Иезуит улыбнулся.

— Разве я не даю тебе имя, намного прекраснее и величественнее того, что ты теряешь? Имя в календарях нашего святого ордена, имя в ряду мучеников и благодетелей церкви, имя, которое, быть может, будет считаться одним из святых в нашей церкви?

— Но это имя без чести, имя лжеца и фальсификатора! — воскликнул Мессениус с отчаяньем узника, который видит рай, стоя у эшафота.

— Слабый, тщеславный человек! Ты не знаешь, что великой цели нельзя достигнуть, боясь людей и рассчитывая на их похвалу! — почти презрительно сказал иезуит. — Ты способен отказаться от своих слов и лишиться благодарности всех христиан. Но, к счастью, это теперь уже невозможно. Эти документы, — он, торжествуя, потрясал бумагами, — уже в руке, которая сумеет удерживать их и против твоей воли использовать их для славы церкви, для завоевания трона, для спасения твоей души!

Едва патер Иероним успел вымолвить эти слова, как неожиданно чья-то рука из-за его спины схватила бумаги, скомкала их,

разорвала на сотни мелких кусочков и рассыпала по полу. Это произошло настолько внезапно, что иезуит, не ожидавший ничего подобного, на мгновение утратил обычное самообладание и, ошалеv от изумления, позволил этой дерзкой руке довершить свои коварные действия. И, лишь увидев рассыпанные обрывки, он яростно сжал губы, поднял руки и с бешенством тигра бросился на дерзкую, осмелившуюся разрушить его план в момент победы.

Люсия, ибо это она решилась на столь дерзкий поступок, встретила вснышку ярости монаха с энергией и смелостью, присущей женщине, защищающей святая святых. В молодости она была одной из тех, кто держит мужа за шиворот, и ее руке, обладавшей отнюдь не женской силой, не раз приходилось упражняться во время постоянных перебранок с грубыми солдатами замка. Ее мускулистые пальцы быстро схватили занесенные над ней руки монаха и сжали их, словно тиски.

— Ну! — сказала она насмешливо. — Отсюда до смерти тебе всего три шага! Что ты теперь скажешь?

— Безумная! — прорычал иезуит, вне себя от гнева. — Да знаешь ли, что ты натворила?! Жалкая воровка, ты лишила свою церковь целого государства, а своему мужу заказала дорогу в рай.

— А у тебя я украла трофей, у волка украла добычу, не правда ли? — ответила Люсия запальчиво. — Послушай, монах, — продолжала она, все более входя в раж и встряхивая этого всемогущего человека, который напрасно пытался вырваться. — Я тут знаю одного вора, который, приняв обличье смиренного агнца, посягнул на славу великого человека, на целую историю его народа, на единственную гордость бедной, всеми покинутой женщины, на покой, честь и жизнь ее мужа. Скажи мне, благочестивый святой отец, какого наказания заслуживает этот вор? Не будет ли водопад Эмме мелковат для его трупа? Достаточно ли прохладен будет вечный огонь для его души?

Иезуит бросил быстрый взгляд в окно, за которым в зимней ночи грохотали волны мощного водопада.

— Ха-ха! — воскликнула Люсия с горькой усмешкой. — Так ты боишься меня, могущественный, властвующий над государствами и совестью людей! Ты боишься, что мои огрубевшие руки сильны, как у мужчины, что я швырну тебя в водяную бездну. Не бойся, я всего лишь женщина и борюсь женским оружием. Видишь... Я не выброшу тебя из окна... я только посажу дикого зверя под замок. Трепещи, монах, я знаю, кто ты такой. Люсия Гротхусен следила за каждым твоим шагом. Ты разоблачен.

— Разоблачен! — повторил иезуит.

Он очень хорошо понял, что означает это слово. В это страшное время, когда две религии боролись за государства и души, когда козни иезуитов крайне разозлили шведов, переодетому монаху этого ордена, пойманному в пределах королевства, на спасение рассчитывать не приходилось. И монах ясно представил себе, что ему угрожало.

— Разоблачен, дочь моя! — повторил он еще раз. Он опустил руки, и лицо его приняло выражение сомнения и кроткой скорби.

Люсия поглядела на него с ненавистью и недоверием.

— Твоя дочь! — воскликнула она и с отвращением оттолкнула монаха. — Ложь — твоя дочь, а фальшь — твоя мать. Вот кто твои родственники!

— Люсия Гротхусен, — ласково сказал монах, — когда ты была ребенком, твоего отца Арнольда Гротхусена изгнали, как и короля Сигизмунда, и однажды, скрываясь от преследователей, вы пришли в крестьянскую лачугу. Но вам отказали в ночлеге и угрожали выдать. Тут твои детские глаза заметили в углу лачуги образ Святой Марии, оставшийся со старых времен, оскверненный, ставший игрушкой озорных детей. Ты взяла этот образ, поцеловала его, потом протянула жестоким обитателям хижины и сказала: «Глядите, вот образ Девы Марии, он защитит нас!»

— Ну и что же? — спросила Люсия, но голос ее невольно зазвучал мягче.

— Твоя детская уверенность, о нет, что я говорю! Святая Дева растрогала жестоких крестьян, она дали вам приют и отвели в надежное место. Больше того, они отдали тебе образ, который с тех пор охраняет тебя. Он и теперь висит у тебя на стене. И я повторяю то, что ты тогда сказала: «Глядите, вот образ Девы Марии, он защитит меня!»

Люсия напрасно старалась совладать с внутренним волнением. Она закусила губу и ничего не ответила.

— Ты права, — продолжал хитрый монах, — я католик, как и ты, и меня также преследуют. Если ты расскажешь, что я — переодетый монах, меня убьют. Моя жизнь в твоих руках. Выдай меня, я не убегу, я умру за веру и прощу тебя.

— Беги, — сказала Люсия, наполовину сломленная. — Я даю тебе время до утра. Но только при условии, что ты оставишь в покое моего мужа.

— Будь по-твоему, — печально сказал иезуит. — Я покидаю вас,

но оставляю здесь мечту о лучшем будущем. Ах, я-то представлял себе великого Мессениуса и его благородную супругу столпами католической веры на Севере. Я мечтал о том времени, когда миллионы людей скажут: «Мы, слепцы, брели во мраке, но вот свет летописей воссиял нам, великий Мессениус раскрыл нам ложь Реформации».

— Если бы это могло произойти без осквернения истины! — воскликнула Люсия, чью бедную душу все более увлекала картина будущего, которую иезуит столь живописно представил ей.

— Истины! — вкрадчиво повторил иезуит. — О мой друг, истина есть наша вера, ложь — вера еретиков. А будь ты уверена, что я ищу у твоего мужа только истину, захотела бы ты помочь воссоздать свою церковь, вместо того чтобы разрушать ее?

— Да, я хочу этого! — горячо отвечала Люсия.

— Тогда слушай... — начал иезуит, но тут его прервал Мессениус, который до того был оглушен и подавлен, а теперь словно очнулся от тяжкого и мучительного сна.

— Изыди, нечистый дух! — воскликнул он вне себя, словно боясь, что змеинный язык иезуита снова одолеет его. — *Abi, abi!* Ты не человек, а князь лжи собственной персоной, змий-искуситель. *Abi, abi in aeternam ignem habitaculum tuum, in regnum mendocii imperium tuum**.

С этими словами он вытолкнул иезуита за дверь, и Люсия не помешала ему.

— Спасибо, друг мой, — с облегчением выдохнула Люсия, словно освобожденная от страшного колдовства.

— Спасибо, Люсия! — отвечал Мессениус ласково, как давно уже не говорил со своей женой.

14. СУД БОЖИЙ

На следующий день ранним утром отец Иероним вошел в комнату, где находились фрёкен Регина и старая Дорте. Бледная после бессонной ночи, сидела прекрасная девушка у постели своей верной служанки. При виде иезуита Регина быстро вскочила.

— Спасите Дорте, святой отец! — воскликнула она. — Я искала вас повсюду, а вы оставили меня!

* Изыди, нечистый дух, в вечный огонь, жилище твое, в царство лжи, владение твое. — *Лат.*

— Говорите тихо, — прошептал иезуит, — и у стен есть уши. В самом деле... Дорте больна? Бедная старушка, плохо дело, я не смогу ей помочь. За нами следят. Они заподозрили нас. Мы должны бежать сегодня, сейчас.

— Но не прежде, чем Дорте станет лучше. Я прошу вас, святой отец. Вы умны и знаете все средства. Дайте ей быстродействующее питье, и мы последуем за вами, куда вы скажете.

— Невозможно! Нельзя терять ни минуты. Идем!

— Без Дорте я не пойду, святой отец! Святая Дева, неужто я покину ее, свою кормилицу, своего верного друга? Ведь она была мне как мать!

Иезуит подошел к постели, взял старуху за руку, дотронулся до ее лба и молча сделал знак, который Регина хорошо поняла.

— Она умерла! — воскликнула пораженная девушка.

— Что поделаешь! — промолвил иезуит со странной и страшной усмешкой, которую подавил, пытаясь придать своему лицу печальное выражение. — Видишь, дитя мое, небо пожелало избавить твоего верного друга от трудного пути и призвало ее в свои сияющие чертоги... Здесь нам больше делать нечего. Идем!

Но затуманенные слезами глаза Регины уловили странную улыбку на губах монаха, которая заставила ее содрогнуться. Казалось, ей открылась мрачная тайна.

Дрожа, смотрела она на него широко раскрытыми глазами.

— Вчера в семь вечера, — сказала она, — Дорте была здорова... Потом она приняла питье, которое вы каждый вечер готовили для нас из укрепляющих силу трав... В восемь часов она почувствовала себя плохо и десять часов спустя испустила дух...

— Лишения долгого пути... простуда... воспаление... Идем! — беспокойно воскликнул он.

Но Регина не слушала его.

— Послушай, монах, — сказала она голосом, дрожащим от страха и отвращения, — ты дал ей яд!

— Что ты, дитя! Как могло тебе это прийти в голову, дочь моя? Горе затуманило твой разум. Идем, я прощаю тебя!

— Она была вам в тягость... Я видела, как она раздражала вас. А теперь, когда я осталась вовсе без защиты, вы хотите подчинить меня своей воле. Святая Мария, спаси меня! Я не пойду с вами!

На подвижном лице иезуита мгновенно появилось выражение надменной строгости, которое заставило уступить Мессениуса.

— Дитя, — сказал он, — не навлекай на себя гнев Божий, не

внимай дьявольским внушениям. Вспомни, несчастная, где ты и кто ты! Еще мгновение колебания, и участью твоей станет нищета, тюрьма, смерть, насмешки еретиков. Ты станешь заблудшей овцой, которую Святая Дева оставит своей милостью. Здесь несчастья, гибель; там, на твоей родине, — свобода, счастье, защита церкви, милость святых. Выбирай! Но поторопись, ибо запряженные сани ждут нас. Уже светает, а день не должен застать нас в этом гнезде еретиков.

Регина продолжала колебаться.

— Поклянитесь мне, что вы невиновны в смерти Дорте!

— Клянусь на этом кресте с мощами Святого Лойолы! Пусть земля разверзнется под моими ногами, пусть бездна поглотит меня живым, если я подал этой женщине что-либо иное, кроме укрепляющего питья!

— Хорошо, — вздохнула Регина, — святые слышали вашу клятву и записали ее в книге Судии. Прощай, Дорте, мой друг, моя матушка! Идем!

Они поспешили прочь. Вокруг еще царил мрак. Над темными соснами на берегу водопада Койвукоски показалась бледная полоска зари. На дворе стояли запряженные сани. Сонные сторожа беспрепятственно пропустили врача, ведь в замке все знали о его приятельских отношениях с комендантом.

Иезуит уже чувствовал себя в безопасности, но на узком мосту сани беглецов столкнулись с саниями, ехавшими навстречу. Сани монаха накренились и наверняка опрокинулись бы в черную бездну водопада, если бы не полусгнившие перила. Перепуганная Регина вскрикнула.

При звуке ее голоса какой-то человек спрыгнул с встречных саней и бросился к беглецам.

— Регина! — воскликнул знакомый голос, в котором слышались радость и удивление.

— Вы ошибаетесь, друг мой, — поспешил ответить иезуит, пытаясь изменить голос. — Дайте дорогу доктору Альберту Симонису, лекарю на службе его королевского величества.

— А, так это ты, подлый иезуит! — вскричал незнакомец. — Стража, в ружье! Хватайте этого величайшего на земле негодяя!

С этими словами он схватил монаха за воротник его лохматой шубы.

Первой мыслью Иеронима было освободить сани и улизнуть, полагаясь на резвых лошадей. Но, поняв, что это невозможно, он выскользнул из шубы, вырвавшись из рук врага, быстро перемах-

нул через перила моста, прыгнул на лед и вскоре исчез в серых сумерках. Перепуганная стража у ворот замка стала стрелять вдогонку беглецу, но безуспешно. Несколько солдат собрались было бежать за ним по льду.

— Ни к чему это, ребята! — крикнул бородатый сержант. — Нынче ночью была оттепель, и поток размыл лед. Он, верно, сегодня тронется.

— Но человек этот побежал по льду! — крикнули солдаты в ответ.

— Ну и черт с ним! Все равно он угодит в Эмме.

— Что ты говоришь! — воскликнул в страхе человек возле саней.

— Я говорю, что баба уже съела его на завтрак*, — невозмутимо ответил сержант. — Слышите, рычит, как цепная собака. Теперь она довольна.

Пораженные люди у моста прислушались к гулу водопада. Им показалось, что в зимней предрассветной мгле могучий водопад шумит страшнее, чем всегда. Сержант был прав. Эти звуки походили на рычание злой собаки, пожирающей добычу.

15. БЕРТЕЛЬ И РЕГИНА

Мы оставили нашего странствующего рыцаря Ламанчского измученного усталостью и приключениями, на постели в крестьянской усадьбе в Юлихэрмэ. Мы только что видели его на мосту замка Кайянеборг, когда он тщетно пытался арестовать ненавистного ему коварного иезуита, которого узнал в окне лесной хижины. Нетрудно догадаться, чем был занят Бертель последние десять-двенадцать дней. Блуждая в поисках беглецов, он изъездил весь Эстерботтен, проехал до самого Улеаборга и, потеряв всякую надежду, решил все же поискать в глухих местах у Кайянеборга. Почему молодой рыцарь упорно и неутомимо искал их, мы скоро узнаем.

Прошло несколько часов после происшествия на мосту. Комендант отвел Регине комнату в замке и дал ей в покровительницы свою родственницу. В этой комнате мы и видим сейчас Бертеля. Более трех лет минуло с тех пор, как Бертель и Регина виделись в последний раз во Франкфурте-на-Майне в присутствии коро-

* Игра слов: финское название водопада Эмме означает на шведском «баба».

ля. В ту пору Регина была неопытной шестнадцатилетней девушкой. Оба прошли с тех пор через множество испытаний, у обоих горячий энтузиазм юности охладел от борьбы и страданий. Расстояние между княжеской дочерью и рядовым лейтенантом уменьшилось благодаря воинским подвигам Бертеля и его дворянскому гербу. Да, в эту минуту она, покинутая всеми узница, могла быть польщена вниманием рыцаря. Но расстояние между их убеждениями, симпатиями, сердцами — уменьшилось ли оно? Ведь обычно жестокие испытания закаляют убеждения, вместо того чтобы их сломить.

Бертель приблизился к молодой девушке с почтительным обожанием, которое его современники унаследовали еще от рыцарства предшествовавшего века, и с легким трепетом произнес:

— Позвольте вам сказать, фрёкен, что я, потеряв надежду найти вас в Корсхольме, искал вас повсюду в лесах и на пустошах. Догадываетесь ли вы о цели, которая меня к этому побудила?

Длинные черные ресницы Регины медленно поднялись. Она пристально, словно вопрошая, посмотрела на Бертеля.

— Что бы ни подвигло вас, рыцарь, на это, я уверена, что цель ваша была благородной. Вы не хотели водворить несчастную девушку в тюрьму, вы желали лишь вырвать ее из рук человека, которого она в заблуждении с самого детства считала святым и чье низкое коварство, глубоко им скрываемое, лишь сейчас удалось распознать.

— Вы ошибаетесь! — воскликнул Бертель с горячностью. — Разумеется, я содрогнулся, увидев вас в сопровождении этого человека, чье истинное обличье я узнал раньше вас. И потому я удвоил старания отыскать вас, чтобы вырвать из его когтей. Но, еще не подозревая об этой опасности, я кинулся искать вас, чтобы сообщить радостную весть о решении суда. Хотя и с опозданием, но не слишком поздно.

— О решении суда, говорите вы? — повторила Регина, настолько пораженная, что щеки ее залились краской.

— Да, милостивая фрёкен, — продолжал Бертель, с восторгом созерцая ее благородную, ослепительную красоту. — Наконец после нескольких лет бесплодных усилий мне удалось добиться справедливости, избавить вас от незаслуженных страданий. Вы свободны и имеете право под охраной шведского оружия вернуться на родину. Вот документ. — С этими словами он опустил на одно колено и протянул Регине бумагу с печатью регентского совета. — Вот документ, удостоверяющий вашу свободу.

Регина подавила первый порыв и заставила себя принять драгоценный документ почти с надменной торжественностью.

— Господин рыцарь, — молвила она высокомерно и холодно, — я знаю, что вы не ждете моей благодарности за то, что, в отличие от ваших соотечественников, вы поступили как человек чести.

Ошеломленный этим высокомерием, которого он, впрочем, должен был ожидать, Бертель поднялся.

— Я сделал это, — ответил он столь же холодно, — лишь для того, чтобы устранить несправедливость, которая могла бросить тень на память о великом короле. И сам благородный король Густав Адольф поспешил бы исправить совершенное в минуту гнева, если бы судьба не сократила внезапно его дни. Однако, — прервал он самого себя, — я забыл, что вы, фрёкен, ненавидите короля, которого я люблю.

При этих словах щеки Регины снова залились ярким румянцем. Сам того не зная, Бертель затронул самые болезненные струны в этом горячем сердце.

Это было как новое откровение: удивительное сходство во внешнем облике, в голосе, жестах, да и в образе мыслей, которого она прежде не замечала, глубоко поразило душу южанки. Ей казалось, что она видит его самого, величайшего из смертных, кумира своих мечтаний, блаженство и несчастье своей жизни, грозу людей и предмет их обожания, покорителя ее страны и веры. Впечатление было столь внезапным, столь сильным, что Регина побледнела, пошатнулась и вынуждена была опереться на протянутую руку Бертеля.

— Святая Дева, — прошептала она в замешательстве, не помня себя, — как я могу ненавидеть вас, которого люб...

Бертель воспринял эти недосказанные и дорогие для него слова с такой же растерянностью и замешательством, как и сама Регина. Однако он был слишком благородным, чтобы воспользоваться этим неожиданным признанием. Молча, бережно проводил он молодую девушку к ее покровительнице.

Бертель выхлопотал себе поручение сопровождать Регину в Стокгольм, откуда она должна была весной с первым кораблем отплыть на родину. Надобно было найти даму, которая могла бы составить подходящее общество для высокородной узницы. Шли дни, и все обернулось неожиданным для всех образом, учитывая холодность и надменность, с какой относилась Регина к своему освободителю. Но эта холодность была лишь тонким слоем льда, под которой скрывался вулкан. С каждым днем ледяная оболочка

таяла, становилась все тоньше, и под конец осталась лишь одна, но самая твердая преграда: жестокая борьба религий. Но что значила эта преграда! Под конец и она рухнула, сжигаемая огнем южной страсти, и не прошло трех недель, как девятнадцатилетняя девушка и двадцатитрехлетний юноша, забыв о различиях в вере и рангах, поклялись друг другу в вечной верности. Знал ли Бертель, что эту прекрасную, гордую черноокую невесту он получил благодаря памяти о Густаве Адольфе?

Станным и неожиданным образом скрепился этот союз. Втайне опасаясь за свое счастье, Бертель напрасно пытался узнать, что случилось с иезуитом. С того утра, когда тот махнул с моста, его и след простыл. Но вот три недели спустя пришел крестьянин сообщить, что чуть ниже водопада Эмме найдено тело безухого человека в заграничной одежде и что этого мертвеца он привез. Это был отец Иероним. Честный крестьянин вернул и небогатый медный перстень, который висел на шнурке на груди у мертвого. Бертель разглядывал это кольцо с удивлением и радостью.

— Наконец-то я получил тебя, — воскликнул он, — перстень, которого я так долго добивался! И получил его вместе с известием о смерти этого страшного человека.

— Суд Божий покарал предателя! — взволнованно произнесла Регина.

— Суд Божий, который благословляет наше счастье, — сказал Бертель и надел королевский перстень Регине на палец.

16. КОРОЛЕВСКИЙ ПЕРСТЕНЬ

Плуг и меч. Огонь и вода.

Мы снова отправляемся в Стурчюро, в усадьбу Бертилы, старого крестьянского короля.

Март 1635 года. Весеннее солнце уже начинает растапливать снег, на солнечной стороне с крыши падают капли. Наст крепок на северной стороне сугробов, но трескается на южной. Арон Бертила только что вернулся из церкви со всеми домочадцами. Седая голова старика склонилась, он опирается на руку Мери. Рядом с ним две забавные толстые фигуры: старый Ларссон и его только что воротившийся сын, живая копия отца, только помоложе. Бог о бок с младшим Ларссоном — его молодая жена, хорошенькая и веселая. Ее мы с вами хорошо знаем. Это Кэтхен, храбрая и задорная девушка, чьи мягкие ручки пленили однажды благород-

ного капитана. И когда переменчивая военная судьба снова свела их, у Кэтхен не было покровителей, к тому же она ничего не имела против брака с честным и веселым солдатом; эта славная и жизнерадостная пара по осени обвенчалась в Штральзунде, после чего отправилась навестить старого толстяка Ларссона, отца и свекра, и их радостно встретили как любимых детей.

Следует добавить, что Ларссон теперь расквитался с войной, после долгих уговоров и споров вышел в отставку, хотя и без повышения в чине. К сожалению, из награбленного в Германии он не сохранил ни шиша. Все, что он заработал, — а если верить ему, это были миллионы, — уплыло. Куда? Он лихо прокутил их под Нёрдлингеном с веселыми ребятами из того же теста, что и он сам. Но теперь решил остепениться и стать стойким, как шест в изгороди, вместо отца занять место управляющего обширным имением Бертилы, пахать и снимать урожай и *pro modulo virum prolem copiosam in lucem profere**, как справедливо говорили древние. Старый Бертила явно благоволит к нему и только что вручил судье свое завещание. Что касается Мери, то она увядает, как цветок, лишенный корней, с жизнью ее сердце связывает лишь тоненькая трепетная жилочка — опальный, изгнанный ее отцом Густав Бертель, ныне дворянин Бертель-шёльд.

Такое общество столь разных по характеру людей, старых и молодых, собралось теперь в большом доме вместе с многочисленной дворней. Старый Ларссон в тайном сговоре с Мери пытается смягчить сердце крестьянского короля. Все их мольбы и уговоры разбиваются о твердокаменное упрямство. Ларссон отворачивается от него с досадой. Мери прячется в самом темном углу горницы, скрывая слезы. И вдруг за окном звенят колокольчики, и, как в тот крещенский вечер, возле большого двора останавливаются просторные сани. К дому подходят офицер в широкой шинели и молодая красивая женщина в роскошном бархатном салопе на меху. При виде их Мери и старый Ларссон бледнеют. Ларссон хочет поспешить им навстречу, но уже поздно. Бертель и Регина входят в дом.

Оба Ларссона и Мери окружают их, встречают ласково, но с явным смущением. Кэтхен вскакивает и, невзирая на то, что на ней простенькое платье, а на Регине роскошный салоп, бросается к ней в объятия, и гостя нежно обнимает верную подругу детства.

* Как подобает мужчине, производить на свет многочисленное потомство. — *Лат.*

Бертель ласково высвобождается из объятий друзей и твердым шагом подходит к старому Бертиле, который сидит во главе стола и не удостоивает вошедших ни словом, ни взглядом. Все вокруг, затаив дыхание, наблюдают за этой встречей, которая, они знают, будет решающей. Молодой человек снял шинель и шляпу, его светлые волнистые волосы падают на высокий лоб, щеки сильно побледнели, но выразительные голубые глаза смотрят решительно в глаза суровому седому старику:

Бертель, как и в прошлый раз, опускается на одно колено и покорно и в то же время твердо поизносит:

— Батюшка!..

— Кто ты? Я не знаю тебя, у меня нет сына, — прерывает его старик ледяным тоном.

— Батюшка! — смело продолжает Бертель. — Я приехал снова и в последний раз прошу у тебя прощения и благословения. Не отталкивай меня! Я покидаю родину, чтобы бороться, а возможно, и умереть на немецкой земле. От тебя зависит, вернусь ли я сюда когда-нибудь. Помни, твое благословение я передам после своему сыну, а твое проклятие будет означать для него вечное изгнание.

В лице старика ничего не изменилось, но голос выдает душевную борьбу.

— Мой ответ будет короток, — говорит он. — Был у меня сын. Да только недостоин он оказался меня и всех моих помыслов. Он предал дело народа и переметнулся в стан злодейского дворянства, которое я ненавижу и презираю. Больше у меня нет сына. Сегодня я лишил его наследства.

При этих словах собравшиеся бледнеют.

Бертель, слегка покраснев, отвечает:

— Мне не надобно твоего наследства, батюшка. Отдай его тем, кого считаешь достойнее меня. Я прошу у тебя лишь прощения... и твоего благословения.

Все, кроме Регины, упали на колени и воскликнули:

— Прости Бертеля! Прости своего сына!

— Если бы у меня был сын, разве не оставил бы он ради меня ложную славу и дворянские награды? Разве не стал бы крестьянином, как я? Человеком из народа, как я, готовым жить и умереть за народное дело? Неужто стал бы он пахать землю в нарядных перчатках? Уж верно он выбрал бы жену из своего сословия — простую, честную женщину под стать крестьянину, а не щеголиху и модницу.

— Батюшка! — говорит Бертель, и голос его слегка дрожит. —

Ты требуешь от меня невозможного. Я уважаю твое сословие, но разве не по твоему желанию меня воспитали воином? И теперь свое занятие я не могу и не хочу оставить. Выбрать себе жену, какая тебе по душе, я тоже не могу. Вот моя жена. Она — княжеская дочь, но не стыдится, что выбрала в мужья крестьянского сына. Это доказательство того, что она не стыдится назвать тебя своим отцом.

При этих словах Регина подходит к старику, словно для того, чтобы поцеловать ему руку. Все, кроме Бертеля и старика, встают. Но крутой нрав Бертилы, крестьянского короля, не умилоstellить.

— Разве не понятно, что я сказал? — восклицает он громовым голосом. — Поглядите, вот стоит выродок, он рожден быть крестьянином, а стал господским слугой. Видит Бог, я повидал на своем веку немало схваток между плугом и мечом, но такого мне пережить не доводилось. Мальчишка, которого я называл своим сыном, осмелился явиться мне на глаза с княжеской шлюхой, которую он называет своей женой.

Бертель рывком поднимается с колена и подает руку Регине, готовой упасть в обморок.

— Старик, — произносит он голосом, дрожащим от гнева, — тебя спасло лишь честное имя твоих предков да седая голова! Всякий другой, сказав и половину того, не прожил бы и часа. Вот перстень, который я надел на палец моей законной венчанной жене. И я клянусь, что эта рука чиста и достойна носить перстень величайшего из королей.

Мери, широко раскрыв глаза, смотрит на перстень; ее бледные щеки заливаются краской, она изо всех сил борется с собой. Наконец подходит ближе, с трепетом прижимает перстень к губам и со слезами на глазах прерывающимся голосом говорит:

— Он носил мой перстень... Мой перстень, который охранял его... Ты не виновен в его смерти. Он отдал его тебе, потом засвистели пули, потом пришла смерть. Знаешь ли ты, Густав Бертель, и ты, его жена, про силу этого перстня? В юности я брела однажды по лесу и встретила человека, умиравшего от жажды. Я дала ему напиться воды из ручья, влила ему в рот освежающий сок морошки. Он поблагодарил меня и сказал: «Милая девушка, я умираю, и мне нечего дать тебе, кроме этого перстня. Я нашел его на пальце статуи Девы Марии, которая лежала невредимая в руинах церкви в Стурчюре. Когда я снял с пальца статуи кольцо, она рассыпалась в прах. У этого кольца есть сила — и святая, и колдовская. Тому, кто носит этот перстень, не грозит ни огонь, ни

вода, ни сталь, никакая другая опасность, если только он сам не принесет ложную клятву, ибо тогда сила перстня пропадает. Этому перстню сопутствует счастье в мир и немирье, любовь, слава и богатство. Если его носят три поколения подряд, сын после отца, то в этом роду появятся славные полководцы и государственные мужи...»

Здесь Мери остановилась. Все слушали ее с напряженным вниманием.

— «А если, — продолжал он, — шесть поколений в роду будут носить этот перстень, то этот род положит начало могущественному королевскому дому. И все же, — сказал этот человек, — ты должна знать, что большой дар приносит и большие опасности. Предательство и вражда в семье будут постоянно смущать владельца этого перстня, чтобы ослабить его силу. Высокомерие и ненасытная жажда власти будут постоянно кипеть у него в груди, чтобы привести его к падению. И потребуеться большая твердость и благородство души, чтобы не поддаться этим искушениям. Тот, кто владеет этим перстнем и носит его, будет счастлив, как никто на этом свете, — ему надобно лишь побороть самого себя. Но сам он будет злейшим врагом своего счастья. Об этом говорят три буквы R, выгравированные на внутренней стороне перстня, которые означают: “Rex Regi Rebellis” — король восстает на короля. Самый могущественный из людей должен бояться величайшей опасности, которая таится в его же груди».

— Ах, Регина, и этот перстень принадлежит нам! — воскликнул Бертель одновременно с радостью и страхом. — Какое богатство он нам принесет и какую ответственность на нас налагает!

— Власть! Слава! Бессмертие! — вторила ему с восторгом Регина.

Старый Бертिला смотрел на перстень и на молодых с презрительной усмешкой.

— Фальшивое золото! — сказал он. — Тщеславие! Пустая безделушка! Лицемерная жажда власти! Достойный дар дворянскому роду на многие поколения. Подойди ко мне, Ларссон-младший, ты из крестьянского рода и хочешь вернуться к своему сословию, хотя был воином. Я хочу дать тебе кое-что. Не золото и не бесполезное украшение, но это может быть для тебя благословением дороже королевских перстней. Возьми старый топор с дубовым топорищем вон с той стены. Не бойся, ничего колдовского в нем нет. Его выковал мой отец во времена короля Йёсты. Мы с отцом свалили этим топором немало вековых деревьев, расчищая чащобы. Пусть он переходит из поколения в поколение в твоём

роду. Я обещаю тебе: тому, кто владеет им, счастье и довольство будут наградой за честный труд.

— Спасибо тебе, дедуля! — весело ответил капитан и с нарочито серьезной миной попробовал рукой острие старого топора. — Может, выгравировать и на нем надпись? Тогда я предложил бы «Ruri Rusticus Robustus»*, иначе говоря — такому дровосеку сам черт нипочем!

Старший Ларссон решил, что настал самый подходящий момент придать спору более мирный характер. Он подвел к Бертиле обе пары новобрачных, взяв их за руки, и сказал:

— Дружище, давай не будем перечить воле Господа. Твой парень и мой — оба большие шалопаи, спору нет. Однако один из них создан Господом подобным огню, другой — подобен воде. Бертель как огонь — пламенный, жгучий, устремленный ввысь, полыхающий, яркий, непостоянный. И, держу пари, жена его такова же. А мой парень что твоя водица...

— Пстой! — закричал капитан. — К водице-то уж я пристрастия не имею...

— Помолчи! Мой парень — прозрачная водица, журчащая, легкомысленная, довольная тем, что дружит с землей, и своим знанием прозы жизни гасящая поэтический накал другого молодца. Что касается его жены, так и она из того же теста. Разве ты не видишь теперь, что Господь создал их друзьями, чтобы огонь подогревал воду, а вода гасила огонь? А ты хочешь сделать их врагами, взяв от одного и отдав другому. Нет, дружище, мой тебе совет: отдай своему сыну то, что ему причитается. Мой сын от этого не помрет с голоду.

Бертила помолчал немного, потом сердито сказал:

— Не тебе учить меня! Не думаешь ли ты, что этот новоиспеченный дворянин, характер которого ты сравниваешь с огнем, согласится отдать перстень и взять в руки топор?

— Ни за что на свете! — вспыхнул Бертель.

Мери взяла его за руку и умоляюще поглядела ему в глаза.

— Отдай перстень. Ты знаешь, какие опасности он сулит, но не знаешь еще об одной, о которой я из страха умолчала. Каждый, кто носит этот перстень, умрет не своей смертью.

— Ну и что с того! — воскликнул Бертель. — Смерть воина на поле боя прекрасна и почетна! Я лучшей и не желаю.

— Слышите? — презрительно сказал Бертила. — Другого я и не ждал. Он будет гоняться за славой до самой могилы. Мирная

* В деревне крестьянин крепок. — *Лат.*

смерть, как и мирная жизнь, ему наказание. А вот ты, Ларссон, скажи мне, хотел бы ты поменять топор на перстень?

— Хм. Кабы перстень был золотой, — задумчиво ответил капитан, я бы мог продать его в городе и купить бочку доброго пива. Но это всего лишь медная пустяковина... Я бы послал его к черту и оставил себе топор. Им по крайней мере можно рубить дрова...

— Молодец, — подхватил Бертила, — это, как говорит твой отец, все равно что брызгать водой на раскаленные угли. Не я сделал воду и огонь вечными врагами. Подойди ко мне, Ларссон, человек разума и пользы. Будь моим сыном и владей моим имуществом, когда меня не станет. Да пребудет благословение с тобой и твоими потомками! Пусть они множатся и трудятся на земле, как муравьи. И да пребудут они в вечной вражде со знатью, с дворянами, с людьми горячего нрава. Пусть будет между вами война, а не мир, покуда их никчемная мишура не исчезнет вовсе. Пусть между топором и мечом царит открытое немирье, покуда оба они не расплавятся в одном и том же огне. А когда это случится, через сто, двести лет, а может, и более, тогда пробьет час сказать: время сословных предрассудков миновало, теперь герб человека — его собственные заслуги.

— И все же, отец, — воскликнул Бертель, — неужто ты не дашь благословения мне и моим потомкам в час, когда мы расстаемся навсегда?

— Тебе? — гневно повторил старик. — Прочь, блудный сын, тщеславная, источенная червями ветка могучего древа народа. Поди прочь, туда, где тебя ждет пустая суета и неминуемая гибель. До того дня, когда, как я сказал, топор и меч, благородная сталь и фальшивое золото соединятся, даю я тебе в наследство свое проклятие до девятого колена, а оно принесет раздоры, ненависть, вражду и под конец жалкую гибель.

— Остынь, отче, яви Бертелю милость! — крикнул Ларссон. — Пощади Бертеля!

— Никакой пощады дворянам! — ответил крестьянский король.

— Берегись, жестокосердый отец! — не выдержал Ларссон-старший. — Проклятье может пасть и на твою голову.

— Я себе пощады не прошу, — ответил бледный, но с виду спокойный Бертель. — Прощай, мой бывший отец! Прощай, мое отечество! Я уезжаю, чтобы никогда более вас не увидеть...

— Погоди минуту! — прервала его Мери. Собрав все силы и пытаясь подавить сильное душевное волнение, она загородила ему путь. — Ты уезжаешь! Уезжай.. мой дорогой, моя надежда, моя

жизнь, свет моих очей... Уезжай — я не буду стоять у тебя на пути. Но, уходя, возьми с собой тайну, которая была самой великой радостью моей жизни и великим мучением...

— Не слушайте ее! — испуганно воскликнул старик. — Не слушайте ее, безумие говорит ее устами! Подумай о своей и моей чести! — гневно зашептал он в ухо побледневшей дочери.

— Что мне до моей и твоей чести! — воскликнула Мери с несвойственной ей горячностью. — Радость моей жизни уходит и никогда не воротится. Уходит, а ты, жестокий, безжалостный отец, хочешь, чтобы я позволила ему уйти с проклятием в чужую страну. Нет, так он не уйдет. За каждое проклятие, которое ты обрушишь на его голову, я дам ему тысячу благословений, и увидим, что достигнет Божьего престола: твоя ненависть или моя любовь, проклятие деда или благословение матери!..

— Матери? — воскликнул изумленный Бертель. Ему вдруг стали понятны загадочные слова герцога Бернхарда.

— Не верьте ей. Она сама не знает, что говорит! — упорствовал Бертила, напрасно стараясь казаться спокойным.

Мери упала на руки Бертелю.

— Вот я и сказала... — пошептала она слабым голосом. — Густав, сын мой! Ах, как непривычно и как сладостно называть тебя так. Теперь ты знаешь мою тайну, и мне недолго осталось стыдиться ее. Ты любишь меня? Да, да! Теперь я с радостью ухожу из жизни... Завеса спала... Воссияла ясность... Отец... я прощаю тебе, что ты ненавидишь и проклинаешь моего сына... Прости, что я... люблю... Благословляю... своего сына!

— Матушка! — закричал Бертель. — Ты слышишь меня, матушка? Я благодарю тебя... Я люблю тебя! Ты поедешь со мной! Я никогда не покину тебя. Но ты не слышишь меня! Как ты бледна! Боже, она умерла!

— Дочь моя! Дитя мое единственное! — воскликнул окончательно уничтоженный железный крестьянский король.

— Не судите, да не судимы будете! — сказал старый Ларссон, молитвенно сложив руки. — О дети наши, идите по жизни с миром в сердце. Проклятие и благословение борются за ваше будущее, и не только за ваше, но и за будущее ваших потомков до девятого колена. Молите небо, чтобы благословение победило!

— Аминь, — произнесли Ларссон-младший и Кэтхен, стоявшие по его левую руку.

— Да будет так, — вторили им справа Бертель и Регина.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эстерботтен (Эстерботния) — область на северо-западе Финляндии. Герои эпосов «Рассказы фельдшера» — уроженцы Эстерботтена, родного края Топелиуса. Эстерботтен, его небольшие города на побережье Ботнического залива: Улеборг, Васа, Нярпес, Якобстад, Нью Карлебю (в современной Финляндии принято написание в одно слово: Нюкарлебю), Гамла Карлебю и приходы: Кайяна, Стурчюро, Лильчюро, Лиминго и Корсхольм являются главным образом местом действия всех циклов этой эпосов. Города Финляндии, имеющие двойное (финское и шведское) название, даются в шведском написании.

² Бонапарте, Мария Летиция, урожденная Рамолино (1750–1836) — жена Карло Марии Бонапарте, — мать Наполеона Бонапарте.

³ Аяччо — город и порт на юго-западном берегу острова Корсика.

⁴ Васа — город в Эстерботтене, центр лена (административной единицы) Васа. Древнее финское название города Мустасаари. В 1606 году город был переименован в честь правившей династии Васа (1523–1654). В 1855 году по высочайшему повелению российского императора город переименовали в Николайстад. После обретения Финляндией независимости ему было возвращено имя Васа.

⁵ Тора (др.-евр., основное значение — учение, закон) — древнееврейское название первых пяти книг Библии — Пятикнижия.

⁶ Або (Обу) — традиционный перевод шведского названия финского города Турку.

⁷ Спесиериксдалер — шведская серебряная монета.

⁸ Франсен, Франс Микаэль (1772–1841) — шведский поэт, один из первых представителей романтизма в шведской поэзии. Его перу принадлежат поэмы «Лик человека», «Гилеи Крейцу» и др.

⁹ Имеется в виду шведско-русская война за Финляндию 1788–1790 гг.

¹⁰ Стединк, Виктор Карл (1751–1823) — шведский адмирал, барон, родом из Померании. Командовал шведским флотом в морском сражении под Выборгом (3 июля 1790 г.), в котором шведы потерпели неудачу, и при Свенксунде (Роченсальме, 9 и 10 июля 1790 г.), окончившемся побе-

дой шведов. «Стюрбьёрн» — 36-пушечный бриг, капитаном которого был Стединк.

¹¹ Густавианец — приверженец шведского короля Густава III (1746–1792, правил с 1771 г.). Годы его правления — период реставрации монархии, просвещенного абсолютизма — характеризуются расцветом культуры и искусства и вошли в историю как густавианская эпоха. Для внешней политики Густава III характерны великодержавные устремления. Вел войны с Россией и Данией.

¹² Имеется в виду заговор дворянской оппозиции, желавшей реставрации сословного парламентаризма. В результате этого заговора Густав III был смертельно ранен 16 марта 1792 г. на маскараде в опере капитаном лейб-гвардии Я.Ю. Анкарстрёмом. Это событие легло в основу либретто оперы Верди «Бал-маскарад».

¹³ Имеется в виду период регентства при малолетнем Густаве IV Адольфе (1778–1837), сыне Густава III. Регентом был брат Густава III, герцог Карл. Фактически государством в этот период управлял барон Г.А. Рейтерхольм, чиновник финансового ведомства, противник густавианцев.

¹⁴ Партия старого двора, то есть густавианцы, сторонники абсолютизма.

¹⁵ Руденшёльд, Магдалена Шарлотта (1766–1794), придворная дама при дворе Густава III, участница заговора дворянской оппозиции. Казнена в 1794 г.

¹⁶ Штральзунд — ганзейский город Померании на Балтийском море.

¹⁷ Директория — руководящий орган власти во Франции с октября 1795 по ноябрь 1799 г., в период от термидорианского Конвента до государственного переворота Наполеона Бонапарте. Политика Директории была направлена на защиту интересов крупной буржуазии в период буржуазной революции во Франции конца XVIII в.

¹⁸ Римский-Корсаков, Александр Михайлович (1753–1840), русский генерал, участник швейцарского похода 1799 г.

¹⁹ Массена, Андре (1756–1817), герцог Риволи, французский генерал, с 1804 г. маршал.

²⁰ Стединк, Курт Богислав Людвиг Кристофер (1746–1837) — граф, фельдмаршал, дипломат. С 1790 г. посол Швеции в Санкт-Петербурге.

²¹ Имеется в виду последняя в истории русско-шведская война за Финляндию, которая началась 21 февраля 1808 г. вступлением русских войск в Финляндию и закончилась 17 сентября 1809 г. подписанием мирного договора в финском городке Фридриксгаме (Хамина).

²² Во всех трех романах первого цикла эпопеи «Рассказы фельдшера», предлагаемых читателю в этой книге, значительное место отводится событиям Тридцатилетней войны. Тридцатилетняя война (1618–1648) — первая общеевропейская война между католическими государствами Габсбургского блока и протестантскими странами антигабсбургской коалиции. Шведский период этой войны (1630–1635) начался в июне 1630 г., когда шведское войско во главе с Густавом II Адольфом вторглось в пределы северной Германии и захватило Померанский плацдарм. Численность шведской армии быстро возрастала за счет шведских и финских рекрутов и немецких наемников и овладевала одним за другим плац-

дармами между Одером и Эльбой. Ландграф Гессенский и вольный город Магдебург, а год спустя и курфюрст Бранденбургский примкнули к союзу со Швецией. Несколько позднее их примеру последовал и курфюрст Саксонский. 7 сентября 1631 г. Густав II Адольф одержал свою важнейшую победу при Брейтенфельде (под Лейпцигом) над войсками католической лиги немецких князей под командованием Иоганна Тилли. В декабре 1631 г. капитулировал Майн-на-Рейне, и весной 1632 г. Густав II Адольф двинулся в южную Германию с армией в 120 тыс. человек. В апреле имперско-баварские войска были разбиты на реке Лех (правый приток Дуная), после чего Бавария оказалась покоренной. В это время военные действия против шведов начал выдающийся имперский полководец Альбрехт Валленштейн. Оставив свои намерения идти на Вену, чтобы диктовать условия мира императору Фердинанду II, шведский король повернул на север, но после неудачной попытки взять штурмом крепость Альфесте (под Нюрнбергом) в августе 1632 г. двинулся в союзную Саксонию, где в решающем сражении при Лютцене (также под Лейпцигом) одержал победу над войском Валленштейна. Однако сам король погиб в этой битве.

Дальнейшие события Тридцатилетней войны развивались для Швеции в период регентства, когда канцлер Аксель Оксеншерн (Уксеншерн) правил государством в качестве регента при малолетней королеве Кристине, дочери Густава II Адольфа. В сентябре 1634 г. шведские войска и их союзники потерпели тяжелое поражение при Нёрдлингене (южная Германия), в результате чего непрочная военная коалиция распалась, протестантские немецкие княжества и города заключили в 1635 г. с императором Пражский мир.

Романы, опубликованные в этой книге, охватывают события с 1631 по 1635 г., начиная с битвы при Брейтенфельде и кончая битвой при Нёрдлингене.

²³ Король Густав Адольф — Густав II Адольф (1594–1635, правил с 1611 г.), шведский король, выдающийся полководец, реформатор. Год его вступления на престол считают годом начала эпохи шведского великодержавия (1611–1718).

²⁴ Тилли, Иоганн Церклас (1559–1632), граф, уроженец Брабанта, немецкий полководец, возглавлявший в период Тридцатилетней войны войска католической лиги. Был смертельно ранен в битве на реке Лех.

²⁵ Хурн (Хорн), Густав (1592–1657) — выдающийся шведский полководец, родом из Финляндии, государственный деятель. С 1628 г. фельдмаршал.

²⁶ Тойфель, Максимилиан (умер в 1631 г.) — немецкий полководец, фельдмаршал, барон. С 1620 г. служил под началом Густава II Адольфа. Участник битвы при Брейтенфельде.

²⁷ Турстенсон, Леннарт (1603–1651), шведский полководец и государственный деятель, фельдмаршал. С 1634 по 1649 г. государственный канцлер.

²⁸ Банэр, Юхан (1596–1641) — шведский полководец, фельдмаршал, один из ближайших соратников Густава II Адольфа.

²⁹ Хепбёрн, Джон (ок. 1600–1636) — шотландский дворянин, сражался

в Тридцатилетней войне на стороне шведов в звании полковника. После ссоры с Густавом II Адольфом перешел на службу во французские войска. Дослужился до звания маршала Франции. Погиб при осаде Саверна.

³⁰ Тотт, Оке (1598–1640) – шведский полководец, генерал кавалерии, государственный советник.

³¹ Сооп, Эрик (1592–1632) – полковник Вестйётского кавалерийского полка, сподвижник Густава II Адольфа.

³² Стенбокк, Фредрик (1607–1652), граф, выдающийся шведский полководец, государственный маршал, сподвижник Густава II Адольфа.

³³ Стольхандске, Турстен (1592–1644) – шведский полководец, уроженец Финляндии, в период Тридцатилетней войны командовал финским кавалерийским полком.

³⁴ Паппенгейм, Готфрид Генрих (1592–1632) – немецкий полководец в имперском войске Валленштейна, командовал кавалерийским полком.

³⁵ Дубинная война – крестьянское восстание в Финляндии, главным образом в Эстерботтене. Крестьяне, недовольные притеснениями наместника шведского короля в Финляндии Класа Флеминга (ок. 1535–1597), пожаловались королю, который дал им совет самим защищаться от кнехтов Флеминга. Восстание было подавлено, и его руководитель Якоб Илка казнен.

³⁶ Карл IX (1550–1611), герцог Сёдерманландский, с 1604 г. король Швеции. Опирался на поддержку среднего и мелкого дворянства и бюргерства. Боролся с притязаниями высшей знати на главенствующую роль в государстве и жестоко расправлялся с ней.

³⁷ Фюрстенберг, Эгон (1588–1635) – немецкий полководец, отпрыск старинного княжеского рода.

³⁸ Тавастландец – уроженец провинции Тавастланд (Таваста, финское название Хяменма) в центральной части Финляндии.

³⁹ Бесков, Бернхард (1796–1868) – шведский поэт, автор исторических романов.

⁴⁰ Деммин – город в северо-восточной Германии, на реке Пене, впадающей в Щецинскую бухту.

⁴¹ Фенрик – поручик (шв.), младшее офицерское звание.

⁴² Имеется в виду замок Мариенбург (Кёнигсхофен), резиденция герцога-епископа Вюрцбургского в Баварии на реке Майн.

⁴³ Св. Бригитта (Бригитта; ок. 1303–1373), дочь лагмана в лене Упланд, одна из наиболее почитаемых святых в Скандинавии. Прославилась благими деяниями. Оказывала большое влияние на политику короля Магнуса (Магнус Эрикссон, 1319–1363). По преданию, ей являлся Христос. После смерти мужа в 1344 г. поселилась в монастыре Аотвастра (центральная Швеция, провинция Эстерйётланд). В 1349 г. совершила паломничество в Рим, где и провела остаток жизни. Вскоре после паломничества ко гробу Господню умерла в Риме. В 1391 г. была канонизирована папой Бонифацием IX.

⁴⁴ Св. Патрик – ирландский католический епископ (ок. 389–461). В 441 г. основал епископат Армагх, ставший католическим центром Ирландии. Считается святым покровителем Ирландии.

⁴⁵ Ашаффенбург — город в Баварии на правом берегу Майна.

⁴⁶ Швейнфурт — город в Баварии, порт на реке Майн.

⁴⁷ Брахе (Браз) — старинный дворянский род датского происхождения, игравший значительную роль в Швеции XVI–XVIII вв. Пер Брахе (1602–1680) — шведский государственный деятель.

⁴⁸ Лилье, Аксель (1603–1662) — граф, государственный маршал, генерал-губернатор лена Халланд.

⁴⁹ Рамси, Джеймс (1589–1638) — отпрыск старинного шотландского рода. Участвовал в Тридцатилетней войне на стороне шведов. В 1632 г. получил чин генерал-майора.

⁵⁰ Гамильтон, Людвиг (ум. 1662) — шотландский барон. Во время Тридцатилетней войны командовал гвардейским полком наследного принца.

⁵¹ Желтый и голубой — цвета шведского государственного флага.

⁵² Фрюксель, Андерс (1795–1881) — священник, писатель-историк. Жил в старинном университетском городе Швеции Упсале.

⁵³ Риксдалер — шведская серебряная монета весом в 25 граммов. Была в обращении с 1619 г. В 1873 г. заменена кроной. Риксдалер равнялся полтотора, а с 1681 г. двум серебряным далерам.

⁵⁴ Стювер (ист.) — самая мелкая медная шведская монета.

⁵⁵ Оппенхейм — город в земле Гессен на левом берегу Рейна. Был взят шведами в декабре 1631 г.

⁵⁶ Мария Элеонора (1599–1655) — дочь курфюрста Иоганна Сигизмунда Бранденбургского, принцесса Пруссии, жена Густава II Адольфа.

⁵⁷ Ханау — южная провинция Бельгии.

⁵⁸ Форбус, Арвид (1598–1665), уроженец города Борго, генерал-майор от инфантерии, участвовал в войнах Густава II Адольфа и Карла X в Германии и Польше.

⁵⁹ Имеется в виду курфюрст Фридрих V Пфальцский, лидер протестантских княжеств, которого богемцы избрали своим королем. Он получил прозвище «Зимний король», так как правил Богемией лишь с 27 августа по 8 ноября, когда его войско было разбито у Белой горы под Прагой войском католической лиги под командованием герцога Максимилиана Баварского.

⁶⁰ Вавилон — столица древней Халдеи. Библия гласит, что согласно пророчеству Вавилон был превращен в груды развалин. В Священном Писании слово Вавилон употребляется также в иносказательном смысле и означает царство антихриста.

⁶¹ Граник (лат. Granicus) — река на северо-западе Малой Азии. При Гранике Александр Македонский одержал в мае 334 г. до н.э. победу над персами.

⁶² Гипас — река в западной Индии, самый восточный из левых притоков Инда, до которой Александр Македонский, завоевав Бактрию и Согдиану, дошел в 327 г. до н.э., но по требованию войска был вынужден отдать приказ о возвращении. Автор неоднократно сравнивает Густава II Адольфа с Александром Македонским и проводит параллели между их завоеваниями и поражениями.

⁶³ Ветилуя — согласно Библии, иудейский город, который был осажден ассирийским полководцем Олоферном.

⁶⁴ Рутвен, Патрик (1573–1652) — шотландский лорд, полководец, принимавший участие в Тридцатилетней войне на стороне Швеции.

⁶⁵ Уксеншерна (Оксеншерна), Аксель (1583–1654), граф Сёдермёре, выдающийся шведский государственный деятель, государственный канцлер, глава правительства (годы регентства 1632–1644).

⁶⁶ Лютер, Мартин (1483–1546), деятель Реформации, основатель протестантизма (лютеранства) в Германии. Отрицал роль католической церкви и духовенства как посредника между Богом и человеком. Выступал против чрезмерных церковных богатств, ввел богослужение на национальном языке.

⁶⁷ Род Васы — шведская королевская династия Васа (1521–1654), основателем которой был Густав I Васа (1496–1560), избранный королем после возглавленного им народного восстания, освободившего страну от владычества Дании. Осуществил в Швеции лютеранскую реформу, способствовавшую укреплению королевской власти. Уменьшительная простонародная форма имени Густав — Йёста.

⁶⁸ Крейцнах — город-курорт в западной Германии, неподалеку от Майнца.

⁶⁹ Бамберг — город в Баварии на реке Регниц близ впадения ее в Майн.

⁷⁰ Альтрингер, Иоганн (1588–1634) — маршал имперской армии, сподвижник Валленштейна.

⁷¹ Саволакс — провинция в юго-восточной Финляндии.

⁷² Врангель, Карл Густав (1613–1676) — шведский адмирал, государственный деятель, член регентского совета при несовершеннолетнем Карле XI.

⁷³ Герцог Бернхард Веймарский (1604–1639). Выступал на стороне протестантского блока. В союз с Густавом II Адольфом вступил в 1631 г. После нёрдлингского поражения расторгнул союз со шведами.

⁷⁴ Ганнибал (ок. 247–183 гг. до н.э.) — великий карфагенский полководец и государственный деятель, сын полководца Гамилькара Барки.

⁷⁵ Капуя — город в Италии близ Неаполя, захваченный Ганнибалом в 216 г. до н.э.

⁷⁶ Ингольштадт — город в Баварии.

⁷⁷ Ландсгут — город в южной Баварии.

⁷⁸ Похьяла (Похья) — приход в Эстерботтене. По-фински Похьяла букв. «северный дом», в финском фольклоре — темное, гиблое место.

⁷⁹ Замок был построен в XII–XIII вв. Вокруг этого замка вырос город Хяменлинна (центральная Финляндия).

⁸⁰ Валленштейн, Альбрехт (1583–1634) — герцог Фридландский и Мекленбургский, выдающийся полководец, генералиссимус, командовавший имперской армией.

⁸¹ Альте-Весте — древний замок-крепость близ Нюрнберга.

⁸² Наумбург — город в Саксонии со всемирно известным Наумбургским собором.

⁸³ Арнштадт — город в Тюрингии.

⁸⁴ Эрфурт — город в Тюрингии.

⁸⁵ Галле — город в Саксонии.

⁸⁶ Книппхаузен (Книппхаусен), Додо (1583–1636) — барон, шведский маршал.

⁸⁷ Брахе (Браэ), Нильс (1604–1632) — шведский полководец, генерал от инфантерии. Особо отличился в битве под Нюрнбергом. Был смертельно ранен под Лютценом.

⁸⁸ Изолани (Изоланс), Иоганн Людвиг Гектор (1586–1640) — граф, австрийский генерал. В 1631 г. командовал кавалерийским войском хорватов.

⁸⁹ Франц Альберт, герцог Саксен-Лауэнбургский (1598–1642) — полковник кавалерии в армии Валленштейна. Перешел на сторону шведов незадолго до битвы под Лютценом. Вскоре после гибели Густава II Адольфа оставил службу у шведов. В 1634 г. снова перешел к Валленштейну как саксонский фельдмаршал.

⁹⁰ Мориц фон Фалькенберг — немецкий офицер из дворянского рода Фалькенбергов.

⁹¹ Пикколомини, Оттавио (1599–1656) — итальянский князь, полковник лейб-гвардии кавалерийского полка в армии Валленштейна.

⁹² Аякс — в древнегреческой эпической поэме Гомера «Илиада» герой Троянской войны.

⁹³ Имеется в виду Валленштейн.

⁹⁴ Батлер, Джеймс (даты рождения и смерти неизвестны), ирландец, участник Тридцатилетней войны на стороне шведов.

⁹⁵ Ришелье, Арман Жан дю Плесси (1585–1642) — герцог, французский государственный деятель, крупнейший представитель абсолютизма, кардинал. С 1624 г. первый министр Людовика XIII. Боролся против гегемонии в Европе католическо-габсбургского лагеря (1635 г. — открытое вступление Франции в Тридцатилетнюю войну).

⁹⁶ Пантеон шведских королей, средневековая церковь (XIII в.) на острове Риддархольмен (Рыцарский остров) в Стокгольме.

⁹⁷ Ильмола — озеро и приход в лене Васа.

⁹⁸ Черстин — просторечная форма имени Кристина. Имеется в виду королева Кристина Августа (1626–1689), годы правления 1632–1654. Тайно приняла католичество, отреклась от престола и переехала в Рим.

⁹⁹ Автор имеет в виду Монсдоттер, Карин (1550–1612), жену шведского короля Эрика XIV, дочь солдата, тюремного надзирателя. По преданию — крестьянская дочь. Рано осталась сиротой, продавала орехи на площади в Стокгольме, где ее увидел король. Пораженный ее красотой, он сделал ее камеристкой при дворе и тайно женился на ней. После рождения старшего сына Густава она официально короновалась. Три месяца спустя Эрик XIV был заточен в крепость, где Карин Монсдоттер вначале находилась с ним. Со старшим сыном ее разлучили, она увидела его лишь через двадцать лет в Ревеле. После смерти Эрика XIV Карин Монсдоттер поселилась в королевской усадьбе Лиуксигла, похоронена в соборе Або.

¹⁰⁰ Аландские острова — около 6,5 тыс. островов и шхер у входа в Ботнический залив.

¹⁰¹ Реплот — приход в лене Васа, расположен на островах близ города Васа.

¹⁰² Биргер Ярл (ум. 1266) — правитель Швеции (1250–1266), в 1253 г. основавший Стокгольм.

¹⁰³ Карл XI (1655–1697), король Швеции с 1660 г. Самостоятельно правил с 1672 г. В 1680 г. установил в Швеции абсолютизм.

¹⁰⁴ Император «Священной Римской империи» Фердинанд II (1578–1637), годы правления 1619–1637, из династии Габсбургов, король Чехии с 1617 г. и части Венгрии с 1618 г. Проводил политику воинствующей католической реакции и угнетения славянских народов. С его именем связаны основные события Тридцатилетней войны.

¹⁰⁵ Речь идет о событиях Северной войны с Россией. Поссе, Кнут (1640–1714) — граф, генерал-майор, шведский военачальник и государственный деятель, уроженец Финляндии. Принимал участие в битве под Нарвой.

¹⁰⁶ Родман — член магистрата, городского суда.

¹⁰⁷ Вестерботтен — лен на северо-востоке Швеции, примыкающий к Ботническому заливу и граничащий с Финляндией.

¹⁰⁸ Хапаранда — город на севере Швеции на границе с Финляндией.

¹⁰⁹ Здесь Ларссон либо оговорился, либо запямятовал, что Публий Овидий Назон (43 г. до н.э.—17 г. н.э.) — римский поэт, автор любовно-мифологических элегий и драматических новелл.

¹¹⁰ Юнкер (ист.) — благородный паж, дворянин.

¹¹¹ Лойола, Игнатий (1491–1556) — основатель ордена иезуитов. Считал допустимыми любые преступления в интересах папства. В 1622 г. был причислен католической церковью к лику святых.

¹¹² Кассель — город в княжестве Гессен на реке Фульде.

¹¹³ Нассау — герцогство в западной Германии, в 1866 г. слилось с Пруссией и вошло в провинцию Гессен-Нассау.

¹¹⁴ Диршау — город в западной Пруссии.

¹¹⁵ Адвент (от латинского слова *adventus* — пришествие) — Рождественский пост у католиков.

¹¹⁶ Аргус — в древнегреческой мифологии многоглазый великан, поставленный Герой следить за Ио, возлюбленной Зевса, которую она превратила в корову.

¹¹⁷ Потир — церковный сосуд, чаша для причастия.

¹¹⁸ Юхан III (1537–1592), герцог Финляндский. Второй сын Густава Васы и его второй жены Маргареты Лейонхувуд. После свержения в 1568 г. с престола своего старшего брата Эрика XIV стал королем Швеции.

¹¹⁹ Имеется в виду шведский король Карл IX.

¹²⁰ Галлас, Маттиас (1584–1647), граф, фельдмаршал, генерал-майор имперских войск Валленштейна.

¹²¹ Виттенберг, Арвид (1606–1653) — уроженец города Борго (близ Хельсинки), шведский полководец, фельдмаршал, государственный советник.

¹²² Агрикола, Микаэль (1508 или 1510–1557) — глава Реформации в Финляндии, родоначальник финской литературы. Первый протестантский епископ (в Або). Издал первый букварь на финском языке (1542), перевел на финский язык ряд молитвенников, Новый Завет (1548) и часть Ветхого Завета.

¹²³ Кайянеборг — средневековый замок на реке Кайяна близ Улеаборга (Оулу).

¹²⁴ Мессениус, Юханнес (ок. 1579–1636) — шведский историк, профессор Упсальского университета, автор политических памфлетов, драматург.

¹²⁵ Сигизмунд III Васа (1566–1632) — сын Юхана Васы и Катаринны Ягеллонки, король польский, литовский и шведский. Королем Швеции был до 1594 г., когда на шведский престол взошел дядя Сигизмунда, его политический соперник, младший сын Густава Васы — Карл IX.

¹²⁶ Торнео — шведское название финского города Торини.

¹²⁷ Фогт (*ист.*) — управляющий имением.

¹²⁸ Имеется в виду Густав I Васа.

¹²⁹ Торпарь — безземельный крестьянин, арендующий землю.

¹³⁰ Хинси — в финском фольклоре злой лесной дух.

¹³¹ Пулку — лопарские сани.

¹³² Рудебеккиус, Юханнес (1581–1646) — шведский епископ, магистр философии, профессор Упсальского университета. От него пошли два дворянских рода: Рудбекк и Рудебекк.

¹³³ Тегель, Эрик (1560-е–1636) — шведский писатель-историк, государственный деятель.

¹³⁴ Браунсберг (*ист.*) — город в Пруссии (Кёнигсберг, ныне Калининград). В 1568 г. здесь была основана католическая академия с целью утверждения католицизма на севере Европы. В 1626 г. город был взят Густавом II Адольфом, который отправил библиотеку этой академии в Швецию, в Упсальский университет.

¹³⁵ Эрик XIV — шведский король (1521–1577), старший сын Густава Васы и его первой жены Екатерины Саксен-Лауренбургской. Правил страной с 1560 г. Получил гуманитарное образование, рисовал, музицировал, обладал литературным даром. Был болезненно подозрителен, страдал манией преследования. Многочисленные казни аристократов и прогрессирующая психическая болезнь короля вызвали недовольство господствующего класса. В 1568 г. Эрик XIV был свергнут с престола и заточен в замок Грипсхольм (в центральной Швеции, в провинции Сёдерманланд, на острове озера Меларен).

¹³⁶ Юхан III находился под сильным влиянием польско-католической свиты своей жены, польской принцессы Катаринны, младшей сестры и единственной наследницы бездетного польского короля Сигизмунда Августа, последнего короля из династии Ягеллонов.

¹³⁷ То есть Сигизмунд III Васа, сын Юхана III и Катаринны Ягеллонки.

СОДЕРЖАНИЕ

Волшебное перо Кляггине лобсдей (<i>Л. Брауде</i>).....	5
Предисловие, рассказывающее о личности и жизни фельдшера	11

КОРОЛЕВСКИЙ ПЕРСТЕНЬ

Перевод Л. Брауде

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ФЕЛЬДШЕРА	23
1. Битва при Брейтенфелде	25
2. Дворянин без имени	33
3. Фркен Регина	37
4. Клятва фркен Регины	48
5. Юдифь и Олофери	54
6. Финны на реке Лех	70
7. Новые приключения	74
8. Нюрнберг и Лютиен	80

МЕЧ И ПЛУГ

Перевод Л. Брауде

ВТОРОЙ РАССКАЗ ФЕЛЬДШЕРА	91
1. Герой Дубинной войны	96
2. Он стыдится крестьянского имени	105
3. Южанка на севере	113
4. Крестьянин, горожанин и солдат	119
5. Фркен Регина прибывает в Корсхольм	124
6. Как любят на юге и как на севере	130
7. Осада Корсхольма	134

ОГОНЬ И ВОДА

Перевод Н. Безяковой

ТРЕТИЙ РАССКАЗ ФЕЛЬДШЕРА	147
1. Трофей с поля боя	153
2. Старые знакомые	159
3. Оружейная палата	163
4. Герцог Бернхард и Бертель	170
5. Ненависть и любовь примиряются	174
6. Битва под Нёрдлингеном	180
7. Блудный сын	184
8. Боглянка	187
9. Дон Кихот Ламагский	192
10. Кайяисборг	198
11. Государственный преступник	201
12. Искуситель	208
13. Abi, mali spiritus	212
14. Суд Божий	216
15. Бертель и Регина	219
16. Королевский перстень	222
Примечания	230

Сакариас Топелиус
КОРОЛЕВСКИЙ ПЕРСТЕНЬ
РАССКАЗЫ ФЕЛЬДШЕРА

Главный редактор *С. В. Цветков*
Редактор *Л. М. Лебедева*
Выпускающий редактор *С. Ю. Алябьев*
Технический редактор *Г. В. Мисюль*
Корректоры *Т. В. Христич, А. М. Гроссман*
Координатор издательского проекта *М. И. Журавлева*

Лицензия ЛР № 070937 от 15 мая 1998 г.
Сдано в печать с готовых днапозитивов 21.10.99 г.
Формат 60×84¹/₁₆. Печать офсетная.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Kudriashov».
Печ. л. 15,0. Тираж 3000 экз. Заказ № 179.

Издательство
Русско-Балтийский информационный центр
«БЛИЦ»
191011, Санкт-Петербург, Думская ул., д. 3
тел.: (812) 311-83-00; факс: (812) 314-87-85;
e-mail: blitz@blitz.spb.ru
www.blitz.spb.ru

ОАО «Санкт-Петербургская типография № 6».
193144, Санкт-Петербург, ул. Монсеенко, д. 10.
Телефон отдела маркетинга 271-35-42.

ISBN 5-86789-016-3



36-